

ИГОРЬ НЕВЕРОВ АНТАРКТИКА



Повесть «Год спокойного солнца» посвящена отважным советским китобоям.

В повести «Синее небо» рассказывается о смелом научном эксперименте советских медиков.

В книгу вошли также рассказы о наших современниках.

Н $\frac{70303-074}{M205(04)}$ 51-78

© Издательство «Дніпро», 1976.



ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА

Повесть

Отплывая, они уже начинали возвращаться.

Это возвращение готовили их мозолистые руки, ставящие паруса.

Антуан де Сент-Экзюпери

ГЛАВА I

1. Китобои завтра уходят. А я уже не с ними. Правда, я еще толкусь у входа в Управление флотилии, просто так. Дело даже не в привычке. Невозможно — отойти и затеряться в толпе. Мне кажется — будет походить на бегство. Наверно, это немножко бегство и есть. Бегство «по уважительной причине». Но не будешь объяснять каждому причину, даже уважительную!

Юрий Середа, новый капитан «Безупречного», говорит, что в моей улыбке появилась «виноватая изгибинка». Он приметливый, этот Юрий Середа. И дотошный. В минувшем рейсе, когда Середа не нашел еще четвертую капитанскую нашивку, я больше месяца жил на его китобойце в старпомовской каюте. Сменившись с вахты, Юрий никогда сразу не засыпал. Раскачиваясь на скрипучих койках, мы с ним копались и копались в разных «почему». Так уж получалось, что самый пустячный промысловый день накапливал в наших еще с экватора стриженных головах целые ворохи вопросов: почему радуга оказалась в Антарктике круглой? Почему киты чуют надвигающийся шторм дня за три и уходят от него? Почему боцман Карпенко напивается два раза в году до одеревенения: один раз в рейсе, один — на берегу, а остальные триста шестьдесят три дня в рот хмельного не берет?.. Десятки «почему» накапливались у нас каждый вечер. Были и более серьезные «почему». Но о них я еще расскажу...

Однажды в нашей каюте застрял Николай Кронов. Он уже тогда капитанил, хотя и был ровесником Середы. Кронов лихо разрубал «почему». Так лихо, что все сразу становилось ясным. Но странно: радости от этой ясности не было. Нам было жаль порубанных «почему». Впрочем, новый день порождал их снова и в несметном количестве.

Наверно, я немного ревную Середу к Николаю Кронову. Дружба у них давняя. Теперь оба капитаны. А что у Середы общего со мной? Стихи? Разве что стихи. Ну, еще эти самые «почему»... Кронов как-то сказал, не то

шутя, не то серьезно, что мы с Юрием сошлись на «демагогической почве»...

Вот они уже вместе! Выходят из управления, как жрецы из храма. Выходят и довольно щурятся на солнце. И солнце им радо: играет себе на витом шитье «крабов», вспыхивает то в одной, то в другой пуговице.

Люблю морскую форму! В минувшем, последнем для меня, рейсе я пошил себе черную тужурку, надраил пуговицы, чуть накренил к правому глазу широкообводную капитанскую фуражку. Три средних золотистых нашивки на рукавах уравнивали меня со старшими помощниками китобойцев. Это вполне устраивало. И я злился, когда Юра, представляя меня знакомым, перечеркивал мои морские регалии словами: «А это наш редактор...»

Почти всегда в таких случаях находилась представительница прекрасного пола и следовал всплеск рук:

«Редактор?! Скажите, как интересно! Значит, в Антарктике и газеты есть?»

«В Антарктике есть даже баня!» — не очень добродушно отшучивался я, а настроение портилось.

В одну из ночей, возвращаясь Атлантикой в родные широты (ох и плохо спится на пути к дому!), мы с Юрием идейно обосновали три основных цвета капитанской формы: золото нашивок и пуговиц — это от солнца, сотни раз пойманного в секстаны; белизна воротничков и фуражек — памятный дар айсбергов и ледяных полей; а чернота отутюженных костюмов — это уже побежденная ярость штормового океана...

Сегодня я пришел на перекресток в легкомысленной гибралтарской рубашке, выпущенной поверх опять же далеко не капитанских голубых брюк. Я смешался с пестрой, шумной и все-таки грустной толпой остающихся. Сейчас Юрий Середа и Николай Кронов пройдут мимо меня и...

Заметили, черти! Машут... Нет, я не пойду с ними. Я знаю их сегодняшний курс. В «Прибой». Обмывать капитанство Середы. Не люблю быть провожатым.

Они перешли улицу, явно направляясь ко мне. И вдруг Кронов остановился, задумчиво посмотрел вправо. Я проследил за направлением его взгляда...

...Цветы. Длинный, как разорвавшийся красочный венок, ряд осенних цветов: георгины, астры, канны, хризантемы. В корзинах, ведрах, большими и малыми

букетами. Цветочный ряд тянулся вдоль стен домов, чуть не на всю улицу. Торговля шла не слишком бойко.

Отношение к частной цветочной торговле в Лиманогорске до сих пор не стабилизировалось. То цветочницы вполне легально располагаются и у вокзала, и в центре города на глазах благосклонной милиции, то вдруг откуда-то нисходит запрет, и тогда милиционеры, приближаясь к бабкам с цветами, строго произносят извечное: «Граждане, давайте разойдемся!..»

Сейчас, наверно, была именно такая пора, потому что, заметив приближающегося милиционера, хозяйки корзин и ведер дружно подхватились и растворились в многолюдном потоке.

Только одна сморщенная годами бабуся с большой охапкой гортензий в корзине не двинулась с места, печально поглядывая на грозного «сыночка» в милицмейской форме. Может быть, годы не позволяли ей проявить ту же резвость, что и ее товарки по цветочной торговле, может быть, у нее были какие-то принципиальные соображения на сей счет.

Лицо милиционера по мере приближения к старушке принимало все более строгое выражение.

И тут перед старушкой вырос Кронов. Видимо, капитан «Стремительного» не торговался ни секунды. Гортензии оказались у него в руках, а бабуся, вызываясь глянув на милиционера, неторопливо поплелась по улице уже с пустой корзиной.

Больше всех, кажется, был доволен сам Николай Кронов. Над бело-лиловой пеной огромного букета прямо-таки таяло от удовольствия его чуть пополневшее за лето лицо.

— Это тебе! — Кронов надвинулся букетом на Середу.

— Да перестань, Николай! Куда я с ним денусь?

— Не хочешь? — удивился Кронов. И сразу, не успев Юрий ни слова ответить, метнулся с букетом за только что обогнувшей нас стройной шатенкой.

Вот он уже нагнал ее. Что-то говорит, улыбаясь.

Шатенка слегка сопротивлялась, но через секунд двадцать огромный букет все же перешел к ней, а Кронов, смеясь, уже что-то записывал на вырванном из блокнота листке. Мгновение — и листок тоже перешел в сумочку шатенки.

— Великолепный кадр! — восхищенно говорит Кронов, подходя к нам.

Середа пытается взглянуть на друга осуждающе, но это у него не получается. Есть нечто в Николае Кронове, заставляющее смотреть на его поступки просто и весело.

— Пошли! — командует Кронов и тут же, пригибаясь к моему уху, шепчет, задыхаясь от смеха: — Я дал ей Юркин телефон... Вечером позвонит!.. Представляешь, как взвьется Екатерина! — Кронов расхохотался. Громко, так что стали оглядываться прохожие.

— Перестань! — тихо просит Середа.

Но где там!

— Представляешь?! — заговорщицки подмигивает мне Кронов и снова заливается смехом на всю улицу...

— Перестань! — уже раздраженно повторяет Юрий.

Я вижу, как ему неловко за кроновскую браваду.

Почему-то именно в эту минуту мне вспоминается одностороннее знакомство с Середой, тогда еще старшим помощником китобойного судна.

2. ...Китобоец «Безупречный» подходил для бункеровки к правому борту китобазы «Отвага». На крыло мостика «Отваги» вышел старпом капитана, грубоватый и крикливый Артем Артемыч. Я смотрел, как швартуется китобоец, на мостике которого было необычно тихо. Человек, стоявший на месте капитана, не кричал в мегафон, не перегибался за планширь мостика, не дублировал своих команд отчаянными взмахами рук. Команд вообще не было слышно.

— Хм! — Стоявшего рядом со мной Артема Артемыча аж передернуло от возмущения. — Швартуется, доктор!..

— Кто?

— Середа! Старший помощник, называется! Ну-ну!.. — Артем Артемыч следил за швартовкой «Безупречного» с недоброй придирчивостью. Он уже выдернул из гнезда мегафон и два раза дунул в мембранную решетку. «Хрухру!» — предостерегающе прохрипело над палубами китобазы и «Безупречного». Но удивительно спокойный старпом китобойца не дал Артему Артемычу повода для злого и всегда едкого разноса. Ошвартовался «Безупречный» безупречно: мягко прижал своим бортом к борту китобазы тушу добытого кита, быстро выбрал слабинку заведенных швартовых концов.

Я оглянулся на Артемыча. Старпом китобазы смотрел на китобоец явно обескураженно. Еще раз хмыкнув, он сердито воткнул не понадобившийся мегафон в гнездо и,

заложив руки за спину, ушел с мостика. А я еще пристальней стал вглядываться в качающийся под бортом китобоец. На его ходовом мостике Середа показался мне совсем маленьким. Может, оттого, что смотрел я на него с двадцатиметровой высоты капитанского мостика флагмана. И опять я не услышал ни одной громкой команды, хотя Середа иногда и говорил что-то сновавшим по палубе матросам «Безупречного». Китобоец пополнял запас горючего и продовольствия. Однажды мне послышалось в очередном распоряжении Середы слово «пожалуйста». Я улыбнулся. Мне стало вдруг невероятно хорошо от такого предположения.

Минут через двадцать на крыло флагманского мостика чертом выскочил Артем Артемыч. Удовлетворенно крикнув, старпом флагмана снова выхватил мегафон, и над ночной Антарктикой загремело:

— На «Безупречном»! Какого черта чухаетесь?!

Я удивился гневу Артема Артемыча. Китобойцы бункеровались обычно полчасика, а то и больше. Ходовых огней в океане не видно — никто в очередь за «Безупречным» на бункеровку не стоит.

— Сколько еще будете чухаться? — продолжал неистовствовать флагманский старпом.

Я видел, как Середа поднял свой мегафон и в ночи прозвучал его спокойный, несколько искусственно забаритоненный голос:

— Не понял вас, Артем Артемыч!

— Что-о-о-о?!!

Матросы-раздельщики ночной смены на палубе китобазы прекратили надрезку китовой туши и весело переглянулись.

— Я спрашиваю, — голос Артема Артемыча, усиленный мегафоном, дрожал, — когда чухаться перестанете?!!

И опять четкий невозмутимый баритон с «Безупречного»:

— Простите, Артем Артемыч, не можем понять вас.

На крыло китобазы вышел, видимо, подышать перед сном капитан-директор флотилии Волгин. Иллюминаторы его каюты выходили на правый борт, и он, конечно, все слышал.

— Он, видите ли, не понимает! — всплеснул руками, чуть не разбив мегафон о свое колено, Артем Артемыч и покосился на капитан-директора, явно ожидая поддержки.

Но Волгин молча, не взглянув ни на старпома, ни на китобоец, прошелся по крылу мостика и, поправив на ходу брезентовый чехол на пеленгаторе, негромко вздохнул:

— Все может быть. Слова «чухаться» нет ни в одном морском словаре.— Изрек и неторопливо перешел на левое крыло мостика.

Не то вздох, не то стон вырвался из груди Артема Артемыча. Наверное, с минуту он стоял понуро, закусив губу, а потом снова поднял мегафон.

— На «Безупречном»! Я спрашиваю, когда закончите бункеровку?

— Благодарю! — тотчас ответил Середа звонким высоким голосом, неожиданно перестав «баритонить». — Вас понял. Бункеровку закончим через шесть минут.

Артем Артемыч яростно задрал рукав кожаного реглана, взглянул на тускло фосфоресцирующий циферблат, что-то пробурчал и скрылся в рубке.

На разделочной палубе матросы покачали головами, незлобиво похохотали, опираясь на клюшки фленшерных ножей, дружно взглянули на Середу и ринулись к очередной туше кита...

Когда через шесть минут Артем Артемыч вновь появился на крыле мостика, ходовые огни «Безупречного» уже качались впереди китобазы. Китобоец закончил бункеровку и отошел от борта на одну минуту раньше обещанного срока...

3. Вот что я вдруг припоминаю, глядя на смущенного кроновским хохотом капитана Середу.

Я жму руку Кронову, крепко обнимаю Юрия и, не оглядываясь, ухожу. Сначала иду быстро, почти бегу. Потом перехожу на шаг, сообразив, что себе-то врать глупо.

И еще вдруг понимаю: никуда мне не уйти от них. Даже после того, как услышу завтрашней ночью прощальные гудки китобойцев. И не одну ночь я буду подробно дописывать скупые строчки редких радиogramм и не ошибусь в подробностях.

Пусть в радиogramме не будет координат! Мне достаточно взглянуть на число отправки. Вместе с китобоями я сначала пройду тихим извилистым Босфором. Вновь подивлюсь величию куполов Ай-Софии и немного позавижду хозяину приземистого домика у самой воды, когда

он прямо из ворот взрежет закругленным носом фелюги синее зеркало залива.

Останется за кормой белая Олеандровая башня, в который раз доскажет турецкий лоцман легенду о погибшей здесь прекрасной узнице. Доскажет и сойдет с борта в свой тарахтящий катер под люболытными взглядами облепивших правый борт новичков. И тогда начнется короткая тихая песня Мраморного моря. Наверное, оно, прикрытое с двух сторон синими ломтями анатолийских берегов, веками стыло в штилевом безветрии и превратилось в мрамор. Просто странно, что форштевни флагмана и китобойцев так легко и бесшумно режут эту полированную зеленовато-синюю гладь с золотистыми прожилками солнца. Если присядет на воду чайка — брызги не взлетают, круги не ширятся и вся птица четко отражена в синей зеркальности.

А потом снова узкость — Дарданеллы. Здесь уже пройдем без лоцмана. И скоро раскинется Эгейское море с малыми и большими островами греческого архипелага.

Здесь уже может и качнуть. Побледнеет новичок и забьется в самый дальний угол каюты. Не от страха, а чтоб товарищи не заметили бледности да не посмеялись. А зря, между прочим! Надо выйти на палубу или подняться на мостик, под ветер, под залетающие от полубака колючие брызги. И никто не заметит твоей бледности. А и заметит, так не посмеется. Потому что увидит — не поддается новичок шторму, значит, до Антарктики притерпится...

Но вряд ли такое приключится в Эгейском. В октябре, когда проходят китобои «Отваги», Эгейское чаще всего спокойно. Вечером зажгутся густые звезды и редкие маяки на островах. И захочется читать стихи гекзаметром. Начнешь вспоминать и не вспомнишь, конечно, ничего... И тогда надо идти к ребятам. Они не силятся вспомнить древних греков. Они вспоминают то, что оставили позавчера. Берег еще долго будет жить в мыслях каждого. Он упорно, может, до самой Антарктики будет приходить в междувахтенные сны. Да так тебя околпачит, — проснешься и не сразу поймешь, отчего дрожит и качается комната, почему окно круглое и бьется в него не знакомая облетевшая ветка, а зеленая лапа тяжелой волны.

Целую неделю займет Средиземное — большая морская дорога. Через каждые пять-десять минут — расхо-

ждение с встречным судном. Если оно под красным флагом — обязательно погудит, просигналит семафором: «Счастливого плавания, китобои!» И мы ответим гудками — поблагодарим. И кто-то позавидует морякам со встречного теплохода: через неделю будут дома! Но никто не выскажет зависти. Это просто неприлично: впереди еще семь месяцев!..

В Средиземном поглядим на землю — синюю полосу африканского берега с цепочкой одинаковых и незнакомых деревьев, бегущих по склону. Иногда, в очень темную ночь, можно рассмотреть справа по борту трепетное темно-багровое зарево — отблеск огненного дыхания Этно...

Последняя земля — похожая на нашу Медведь-гору Гибралтарская скала. Веселые краски городка, белые пассажирские лайнеры в гавани, яркая зелень по склонам гор. Кажется, мирными яркими красками перечеркнуты серые остывшие от долгого бездействия контуры военных кораблей. Ветераны морских сражений давно не поднимают якорей. Это хорошо. Однако не обольщайся! Вон со стороны Африки стремительно приближается блестящая металлом черточка с дымным хвостом. Идет на посадку, нутужно гудя турбинами, реактивный истребитель. И под плоскостями знакомые с недоброго детства черные кресты. Когда-то, заведя самолеты с крестами на плоскостях, Гибралтар ошетинился огнем. Теперь наши радисты слышат, как немецкому летчику англичане корректируют посадку. НАТО!..

Даже если ты в каюте и не видишь, как исчезает за кормой Гибралтар с пушистой шапкой облаков на каменной макушке, все равно почувствуешь океан. Даже ночью! Совсем иная качка. Медленно и долго кладет на один борт, потом на другой. В каюте оживают вещи и начинают разговаривать между собой. Устало и протяжно вздыхает плащ, скользя по отполированной стенке шкафчика; в шахматной коробке начинается сердитый спор между белыми и черными; тонко и певуче поскрипывают переборки каюты. При резком и глубоком крене сама собой откроется дверь каюты и потом сама закроется, словно в каюту вошел невидимка...

Но будут и в Атлантике погожие синие-синие дни. И мириады светлячков разбросает тропическое солнце на гребешках еле заметной ряби. Будет висеть в теплой бирюзе «странник»-альбатрос, будут шлепаться на палубу

серебристые летающие рыбки. Такие запылают закаты, словно невидимый гигант-живописец рисует в полнеба одну за другой сказочные картины и тут же стирает их. Вечерами закачаются над мачтами звезды, каждая величиной с блюдце. Много еще будет. Не будет только одного. Земли! Ничьей! Долго не будет. И тоска по ней не пройдет весь рейс. Даже когда за тропиком Козерога вдруг резко похолодает, и впередсмотрящий увидит на потемневшем горизонте белую скалу айсберга, и чей-то первый удачливый выстрел разбудит холодную тишину Антарктики, объявив о начале промысла...

4. Если день пасмурный и безветренный, океан в Антарктике — серая пустыня. Зыбучими барханами она встает то с левого, то с правого берега — в зависимости от крена китобойца.

Я вижу, как Юрий Середа застыл у правой переборки мостика. Он то придавит планширь правым локтем, когда судно заваливается вправо, то крепко, до ломоты в коленке, обопрется на левую ногу. А со стороны кажется — капитан врос в палубу, не шелохнется, как ни раскачивайся океан.

Середа поднимает голову и видит небо, тоже серое и пустое. Ни альбатроса, ни пестрой ватажки капских голубей. А если нету птицы — не найдешь и кита.

И только вспоминает Середа это старое антарктическое поверье — впереди, мили за три, прямо по носу вспыхивает и сразу тает короткий пушистый фонтан.

«Померещилось!» Это часто бывает. При долгом поиске воображение, подстегнутое неутоленной жаждой удачи, вдруг возьмет да и нарисует отчетливую вспышку фонтана. Но горе вскрикнувшему новичку — убегай от насмешек с мостика.

Нет, фонтан настоящий! Середа понимает это еще до новой вспышки. Понимает по дрогнувшим лицам Аверьяныча и Серегина. У Аверьяныча затвердел и заходил желвак. У Серегина приоткрылись потрескавшиеся на ветру губы. Оба заметили, но выжидают. Сразу троим померещиться не могло. И вот вновь вспыхивает впереди белесое, похожее на взрыв на воде, облачко, а рядом с ним второе... Третье!

— Фонтаны! — вопит в бочке марсовый.

Удивительная это должность — марсовый матрос. Марсовые — последние могикане парусного флота, его отшу-

мевшей романтики. Давний предок сегодняшнего марсового подарил Европе Америку. Это он закричал «Земля!» в марсовой бочке на одной из Колумбовых каравелл.

Бочка на мачте, надо полагать, немного видоизменилась. Изменились и ванты — туго натянутые от мачты к бортам растяжки, по которым поднимаются в бочку. А вот ветер поет в них ту же самую песню, что и четыре, пять веков назад. И запах от вант старый, смолистый...

Нет, марсовый сегодня не тешит себя надеждой открыть материк. И остался-то он только в китобойных флотилиях. На каких-нибудь шесть метров его наблюдательный пост выше капитанского мостика. И потому ему первым дано заметить вдалеке белесый столбик китового фонтана. Тут мало проку только в зорких глазах. Зрение — само собой. Надо верить в удачу. Всю вахту. От первой минуты до последней. Даже если вот уже больше двух часов вокруг только серо-свинцовая пустыня. Удача может прийти каждую секунду. Только не разуверься в ней, не скажи ни разу, что вымер океан. А когда по мановению твоей руки капитан развернет китобоец в направлении обнаруженного фонтана, когда у пушки на высоком полубаке начнет нетерпеливо пританцовывать гарпунер, ты первым увидишь, как стремительной тенью выходит на поверхность настигнутый кит, и крикнешь об этом гарпунеру...

Пляшут над океаном белые гейзеры.

Середа переводит ручки телеграфа на «самый полный вперед» и оглядывается. Далеко слева разворачивается серый корпус китобойца «Стремительный». Значит, фонтаны заметили и на нем. Поздно! «Теперь, товарищ Кронов, извольте стать мне по корме — очередь соблюдайте! — не без злорадства думает Середа. — Шли вместе, а вас черт понес влево!..»

Киты вышли неожиданно и дружно. Вот уже в полутора милях вскипают и рассыпаются по ветру прозрачные дымки фонтанов.

Кашалотов надо настичь сейчас, пока они «не отдыхались» и не нырнули вновь. В отличие от усатых китов, кашалот может быть под водой очень долго. На тысячу и более метров занывает многотонное чудовище с огромной тупо срезанной спереди башкой. И там, в черной океанской глубине, ведет кашалот тяжкий бой с кальмарами, каракатицами, осьминогами. Переломив свою жертву крупными, как укороченные слоновые бивни,

зубами, кашалот выходит на поверхность совершенно обессиленным. Он судорожно выбрасывает из дыхала фонтан и лежит на волне бревно бревном минут десять-пятнадцать, пока не отдышится. Вот тут-то и самый момент запустить в него гарпун!..

Середа косится влево и видит белопенные буруны высоких усов под форштевнем «Стремительного». Китобоец Кронова тоже летит к фонтанам!

— Пеленг?

— Пеленг не меняется! — тревожно отвечает с левого крыла второй помощник Володя. И Середа чувствует, как что-то, холодея, сжимается в груди. «Пеленг не меняется!..» Это значит, что суда столкнутся в точке, к которой идут. Обязательно столкнутся, если никто из капитанов не уступит. Есть такая железная формула в судовождении.

Середа смотрит в бинокль на мостик «Стремительного».

Нет, капитан Кронов даже не оглядывается на «Безупречный». Да и все на «Стремительном», будто одни в океане, смотрят только вперед. Чуть не гнутся мачты от стремительного хода кроновского китобойца. Крылья бурунов выросли до высокого полубака с пригнувшимся у пушки гарпунером Бусько. Дрожит слюдяное марево над скошенной трубой...

Середа вспыхивает, отбрасывает бинокль и давит на рукоятки телеграфа: «Вперед, вперед!..»

Но почему-то ему вдруг слышится вскрик Васи Лысюка и треск разодранного фальшборта. Закусив губу, Середа рывком перекидывает ручки телеграфа на «полный назад», четко командует:

— Право на борт!

Крупной дрожью дрожит стальной корпус от резкого реверса.

Слева серой тенью проносится «Стремительный». И тотчас ударяет выстрел. Свидетельствуя удачу, грузно опускается промысловый блок на мачте «Стремительного»...

Самое обидное — Середа это чувствует, — люди «Безупречного» не оценили его поступка. Даже самый молодой в экипаже — практикант Вася, чей вскрик послышался Середе в решающую секунду, — обескураженно потягивает носом и бросает на капитана короткий насмешливый взгляд: «Что? Слабо стало?..»

Наверное, только Аверьяныч одобряет капитана. Он презрительно щурится, глядя на суесящихся на своем полубаке кроновцев, и, выбив о планширь трубку, неторопливо уходит к пушке. Теперь спешить некуда. Кронов швартует загарпуненного кита, остальные занырнули.

А потом натянуло туман. Просто чудо, что в густом липком молоке Аверьяныч высмотрел одного кашалота. Взяли. Да как-то уже не в радость...

5. Вечером, после диспетчерского радиообмена, Середа попросил Кронова перейти на короткую волну, чтобы не подслушали на китобазе.

— Зачем ты это сделал? — почти прошептал Середа в микрофон.

Кронов молчал.

— Тебя спрашиваю, Николай!

В приемнике послышалось раздраженное сопение:

— Ну... Чего ты? Тоже ведь взял?..

— А если б я не отвернул?

Кронов молчит долго. Потом, вздохнув, выпаливает с деланным смешком:

— Да брось ты, Юрка! Кто-то из нас должен был отвернуть!

— Кто-то, но, конечно, не ты! — кричит Середа.

Но Кронов сразу уходит с «короткой» и на общей волне нетерпеливо взывает к базе:

— Алло, Бе-зе! Алло, Бе-зе!.. Я «Стремительный». Прием!

Середа швыряет микрофон и, рванувшись к двери, натывается на стоящего у косяка Аверьяныча.

— Плюнь, капитан! — Аверьяныч глухо покашливает и тут же с присвистом сосет остывшую трубку. — Не на стадионе гоняем!

Надвигаются сумерки. Океан затихает и темнеет. Далекая цепь айсбергов становится синей, потом черной и кажется скалистым берегом несуществующего материка...

В каюте Середа сбрасывает набрякшую тяжестью альпаговку, падает на поющий пружинами диван. Без альпаговки — подбитой мехом и прорезиненной сверху куртки, — без шапки-ушанки Середа выглядит совсем юным. Может, от тонкой, почти мальчишеской стати, может, от темного ежика медленно отрастающих волос. В синих, затененных густыми ресницами глазах догорает обида.

Середа выдергивает из-за спинки дивана книгу. Удивительно медленно читается в рейсе! Три-четыре страницы, и как ни закручивайся сюжет — выпадает книга из рук, неслышно сползает на коврик каюты.

На этот раз Середа перевернул страниц десять, а сна — ни в одном глазу. Впрочем, не впрок и чтение. Ничего не встает за четкими строчками страниц, кроме смешливых, чуть навывкате карих глаз Кольки Кронова. «Я знал, что ты отвернешь!..» Или как он сказал? Совсем зарвался, черт!..

6. Последние два года Кронов уже капитанил, а Середа все еще ходил в старших помощниках. Вспомнилось, как год с лишним назад вызвал его на беседу капитан-директор флотилии. Середа знал, для чего. Да и ни для кого это не было секретом. На китобоец «Мирный» требовался капитан. Середа подходил по всем статьям: и пять рейсов, и образование, и аттестация — хоть адмиралом флота!

Беседа с капитан-директором поначалу породила самые радужные надежды. Середа деловито ответил на очень тактично поставленные вопросы. Казалось, капитан-директор не экзаменует судоводителя, а запросто беседует с коллегой. Чуть располневший, в тот день в легком гражданском пиджаке поверх украинской сорочки, Волгин казался удивительно добрым и свойским. Потом пили холодное «Рижское» пиво, принесенное секретаршей капитан-директора. И все-таки капитаном на «Мирный» тогда назначили другого.

Всю прошлую путину Середа работал как одержимый. Недолгими антарктическими ночами он снова и снова вспоминал беседу с капитан-директором, тщетно пытаясь угадать: в чем же была ошибка? Нет! На все вопросы отвечено правильно! Он проверил потом по учебникам! Что ж тогда?

Перед самым отходом в этот рейс, когда обмывали назначение Середу капитаном, он поделился с Кроновым прошлогодней досадой.

— Ну что ты, дорогой? — укоризненно удивился Кронов. — Все в норме! Ты — капитан. А годом раньше, годом позже — это, брат, уже не имеет значения для мировой революции. Не думал, что ты так честолюбив!

— Дело не в честолюбии. Просто я должен знать!

— Что?

— Почему он тогда от меня отказался? Ты знаешь, Николай... Мне припоминается... Один раз он взглянул на меня как-то особенно. С каким-то сомнением... Так, наверно, ювелиры разглядывают камень: а вдруг фальшивый?

— Э-э, дорогой, куда тебя заносит! — Кронов смотрел на друга, не скрывая изумления. — Надо ж придумать: камни, ювелиры!.. Псих ты, мнительный! Вот Волгин это я заметил. Понял?

— Нет. Это я теперь стал. А тогда я был совершенно спокоен. Совершенно!

— Ну, значит, был слишком спокоен! — Кронов неожиданно вскипел, но тут же вернул себе шутливый тон: — Ты что, не знаешь начальства? — Кронов подхватил вилкой кусок шашлыка, сгреб ножом зелень и, ловко вываляв все это в соусе, отправил в рот, зажмурился.

— Сегодня ему подай смелость, завтра — осторожность, — продолжал Кронов, проглотив шашлык. — Смотря какие цеу получены, в смысле ценные указания. Ты же помнишь: меня то возносили, то снять грозились. В общем...

Кто в море плачет
И слезы льет,—

негромко затянул тогда Кронов,—

Тот не мужчина, а кашалот.
Итак, не плачьте!
Висишь на мачте,
Но все равно — ол райт, ол райт!..

«Нашел что запеть...» Обычно-то Середа вспоминает о песенке с улыбкой. Но сегодня и случай с ней кажется полным недоброго смысла.

7. ...Случилось это десяток лет назад. Простой и веселый мотив, озорные слова сразу запомнились курсантам мореходного училища. Не обходилось ни одной пирушки, чтобы не спелась песенка под лихой перезвон гитар. Но вот однажды Кронов затянул ее в строю. Улица Парковая всегда многолюдна. Песня привлекла внимание: девушки улыбались, отставные моряки удовлетворенно кричали, провожали курсантский строй повлажневшими глазами.

Заместитель начальника училища был туговат на ухо. И, заслышав громкую и потому, по его убеждению, «нашенскую» песню, он выразил свое полное удовольствие Середе, заменявшему тогда старшину.

— От ведь! Могут рвануть, когда захотят, а?

— Могут, товарищ Тараканов!

А на следующий день... Говорят, кто-то позвонил заместителю и перепугал насмерть. Так или иначе, а Середу вызвали прямо с урока. Он стоял перед растерянным заместителем и дивился, как резко темнеют серые зрачки Тараканова.

— Подрываете, значит? — голос заместителя сорвался.

— Что подрываем? — не понял Середа.

— Космополитические песни в строю горланят!

Середа еле сдержал улыбку. Честно говоря, когда Кронов затянул песню, он и сам подумал: не для курсантского строя это. Хотел оборвать, а потом махнул рукой — обойдется. Но чтоб пришивать за песню такое!..

По настоянию заместителя Середе все-таки записали выговор.

А Кронов остался в стороне. Потому что ни Середа, ни другие курсанты, которых «тягали наверх», никак не могли вспомнить, кто в тот теплый вечер оказался «безответственным запевалой».

Сам Кронов, правда, не раз порывался пойти повиниться, но его дружно удерживали: к чему еще одно взыскание? В строю песню больше не пели. Но на курсантских мальчишниках она продолжала звучать, отпугивая смутную тревогу перед морскими дорогами, и манящими, и таинственными...

8. Резко положило на левый борт. Середа рывком поднимается, ладонями растирает лицо и злится: «Песенку вспомнил! Умилился, теленок! Вот так Кольке все сходит...»

Середа натягивает альпаговку, выходит, поднимается наверх. Сразу за тяжелой дверью из штурманской — серебристое безлунное летней антарктической ночи. Ни луны, ни звезд — небо, как в дыму, в низких мохнатых облаках, а ночь светится. Воздухом самим светится. Словно серебрин растворили в нем.

На мостик Середа не идет. «Не надо без нужды опекать помощников». Сам помнит, какая досада слышать на вахте за своей спиной дыхание капитана.

9. Однажды стоял Середа, тогда еще второй помощник, ночную вахту на переходе. Дело было в Средиземном. Только что разошлись с танкером-«иностранцем». Вроде бы правильно разошлись. И вдруг Середа услышал над своим плечом сердитое сопение. Капитан Титуз, ветеран Антарктики, среди ночи поднялся на мостик. Взглянув на картушку компаса, Титуз молча отошел к задней переборке, но сопеть не перестал. Середа что называется из кожи лез: и звезды ловил секстаном, и пеленги на два маяка взял, и опять же разошелся со встречным судном по всем правилам, а капитан не прекращал за спиной громкого и сердитого сопения.

Середа извелся в поисках ошибки: метался от карты к пеленгатору, то включал, то выключал эхолот, а капитан продолжал сопеть.

— Вы, кажется, чем-то недовольны, Виталий Витольдович? — Середа круто повернулся к Титузу и смотрел на него с дерзким вызовом отчаяния.

Титуз с тяжким вздохом кивнул, взглянул на помощника полными скуки, даже слезой затуманенными глазами.

— Недоволен!

— Чем же? — вся дерзость Середы испарилась, голос дрогнул.

Титуз вздохнул, сокрушенно махнул рукой с зажатым в кулаке платком.

— Насморк, понимаешь ли... Спать не могу — душит, дьявол его заberi!.. — И, длинно высморкавшись с каким-то жалостливым трубным звуком, Титуз понуро побрел к себе в каюту...

10. Неслышно спускается Середа на нижнюю палубу, идет по ее мокрому настилу на ют. Палуба рыжая — и краску, и сурик уже выело солью океана.

В ноги ему нет-нет да и бросится из-под леера озорным зверьком взъерошенная волна. Облизнет сапоги и уйдет назад в океан тем же путем — под леера и за борт.

На корме одинокая, уже согнутая холодом, должно, давно стоит фигура. «Моторист Тараненко, — узнает Середа. — Странный какой-то. Глаза всегда грустные. А еще до конца рейса — о-хо-хо! — как говорит второй механик «Безупречного» Катков».

Моторист не замечает капитана. И Середа не знает, что сказать пареньку, чтоб согреть. Он останавливается и неслышно идет назад.

«Пеленг не меняется!» — почему-то всплывает в памяти тревожный вскрик помощника Володи. И тогда Середа рывком поворачивается к корме.

Там, где стоял Тараненко, никого нет. Только какой-то лоскуток, зацепившись за леер, бьется на ветру.

Сразу пересыхает во рту. Середа бежит на корму, а ноги стучат по настилу, как чужие. «Вот же тут он только что стоял». Середа различает следы ботинок моториста на мокром настиле — аккуратные круглячки от пупырышек на подошве. И еще ему кажется, что слышал всплеск за бортом. Середа бросается к шахте отделения, заглядывает в нее и тогда облегченно вздыхает. Прямо за комингсом шахты он видит золотисто-кудрявую голову Тараненко. Моторист по отвесному трапу спускается в машину — с ноля его вахта...

Середа подходит к лееру, стоит под ветром и беззвучно смеется. «Рано психом становлюсь!.. А парня надо вызвать. Что-то он нудится. Завтра же вызову!..»

Ох уж эти летние ночи Антарктики! И не поймешь, когда рассвет. Бывает, нагонит ветер лиловатые снежные тучи, и на восходе солнце станет темней, чем в полночь. И спится плохо такими ночами почти всем. Разве что китам ничего. У них шкура толстая...

ГЛАВА II

1. С первым же танкером пришло два письма. От Середы и от Кронова. Я насторожился. Кронов никогда до этого не писал мне. Наверное, с Юрием что-то неладно. Я начал с кроновского письма.

«Середа на меня злится — перехватил у него кита». (Ну, это куда ни шло! — я облегченно вздохнул). «Черт меня дернул! — продолжал Кронов. — В общем-то потерял на этом деле я. Во-первых, Юрка до сих пор дуется; во-вторых, я молча осужден своей же судовой интеллигенцией. Да, да! Появилась в Антарктике эта самая прослойка, черт бы ее побрал! Появилась и обижается, если я хлопнул кита без этики и эстетики... Правда, от премии не отказываются. Наверное, ты уже задумался, куда это Кронов гнет? Сам не знаю, почему вдруг расплакался в жилетку. Вот захотелось и все! Не ищи зарытой соба-

ки. Сочти это за информацию о качественных изменениях плавсостава. А у меня к тебе две самых обыкновенных просьбы. Первая. Сходи к Екатерине. По последним данным, в каюте капитана Середы исчезла с переборки Катина фотография! А это в рейсе уже, брат, ЧП. Объясни ей, кандидатке в академики, чтобы она не терзала Юрку, хотя бы до возвращения. При всем его интеллекте Антарктика запросто может загнать в Юркиной голове шар за шар при глубоких раздумьях над вопросами любви и пола. Тут, брат, от любой принцессы надо только одно: «Люблю, жду, целую» — не реже чем каждые десять дней! Может, до нее это не доходит?

Вторая просьба сугубо личная. Моя Ирина хочет пробоваться в какой-то там театр. Так ты узнай: как у нее дела. Может, и подмогнешь чем? Идет?»

Вот такое письмо. Ничего особенного. По-кроновски деловое, без всяких «почему».

2. Юра не писал об инциденте с Кроновым. Без тени зависти сообщил: «Вымпел первенства, как и следовало ожидать, развевается над китобойцем Николая». О Кате ничего не было. Вообще письмо оказалось очень коротким, если не считать нескольких стихотворений. «Не для печати! Даже если одобришь», — красовалось выведенное красным карандашом предупреждение над первой страничкой цикла. Меня взволновало последнее стихотворение. Сдержанная тоска по ненайденной любви, грустная улыбка. Но вместо обычной оптимистической концовки, которой не, всегда кстати заканчивалась остальная лирика, я вдруг прочел:

Волна черна. А черная окраска

Перечеркнет растерянность легко.

А что под ней? А вдруг совсем не сказка —

Любовь, не удержавшая Садко?..

Да, надо идти к Екатерине!

3. Я был у нее месяца три назад. Пришел вместе с лучезарным молодоженом Кроновым и его Ириной. Получилось так. Юрий ушел в рейс вместе с флотилией, а кроновский «Стремительный» на этот раз задержался — меняли один из дизелей. Снять — сняли, а новый застрял на пути к лиманогорскому доку. Заминкой с отходом Кронов немедленно воспользовался, выхлопотав

себе недельный отпуск «за свой счет, по семейным обстоятельствам». Никто всерьез не верил стенаниям об одинокой бабушке, слезно тоскующей о мореходе-внуке. Но и не отпускать передового капитана в Москву, когда с отходом явная заминка, не было причин.

— Жениться, небось, едешь? — сострил, как ему казалось, начальник управления, подписывая отпускное удостоверение.

— Такой поворот судьбы не исключен! — с улыбкой ответил Кронов.

А дней через восемь меня поднял с постели телефонный звонок.

— Добрый день! — послышался в трубке бодрый голос Кронова, хотя за окном едва светлело.

— Привет. Что случилось?

— Я звоню с аэродрома. Я женился!

— На аэродроме?

— Нет, в Москве. Мы только что прилетели!..

Женившись, вырвав молодую из родительского гнезда, Кронов только в самолете, и то уже на рулежной дорожке Лиманогорска, все-таки задумался над вопросом: а где ж будет жить его ненаглядная? И тут же решил: конечно, у Середы! Екатерина до прихода одна в двух комнатах. («Не собак же ей там гонять!») А с приходом «провернем квартирный вопрос! Отлично!» Однако к реализации своих планов Кронов решил привлечь меня. Почему? Непонятно. Екатерина Середа меня явно недолюбливала. Вероятно, она считала, что это я подогреваю в Серede антарктический романтизм, в то время как она жаждала видеть его осевшим на берегу, делающим, как она говорила, «серьезное дело». Кронов вызывал у нее гораздо большую симпатию.

Я решил отговорить Кронова от этой затеи.

— Привези свою актрису сначала ко мне. Обсудим положение.

В трубке забулькало восторженное междометие.

— Старик! Как ты угадал, что Ирина актриса?

— Телепатия! — Я повесил трубку.

«Все ясно! Сейчас заявится околотеатральная фифа... К Екатерине ее, понятно, везти нельзя. Но и мне такая соседка... Интересно, через сколько дней Кронов ее поколотит?..»

«Кронов будет ее боготворить. Всегда!.. Дуракам счастье!..» Вся моя ирония улетучилась, едва Ирина пе-

реступила порог и я встретился с ее взглядом, в котором легкое смущение, любопытство и радостная доверчивость перемешались и тепло пролились на меня.

Я и сейчас (больше двух лет прошло!) ничего вразумительного в пользу Ирининогo обаяния не скажу. Но я точно знаю, что не ошибся: она удивительная. Когда такая женщина смотрит на тебя, ты не обалдеваешь, не тянешься, чтобы казаться выше, но и не опускаешь головы. Ты остаешься самим собой. И вдруг понимаешь, что в этом-то и есть вся прелесть: почувствовать на себе ласково-одобрительный взгляд красивой женщины, совсем не тужась для этого.

«Я все знаю: вы друг Николая, а значит, и мой большой друг», — что-то вроде этого я сразу прочел в ее темно-карих чуть раскосых глазах, мягко затененных синеваыми ресницами.

Наверное, она поначалу разглядела во мне неожиданное, потому что в ее глазах на секунду мелькнуло изумление: «Как? Вы не очень любите Николая? Этого не может быть! Он чудесный. Вы только посмотрите на него. Вот так!..»

И она так посмотрела на своего мужа, что я поверил: нет, действительно, не разглядел я в Николае Кронове светлого чуда...

Но самое удивительное, что первым словом, произнесенным Ириной после знакомства со мной, оказалось... «почему».

— Почему-то в незнакомые города я каждый раз попадаю на рассвете! — сказала она певучим грудным голосом.

Я просто ахнул:

— Вы... «почемучка»?

— Почему? — смешно растерялась Ирина и, тут же сразу поняв меня, обрадованно закивала головой, тихо рассмеялась: — Ага! А вы тоже?

— О! — зарокотал Кронов. — Он и Юрка самые величайшие «почемучки» нашего времени.

В это утро мне нравилось жарить омлет с колбасой на огромной, как солнце, сковородке и заваривать кофе по-турецки, а может быть, и не по-турецки.

Ирина еще несколько раз поднимала глаза на блаженно притихшего Кронова и мне стало немного обидно. Я вдруг подумал, что на меня так вот не смотрела ни одна женщина.

Вот тогда я и понял — можно, даже нужно поселить Ирину в доме Екатерины Середы! Может быть, рядом с ней Екатерина Великая поймет, что знание теории Эйнштейна еще не все, и друг мой, а ее муж, Юрий Серeda не от жира бесится, когда с неожиданной тоской смотрит сквозь ее почти античный лик...

4. Екатерина открыла нам быстро. Сразу повела в комнаты, оборвав извинения Кронова резким шепотом:
— Тише! Соседей мне поднимете!

Была она в теплом ворсистом халате, однако по всему чувствовалось, что поднялась задолго до нашего звонка: лицо свежее с только что стертыми на скулах пятнышками крема; в пепельнице около стопки исписанных листов тлела недокуренная сигарета. На большом круглом обеденном столе, на подоконнике, даже на натертом до зеркального блеска полу аккуратно сложенные пачки писчей бумаги: напечатанный текст часто перебивался замысловатыми значками формул.

Я был искренне благодарен Екатерине за ее грубоватую деловитость, за неброский такт интеллигентной женщины, избавлявший и меня, и Кронова от долгих объяснений.

— Серeda! — спокойно сказала Екатерина, решительно протягивая Ирине руку.

Ирина вспыхнула, негромко ответила:

— Ира...

И тогда Екатерина, улыбнувшись, тотчас поправилась:
— А я Катя!.. Ванну, а? Пока вода горячая?..

И, как Ирина не отнекивалась, Екатерина потащила ее за собой, на ходу выхватив из шифоньера красивое, все в ярких птицах кимоно.

С первых минут Екатерина завоевала Ирину. Я это видел, угадывал в Иринином взгляде, которым она сопровождала каждое движение резкой и сильной женщины.

Вообще Екатерина умела и, мне кажется, любила привораживать к себе женщин. Причем в числе ее поклонниц были чаще всего неустроенные: или недоучившиеся, или недолюбившие, или просто растерявшиеся от разных житейских невзгод. Поначалу я думал, что тут всего лишь своеобразное женское тщеславие.

Ведь они, неудачницы, ярко оттеняли и ум, и завидную волю, и своеобразную красоту Екатерины. Но, приглядевшись, я понял, что поспешил с обвинением. Екатери-

на с такой настойчивостью бралась за беды своих подопечных товаров, что у тех все, наконец, устраивалось, и они снова начинали жить полнокровно и потому, наверное, все реже вспоминали свою благодетельницу. Екатерина никогда не кляла упорхнувших из-под ее крыла подопечных, быстро находила новых «гадких утят» и хлопотала над ними, пока не выводила в «лебедихи».

Видимо, тут просыпалась в Екатерине мать. Это было трогательно. Но я не сразу решился спросить Юрия, «почему»... Почему, при такой тяге Екатерины к материнству, не подарит она самой себе сына или дочку, чтобы отдать им нерастратенное тепло?

Через несколько минут ванна водопадно зазвенела, заглушая смех Ирины. Кронов счастливо улыбнулся, словно поздравляя себя с правильно принятым решением, и озорно подмигнул мне.

Наконец Екатерина вернулась. Вытирая руки, насмешливо взглянула на Кронова. Меня она, казалось, не замечала.

— Чего стоишь? Садись-ка, дружок... — Екатерина достала новую сигарету.

Кронов протянул ей синий огонек зажигалки. Прикурив, Екатерина уселась напротив Кронова, сердитым рывком потянула полу халата, прикрывая белое, как эмаль, очень плавной линии колено. Потом глубоко затянулась и пристально-строго посмотрела сквозь выпущенный дым на Кронова.

— Так что, мой друг? Стареешь? На девочек потянуло?

— Катя! — Кронов вскочил.

— А-а... Значит, серьезно, — Екатерина частыми толчками затушила сигарету, поднялась и вдруг виновато улыбнулась. — Тогда прости, Николай! Тогда... поздравляю! — и поцеловала совсем растроганного Кронова.

Мне показалось, что глаза Екатерины повлажнели. Трогательно дрогнули отчего-то вдруг побледневшие губы. Но Екатерина резко отвернулась к зеркалу, поправляя ничуть не сбившуюся прическу, а когда снова посмотрела на нас, лицо ее было спокойным, сосредоточенным, упрямая складка заметно обозначилась над уголками чуть сдвинутых бровей.

«Ну и ну!» — чуть не вырвалось у меня.

Расставляя на столе посуду, Екатерина негромко, словно бы про себя сказала:

— Главное, что она у тебя не дура.

— Откуда ты знаешь? — рассмеялся Кронов. — Вы ведь минуты две вместе побыли!

Екатерина кивнула. Совершенно спокойно, даже с какой-то досадой пояснила:

— У меня на дур чутье!.. — И, посмотрев с прищуром куда-то вдаль, тихо добавила: — Ненавижу дур!..

И снова мне показалось, что губы Екатерины побледнели.

Вошла Ирина. И вместе с ней, только с противоположной стороны, из высоченного окна, за которым махала желтыми ветвями акация, в сумрачную до этого комнату вкатилось солнце, и все стало праздничным.

Кронов не мог отвести глаз от Ирины. Да и я... В броском кимоно, со своей милой раскосинкой в глазах, в чалме из полотенца, казалось, она пришла в эту заваленную рукописями комнату прямо из восточной сказки.

Я посмотрел на Екатерину. Она выглядела немножко растерянной. Впрочем, может быть, мне просто хотелось заметить ее растерянность.

За завтраком Екатерина деловито сообщила Кронову:

— Твой пароход пришел. Под дегазацию стал. Или как там у вас называется?

Кронов, с аппетитом проглатывая сочный кусок ветчины, кивнул:

— Дератизация... Отлично, раз пришел!

— Вы не думайте, Катя, — по-своему истолковав сообщение Екатерины, поспешила вмешаться Ирина. — Когда сказал, как только кончится эта... деригазация, мы на корабль к нему перейдем, мы вас не стесним...

Екатерина усмехнулась.

— А потом?

— Потом?.. — Ирина растерянno взглянула на Кронова.

— В декабре мне обещали комнату...

— Вот! — обрадованно подхватила Ирина.

— А до декабря? — продолжала приземлять Екатерина. И, не дождавшись ответа, категорически постановила: — Никуда ты не пойдешь. Слава богу, места хватит. А вообще-то на пароходе жить интересно! — неожиданно воскликнула Екатерина. — Какой-то там удивительно целесообразный ритм жизни... Люблю пожить в каюте, хотя мой благоверный и начинает нервничать, если я задерживаюсь на борту.

Кронов лукаво улыбнулся.

— Разрешите догадаться почему?

— Ну?

— При длительном пребывании вашего величества на борту «Безупречного» команда начинала путать, кто старпом. А теперь, надо полагать, предстоит путаница по вопросу: «Кто капитан?».

Екатерина слегка задумалась и, вдруг сокрушенно покачав головой, рассмеялась, шутливо толкнув Кронова ладошкой в лоб...

5. И вот я снова в доме Середы.

— Здравствуй. Проходи! — не то приглашает, не то приказывает Екатерина и идет в комнаты, ни разу не оглянувшись на меня. Кажется, она со мной с первого дня на «ты». Именно она со мной. Я же научился разговаривать с ней в безличной форме, когда не поймешь — «ты» она мне или все-таки «вы».

В столовой сидел не то Николай Николаевич, не то Алексей Николаевич, уже пожилой ученый, руководитель Екатериной диссертации. Один раз меня с ним познакомили на молодежном вечере. Но он забыл. Потому что, после короткого приказа Екатерины: «Знакомьтесь!», протянул мне стремительную руку, глядя куда-то за мое плечо. Он оказался Александром Алексеевичем. Мне немного стало обидно, что он не узнал меня. В тот вечер я был в ударе — молодежь встречала лирику тепло. Мог бы и запомнить, черт возьми! Я, однако, успокоился, подумав, что назовись хоть Юрием Михайловичем Лермонтовым, он все равно посмотрел бы сквозь меня.

Александр Алексеевич сразу стал прощаться. Нет, не потому, что я пришел. Судя по столу, заваленному испещренными листками, он и Екатерина много поработали. Александр Алексеевич раскрыл огромный потрепанный портфель и смахнул в него листки. Именно смахнул, как сор. Один листок он забыл.

Устало улыбаясь, потирая тонкими белыми пальцами виски, Екатерина взглядом подсказала ему это. Он кивнул, схватил забытый лист и, почти скомкав его, швырнул в черный портфельный зев.

Екатерина проводила Александра Алексеевича до дверей. Вернулась и с улыбкой прислушалась к быстро простучавшим по лестнице шагам. Рассмеялась.

— Побег, сердечный!.. Уверена — ни черта он не ляжет спать.

— Спать? — Я взглянул на часы.

— Мы с ним всю ночь работали.

— Ну и... успешно?

— Не-а! — Екатерина тряхнула головой, беззвучно рассмеялась. — Не туда нас понесло! Ошибка где-то в самом начале.

— Чего ж тут радостного?

Екатерина пожала плечами, взглянула на меня с короткой усмешкой. Потом достала из-за книги на полке две запаленные иссохшие сигареты.

— Последний энзе!

Я протянул ей свою пачку.

Закурив, с некоторым удовольствием отметил, что портрет Юрия красуется на прежнем месте. Почему-то я ждал и боялся, что разрыв начнется с этой, екатерининской стороны.

— А где Ирина?

— О! У нее сегодня ответственный день. Она на собеседовании у нашего проректора. Будет поступать! Пока, наверное, на вечерний.

— Вот как! В отряде физиков прибыло?

— Возможно, прибудет.

— Что ж... С таким неутомимым вербовщиком...

Екатерина махнула рукой: не то дым отогнала, не то мою реплику.

— Не я вербую! Жизнь сама.

— Но ведь Ирина была актрисой.

— Она слишком умна для этого.

Я вскипел:

— Что ж, одним дуракам в искусстве...

Екатерина так сморщилась, словно у нее потянули сразу три больных зуба, и я замолчал.

— Надеюсь, ты мне не станешь цитировать вирши насчет физиков, лириков?

— А что? Пожалуй, в данном случае — вполне уместно...

— А! Бред неудачников! — Екатерина снова махнула рукой.

— «Неудачников»! — Я откровенно злился и совсем по-мальчишески передразнил ее.

— Ладно, не придирайся... Устала я просто.

— Извини... Я сейчас уйду.

— Сиди! — Екатерина закусила губу, посмотрела за

окно. Акация давно облетела, подрагивала за окном черными корявыми ветвями.

— Не от работы я устала,— Екатерина вздохнула.— Смертельно устала... от демагогии.

— Чьей?

— Твоей, Юркиной...

— Юркиной?

— Да! И он туда же... Какая-то повальная демагогия! Надо работать, а все кинулись философствовать.

— Одно другому не помеха.

— Нет, помеха! — Екатерина сердито стукнула кулачком по столу, поднялась, быстро прошла в угол комнаты. Там она повернулась, прислонилась к полке книжного стеллажа и посмотрела на меня с неожиданной надеждой.

— Вот ты удивился, когда я радовалась сегодняшней неудаче с Александром Алексеевичем. А знаешь, чему я радовалась?.. Еще одна тропинка проверена. Одна из тысячи! Но мы уже по ней не пойдем. Люди уже по ней не пойдут. Потому что она — в никуда. Понимаешь? А сколько их, еще черных тропинок! Сколько надо людей для разведок? Умных, талантливых людей. А Юрий Михайлович Середа, у которого на втором курсе одни пятерки были, видите ли, в седьмой раз идет в Антарктику, став на тридцать втором году жизни аж капитаном китобойца!

— Это не так мало!

— Согласна! Но не для него. Слушай! Ведь ты обязан быть немного психологом. Ну какой из Юрия капитан? Вот Кронов — капитан.

— Почему люди должны довольствоваться только Кроновыми?..

— Потому что это сегодня роскошь — капитан-философ на китобойце.

— А завтра?

— И завтра роскошь! Философия на этой китобойке ни к чему. В трудную минуту она только мешает!

И тут вошла Ирина. За спором мы не услышали, как она открывала дверь, как шла коридором. Ирина остановилась у самого порога, смущенная и счастливая.

— Ну? — Екатерина повернулась к ней, раскрыла руки для объятий.

— Катя, не сердись только... — Ирина опустила глаза и выпалила: — Я пошла на пробу... В общем, меня, кажется, взяли в театр.

— В какой театр?

— Русский драматический.

Руки Екатерины упали.

— Ты сердишься?.. Почему?..

Я поспешил поздравить Ирину и довольно резво выскользнул из дома Середы. По-моему, я это сделал очень вовремя.

ГЛАВА III

1. «...Твоя Ирина — молодец! Просто удивительно, как она из такой маленькой, дурачки написанной роли сумела выжать человеческий образ! Я на глазах удивленных премьерш преподнес ей цветы — оранжерейные, других не было — у нас зима в этом году взаправдашняя. И проводил домой. По дороге мы с ней решали «сто тысяч почему». Только о самом главном я ее не спросил: почему она любит тебя, а не меня, к примеру... Ладно! Не кипятись. Ведь я же не спросил! И вовсе не потому, что вспомнил о твоих кулаках. Просто это одно из немногих «почему», на которое нет ответа.

А письмо твое — ничего. Спасибо. Пахнет от него человечинкой. Вот ты и об Ирине беспокоись, и о Юре. Это сдвиг. А правда ведь приятно побеспокоиться о другом? Продолжай так держать, Кронов. Ирине теперь дадут большую роль в новом спектакле «Сто четыре страницы про любовь». Насколько я понял — пьеса эта о мужском эгоизме. Учти!..

У Екатерины Великой был. Разговор пока не получился. А в общем-то Юрке, пожалуй, ничего не угрожает, кроме обязательного присутствия на банкете по случаю успешной защиты диссертации его мужественной супругой.

Привет!..»

(Из письма в Антарктику. К/с «Стремительный», капитану Кронову Н. Н. Послано с танкером «Херсон»).

«...Вот какой у меня к Вам, может быть, несколько странный вопрос, дорогой Иван Аверьянович. Но Вы уж, пожалуйста, от него не уклоняйтесь. Мне просто

необходимо знать Ваше мнение. Я тут поспорил с одним человеком о целесообразности Юрия на капитанском мостике китобойца. И уж очень мне хочется выиграть спор!..»

(Из письма в Антарктику. К/с «Безупречный», гарпунеру Потанину И. А. Послано с тем же танкером).

2. Аверьяныч, а точнее Иван Аверьянович Потанин, гарпунер «Безупречного», — личность на флотилии знаменитая. Можно даже сказать — легендарная.

Отвоевав все четыре года в морской пехоте, Аверьяныч прошелся, звеня орденами и медалями, по Красной площади на параде Победы и вернулся в родную Збурьевку. Здесь, над тихими водами Днепра, хорошо думалось и о пережитом, и о грядущем... Но немного рассветов встретил уже поседевший Аверьяныч над Днепром. Пришел в райком партии. Разговорился с секретарем.

— Ты что до войны-то делал?

— Рыбачил.

— Так... А на войне?

— Воевал.

— Кем?

— Командиром отделения, потом взводом командовал.

— Ну, а морская специальность у тебя есть?

— Пока не потопили эсминец, был комендором.

— О! — Секретарь даже привстал, но тут же потупился, посмотрел на Аверьяныча с какой-то стыдливой грустью.

— Ну, неволить тебя, конечно, не станем... Четыре года на войне, детишки растут и все такое... Вполне заслужил ты спокойную жизнь. Можем и у нас предложить работенку. Но тут вот какое дело: собираются наши идти бить китов.

— Китов? — теперь привстал Аверьяныч.

— Именно! Ты подумай. Заодно Англию посмотришь. Шекспир! Родина футбола и вообще...

— Ну да!.. Англии мне только и не хватало!

— Ну! — секретарь развел руками. — Решай сам!

Через неделю Аверьяныч, однако, выехал в Ленинград, а оттуда морем пошел с группой будущих китобоев в

английский порт Ливерпуль, где готовилась к первому походу в Антарктику наша китобойная флотилия.

3. «Мечи булатны остры у варягов!..» Они, вернее, их потомки — норвежские китобои — вышли тогда в первый рейс «Отваги» вместе с нашими моряками. Но странно многие из них вели себя. Таили учителя от жадных до дела учеников китобойную премудрость, а к пушке гарпунной и вовсе не подпускали. Видно, надеялись норвежцы затянуть обучение не на один год, благо платили, и щедро.

Но где она, та премудрость, чтобы вдруг не по плечу русскому человеку!

Уже во втором рейсе наши моряки взбунтовались: «Учить — так учите. А голову морочить нечего. Сами с усами. По «тиграм» и «пантерам» били неплохо, глядишь, и в кита не промахнемся!»

В третий антарктический рейс пошли уже без варягов.

Молодые и, может быть, поэтому отчаянные капитаны повели флотилию вокруг ледового континента, открывая новые, не тронутые еще районы плотных концентраций китов. В этих широтах почти не унимались штормы. Но и в семибалльный шторм не покидал марсовый матрос своей бочки, воспаленными от злого ветра глазами высматривая кита. И шел по его зову гарпунер на взлетающий к серому небу полубак, широко расставив ноги, прирастал к поводку пушки. И грохот шторма перекрывал резкий выстрел, и торжествующее «Есть!» празднично светилось в глазах всего экипажа.

После третьего рейса к боевым орденам гарпунера прибавилась высшая награда — орден Ленина. «За достигнутые успехи в деле развития советского китобойного промысла в Антарктике», — говорилось в Указе Президиума Верховного Совета.

Потом слава Аверьяныча пошла на убыль. Годы начали сказываться или: какая другая причина, а только в приказах и газетах имя его стало упоминаться реже. Может быть, причиной тому послужила одна черта Аверьяныча, сильно раздражавшая начальство. Привередлив был ветеран-гарпунер на охоте. Если ему не удавалось взять кита первым выстрелом, Аверьяныч просто терялся. После добойного выстрела он словно старел на полубаке: садился устало на палубный настил, шапкой утирал запотевшее лицо. И не дай бог подшу-

тить капитану! Аверьяныч играет крутыми желваками и уйдет в каюту. Да еще и на ключ запрется. И уж тут хоть какого кита найди — не подойдет гарпунер к пушке в этот день. Умоляй, грозись — ни слова не ответит. «Сердцем отходит!» — поясняет новичкам в таких случаях боцман Сидоров.

Серeda любил Аверьяныча. А в этом, первом капитанском рейсе просто льнул к нему, словно к отцу родному. Обычно с отходом Серeda обретал спокойствие. Объясняя свое состояние, Юрий повторял ненароком вычитанную поговорку английских марсофлотов: «Кливер поднят, за все уплачено!». Море, тревожная доля штурмана, а потом азарт большой охоты — все это надолго и надежно отодвигало суматоху земных будней, но не оставляло места для раздумий о неожиданно подкрavшейся сложности в отношениях с Катей.

4. С грустью и какой-то стыдливой жалостью к самому себе вспомнил Серeda последнее прощание с женой. Он невольно сравнивал с ним первую антарктическую разлуку... Тогда Катя заморозила весь экипаж. В тесной кормовой каюте второго помощника побывали все — от видавшего виды капитана до впервые, как и Серeda, идущего в рейс слегка напуганного судового повара, кондея Валерика. И каждый уносил от краткого общения с красивой и умной женщиной надежный талисман на удачу и счастье. Сколько теплоты и затаенной тревоги было тогда в ее обычно-то строгих серых глазах! Сколько деловой заботы в каждой милой и в то же время нужной мелочи, которые как-то сразу преобразили неуютную каюту. Потом, когда всех остающихся спроводили на причал и у трапа, поеживаясь на осеннем ветру, застыла стройная фигурка молодого пограничника, Катя вдруг заплакала. Она плакала, не замечая упавшего платка и разметавшихся волос, не вытирая слез, не слушая утешений других жен, которых еще полчаса назад успокаивала сама.

— Не надо, Катюша! Не надо, родная моя! — закричал с кормы Серeda и, потрясенный, забыл продублировать команду капитана...

В этот отход Катя была до обидного спокойной. «Ничего удивительного — привыкла! — сам себя утешал Серeda. — Всякий подвиг при повторении перестает быть подвигом... Да и то сказать — подвиг! Вон люди в

космос чуть не в обнимку летают!» Но все эти умозаключения удивительно легко рушились, едва он припоминал торопливый прощальный поцелуй, только ему заметную насмешливость во взгляде жены, если он вдруг, забывшись, начинал кому-нибудь рассказывать о беснующихся красках тропического заката, когда кажется, что небо поет...

5. Я узнал Екатерину Середу уже такой — снисходительно-насмешливой к моряцкой судьбе мужа. И это, наверное, предопределило мое отношение к ней.

Я не люблю надменных женщин. Их не хочется защищать — такими они кажутся сильными. Для них не хочется петь песен — такими они кажутся глухими. Их не хочется ласкать — такими они кажутся мраморными. Я не люблю надменных женщин — мне кажется, это они извели на земле рыцарство.

Первое время при встречах с Екатериной я просто терялся. Или молчал, или, наоборот, из кожи вон лез, только бы доказать ей свою значимость. А потом сгорал от стыда и долго на себя злился.

Да и сам Юрий даже на китобойце, когда в каюте жила последние сутки перед отходом жена, становился суетливым и вроде сутулился.

«Не любит она моего друга!» — вот что я сказал сперва самому себе.

— Не любит она Юрия, — повторил я спустя несколько месяцев вслух.

— Почему?! Почему вы так решили? — взволнованно изумилась Ирина Кронова. Я провожал ее из театра. Ирина остановилась. — Нет, вы не должны так говорить!

— Вероятно, не должен. Хотя это и правда.

— Нет! Это неправда! — Ирина сердито потрепала меня за рукав пальто. — Она его любит!

— Почему вы так уверены?

На это «почему» Ирина не нашла, что ответить. Но я почувствовал в ее словах убежденность и немного усомнился в правильности своей догадки.

«Что же тогда?..»

6. А все было и очень просто, и очень сложно. Так просто, что и рассказывать нечего. Так сложно, что и посоветовать не знаешь что.

После мореходки плавал Середа на буксире в порт-

флоте. То ли глуховатый замнач не простил ему шутовской песенки, то ли у начальства были более серьезные причины, но за Восфор, в дальнее плавание, Середу пустили не сразу. Тогда-то, чтобы заглушить вечернюю тоску, поступил он в политехнический, на вечернее отделение. Рьяно учился.

Его скоро заметили. И преподаватели, и красивая строгая студентка выпускного курса стационара Катя.

Она сразу в нем все разглядела. И «дар божий», и «добрую задумчивость во взгляде», и «лбище мыслителя». А разглядев, зачаровала Катя морячка-вечерника красотой своей и грандиозными планами работать вместе, «как Фредерик и Ирен Кюри».

Любой гениальной паре на первых порах приходится туго. Этот закон не обошел и молодую семью Середы.

Вскоре после небольшой свадебной пирушки, прихлопнувшей и Юркину зарплату и Катину стипендию, Середа впал неожиданно в состояние глубокой задумчивости. Но искал, однако, он вовсе не новый интеграл, как долгое время считала Екатерина, Юрий Середа мучительно отыскивал обычные житейские дороги, на которых можно было бы избежать встречи со старыми кредиторами и найти новых, чтобы одолжить хотя бы пятерку.

— Да! — вздохнув, согласилась Катя, поняв, наконец, какие научные проблемы гонят сон от лбища ее мыслителя, — неустроенный быт отвлекает от главного!..

Тогда-то и решено было, что «Фредерик» на год отходит «от большого и главного» и идет в китобойный рейс, чтобы подработать. Тем более что дорога дальних странствий для Середы наконец открылась. «На вечернем все равно не учеба, а баловство одно, — заявила Катя. — К твоему возвращению я кончу институт, а ты продолжишь учебу без халтуры, на дневном. Года за три ты меня догонишь. Вот тогда мы рванем!..»

Но «Фредерик» разрушил все ее планы. Он пошел во второй рейс, потом в третий, потом капитаном — в шестой. И ни в один из пяти межрейсовых отпусков не смог убедить свою «Ирен», что нашел себя именно там, на беспокойных дорогах океана. Все его исповеди Екатерина отнесла к «романтической блажи».

Шестой год шла эта невидимая миру война.

И все же — как ни белела Екатерина от злости, из года в год узнавая после встречи мужа, что он

собирается пойти и в очередной рейс, как ни натягивались, поскрипывая, отношения между супругами — перед самым отходом Екатерина сдавалась. Снова полыхала в ее сразу теплевших глазах извечная бабья тревога за судьбу уходящего в дальний путь мужа. Даже голос у нее становился тише, задушевнее. И Середа уходил умиротворенным. «Все, наверное, образуется!..»

Но ничего по возвращению не образовывалось. А в этот капитанский рейс Екатерина проводила его так сдержанно, с такой грустной усмешкой, что Середа мрачнел каждый раз при встрече с глазами жены на фото-портрете. Поэтому он и снял его с переборки капитанской каюты.

7. Может, невеселые раздумья о Кате и не пришли бы в самом начале промысла, не побеседуй Середа с молодым мотористом Тараненко.

— Ну, послал бог морячка! — укоризненно покачивая головой, пропел, поднимаясь на мостик, второй механик Катков, вроде бы обращаясь к боцману, но достаточно громко, чтобы услышали его и капитан, и Аверьяныч.

— А что случилось? — сразу насторожился Середа, припомнив одиноко стынувшую на корме фигуру.

— А-а! — Катков только махнул рукой и, согнувшись чуть не в дугу (был он удивительно тощ и высок), стал прикуривать папиросу, ломая в ожесточении спички.

— Страдатель! — с готовностью пояснил за механика оказавшийся тут же боцман Сидоров. — Еще губную помаду не соскреб с будки, а уже мечется из-за бабы... Одно слово — волосан!

В боцманском словаре слово «волосан» было достаточно емким. Сидоров с легким сердцем относил к «волосанству» и ошибки на швартовке, и увлечение электрика Серегина стихотворством.

— Если насчет баб у тебя слабина, — продолжал боцман, — не иди плавать, иди, к примеру, в бухгалтеры.

— При чем тут женщины? — придвинулся ближе Аверьяныч. Он не взглянул на боцмана, продолжая обшаривать биноклем свинцовую равнину, только задрал рывком меховое ухо шапки, чтобы лучше слышать.

Польщенный вниманием Аверьяныча, боцман продолжал развивать свою мысль.

— Бухгалтер ведь как живет себе, поживает? Глаза открыл, вольные процедуры и упражнения с водой про-

делал, глядь — а жена ему уже кофею тащит и ласково улыбается при этом. В полдевятого ушел, в шесть пришел. Опять же и среди дня ревизию учинить свободно может. Сказал, к примеру, начальству, что в госбанк надо, а сам — шасть домой: «Здравствуй, женушка! Не ждала? Вот и хорошо!..»

Катков захихикал.

Боцман прикурил у Каткова, плутовато ухмыльнулся и продолжал:

— Однако и у бухгалтеров промашки бывают... Помню, в пятьдесят первом... Приезжаю я в Севастополь. Движусь переменным ходом по Корабелке, а сам себе думаю: где бы до утра якорь бросить?

— Слышали уже об этом! — махнув рукой, перебил Сидорова Аверьяныч. — Я даже видел твою гейшу-казначейшу.

— Иди ты! Где? — радуясь неожиданному свидетелю, поспешил уточнить Сидоров.

— Да там же, на Корабельной, — охотно пояснил Аверьяныч и, не дрогнув даже уголками губ, спокойно добавил: — В собес зашел, а она пенсию себе выправляет. Что-то у нее с дореволюционным стажем нелады были...

Тоненько взвизгнул рулевой Кечайкин, до этого почтительно молчавший. Предательски загоготал Катков.

Сидоров несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, словно ему не хватало воздуха. Наконец грудь боцмана раздулась, он круто повернулся к Аверьянычу. Но гарпунер с прежней невозмутимостью сосредоточенно оглядывал горизонт.

— Ну кто так клетнует, кто? Недомерок ты кашалотовый! — неожиданно обрушился боцман на работавшего внизу матроса и, гремя тяжелыми башмаками, устремился вниз по трапу.

— Боцман! Прекратить мат! — с палубы долетел зычный голос старшего помощника Анатолия Корнеевича Шрамова.

Середа, привстав на цыпочки и перегнувшись с крыла мостика, посмотрел на палубу. Перед боцманом стоял старпом. Стоял так, как умеют стоять только кадровые военные, — ничего не ответишь такому, кроме краткого «есть»!

— Силен наш старпом! — сказал Середа и покосился на Аверьяныча. Но гарпунер, кажется, не расслышал

капитана. Может быть, и правда не расслышал — ухушанки Аверьяныча вновь было опущено. Только Середа давно приметил, что Аверьяныч к старпому относится как-то настороженно, что ли. Середу это раздражало. Тем более, что моряки сразу уловили отношение Аверьяныча к Шрамову и тоже особого уважения к старпому не высказывали.

— Ты чего дуешься на старпома? — уже громче спросил Аверьяныча Середа.

— Дуюсь? — Аверьяныч изо всех сил изображал крайнее недоумение. Но в глазах гарпунера прыгали чертики. Проказливые вертлявые чертики беспомощного во лжи человека. — Ничего я не дуюсь!.. — Гарпунер спрятал глаза за окулярами бинокля.

Середа посмотрел на палубу.

Старпом, еще раз окинув боцмана строгим взглядом, пошел на корму, а боцман, махнув рукой, скрылся в тамбуре крьюйт-камеры. «Ладно! Со старпомом еще не горит. А вот Тараненко!..»

8. На мостик поднялся третий помощник, и Середа пригласил механика Каткова к себе в каюту. Шел Катков впереди капитана, устало шаркая тяжелыми яловыми ботинками. Один расшнуровался, но механик не замечал, что тянет за собой сплюснутый серый червяк шнурка.

— Так чем вам не нравится поведение Тараненко? — не предлагая сесть, сразу спросил Середа. С первых дней рейса он ловил себя на том, что испытывает ко второму механику постоянную антипатию. Никаких объективных причин к этому не было. Катков не первый год на флотилии. «Дед» с «Быстрокрылого», на котором Катков до этого рейса плавал третьим, дал о своем выдвиженце самый блестящий отзыв. Да и сам Середа не мог не заметить, что второй механик работает не за страх, а за совесть. И все-таки неприязнь не проходила.

На этот раз Катков, видно, расслышал ее в капитанском вопросе. Плечи механика обиженно опустились, подались вперед острыми костистыми углами, в блеклых глазах затаилась обида. Он долго молчал.

— Я, кажется, задал вам вопрос, Захар Семенович? — Середа чувствовал, что раздражается, досадовал на себя, но тона сменить не смог.

— Нету у него никакого поведения, — не глядя на капитана, наконец ответил Катков.

— То есть, как это нет поведения? Чем же объяснить ваши охи-вздохи на мостике? Вы даже довольно грубо высмеяли подчиненного.

— Это боцман смеялся. Мне не до смеха... Боюсь я его! — неожиданно выпалил Катков.

— Бойтесь?

— А вы сами придите да поглядите! От таких типов чепе только и жди.

В полночь Середа опустился в машину. Из квадрата шахты сразу обдало запахом нагретого железа, оглушило звенящим металлом.

«Вот он, Тараненко!..» — Между грохочущими дизелями, вперив взгляд в одну точку, стоял широкоплечий, с тонким выразительным лицом юноша. Из-под берета выбились крутые кольца чуть потемневших от пота светло-русых волос. Руки были крепкими, с четко обозначенными мускулами, ровно покрытые загаром.

Середа почувствовал, что краснеет. «Позор! Третий месяц рейса, а так ни разу и не потолковал с парнем по душам. А ведь завел себе толстую тетрадь в дерматиновом переплете, вывел на первой странице: «Люди «Безупречного» и... запер ее в левом ящике письменного стола. Сколько там записей? Две? Нет, кажется, три. И все боцманские байки. Морской фольклор, черт бы его побрал!..»

Досада на самого себя крепла, потому что вспоминалось Середе, как не раз то на мостике, когда выходил Тараненко «подышать» да «пошукать фонтаны», то в тесной кают-компании среди воспаленных от жгучих ветров и все же в предвкушении кино веселых, а то и озорных глаз отмечал он задумчиво-печальный взгляд Тараненко. Уже не раз тревога за паренька вспыхивала и гасла за иными заботами.

Первым заметил капитана Катков. Механик возился с другим мотористом у остановленного двигателя. Ответив на кивок Середы, он снова склонился над вскрытым цилиндром дизеля, изредка бросая на Тараненко, как показалось Середе, насмешливые взгляды.

— Здравствуйте, Тараненко! — прокричал Середа, но все равно еле услышал себя за грохотом двигателей.

— Тараненко вздрогнул, поднял переполненные удивлением и грустью глаза. Увидев протянутую руку, моторист выдернул из кармана ветошь, поспешно протер ладони.

Середа понял всю несуразность затеи: «Под этот сатанинский грохот только и вести душеспасительные беседы! А ведь мог догадаться раньше!»

Отступать было поздно. Середа взглядом подозвал к себе Каткова.

— Мы с товарищем Тараненко выйдем перекурить! — снова, теперь уже в ухо механику, прокричал Середа. Катков понял, подтолкнул Тараненко, кивнул на трап...

Шли вдоль борта. Над китобойцем качались неяркие созвездия Антарктики. Почти в зените распластался Южный Крест. Он то и дело грел свои неровные крылья в коричневой вате дымчатых и стремительных облаков.

Волна вздыбилась над бортом, шипя, помахала белыми лапами из темноты и упала, обдав щеки моряков колючими булавками брызг.

Они шли быстро, скользя по мокрому лееру согнутыми ладонями, готовые, если что, намертво вцепиться в леера. Ночному океану, когда он не в духе, верить нельзя. Гудит, гудит чернота, только у самого борта чуть подсвеченная иллюминаторами, и неизвестно, опадет ли мохнатый тяжелый зверь-вал, не достигнув борта, или с ревом перевалит через леерные ограждения и рванет тебя за собой в гудящую темноту...

В каюте Тараненко по приглашению капитана молча и тяжело сел, теребя так и оставшуюся в руках ветошь.

— Закурим, товарищ Тараненко! — Середа протянул мотористу пачку «Беломора». — Вас Вадимом зовут?

— Вадимом... Спасибо, я не курю.

— А по батюшке?

— Петрович.

— Не курите, значит? Это хорошо.... А я вот все собираюсь, да откладываю. Сначала решил в Гибралтаре бросить... Потом на экватор перенес...— признался Середа и испуганно покосился на моториста, мысленно обругав себя: «Черт-те что получается. Воспитатель! Расписываюсь в собственном безволии».

Нет, Тараненко никак не реагировал на признание капитана. Он молчал, думая о чем-то своем, и, казалось, ни шутка, ни даже насмешка не выведут его из себя, не отвлекут от темных, как океанские глубины, мыслей. И Середе вдруг стало предельно ясно, что он не подготовлен к откровенному разговору с этим затосковавшим парнем, что вообще разговора не получится, потому что на языке,

как назло, вертятся фразы, которыми можно только все испортить.

— Разрешите мне со вторым танкером уйти! — неожиданно нарушил молчание Тараненко, дернулся крепкой шеей, отвернулся от капитанского взгляда, всматриваясь в иллюминатор, за которым ничего не было, кроме чернильной темноты.

Середа опешил:

— Зачем же вам уходить? Разве вы больны?

Тараненко кивнул.

— Больны любовью. Это не так страшно. Это даже...

Середа крутанулся на стуле, потянулся к пепельнице и вдруг впервые заметил, как ярко белеет пятно на переборке в том месте, где раньше висел Катин фотопортрет.

«А вдруг Тараненко когда-нибудь заходил в каюту и видел Катю?..»

— Ладно!..— Середа чиркнул спичкой, посмотрел на желтый язычок пламени, вздохом потушил его.— До прихода танкера еще далеко. Но мне бы хотелось вас понять. Вы что же... Не верите ей совсем?

Тараненко коротко усмехнулся:

— При чем здесь это!

— Тогда что же?

— Нельзя мне было уходить с вами, Юрий Михайлович. Просто нельзя!

— Но вы ведь и раньше плавали? Вы перешли из пароходства? Небось тоже не на неделю уходили?

— Раньше! — снова усмехнулся Тараненко.— Раньше у меня ничего не было.

— Как это — ничего?

— Ее не было! — с каким-то ужасом, что ли, негромко вырвалось у Тараненко.— Мне бы только взглянуть на нее, а потом! — Тараненко махнул рукой.

«А без мила — трын-трава!» — вспомнились почему-то Середе слова старой песни.— Вот и поспорь с песней!..»

— Если вернетесь танкером, Тараненко, вы ее наверняка потеряете! — убежденно произнес Середа и поднялся, вдавив папиросу в пепельницу.

— Не знаете вы ее, а говорите! — в голосе моториста звучала не обида, а скорее смешливое снисхождение к этому ничего не понимающему капитану.— Вы думаете, она меня за тряпки да за большие рубли любит? Нет, Юрий Михайлович, она не из таких!

Середе показалось, что моторист скользнул взглядом по светлому пятну на переборке.

— Наверное, не из таких,— спокойно согласился Середа и заметил, как благодарной радостью на секунду вспыхнули глаза Тараненко.— Но именно поэтому вы ее и потеряете.

— Почему? — голос моториста чуть не сорвался.

— Женщина, настоящая женщина, конечно... не может любить мужчину только за правильный нос да за кудри. Ей всегда радостно видеть в нем настоящего мужчину... Твердого, волевого, если хотите, немного героя... Обязательно героя! Теперь представляете, как вы будете выглядеть, если...

Негромко постучав, переступил порог Аверьяныч.

— Не помешаю?

— Нет, нет, Иван Аверьяныч! Вот... заканчиваем с товарищем Тараненко.

«Что заканчиваем?» — злился на себя Середа отчаянно и, чтобы скрыть это, вдруг заговорил совсем как с трибуны:

— Вот так-то, моряк! Не это в нашей жизни главное. Надо найти главное!..

«Что главное? Что я бормочу! — Середа замолчал и почти зло посмотрел на Аверьяныча.— Что ж ты молчишь, товарищ парторг? Давай объясняй, где главное. Раз уж зашел — тебе и карты в руки!»

Но Аверьяныч, сидя на диване, нежно поглаживал большую, вероятно, еще теплую головку потухшей трубки и тоже молчал.

Звонко и сердито ударила волна, потекла по иллюминаторам зелеными пузырьчатыми шторками. Скатила волна — и снова чернильная синева за стеклом.

— Иди спать, Вадим,— спокойно посоветовал мотористу Аверьяныч.— Утро вечера мудренее.

Когда Тараненко вышел, Аверьяныч повернулся к Середе:

— Попробуй, Михалыч, переведи-ка парня в рулевые.

— Зачем? И вместо кого? Что нам в кадрах скажут?

Аверьяныч согласно кивал на каждое возражение капитана, а потом сказал:

— Ругнут, конечно... Но нельзя его под Катковым оставлять. Дубоват для него второй мех. И потом не любит Вадим машину. А на руле стоит отменно!.. А Тю-

рина — он вообще-то моторист, места не было, когда уходили,— пошли к «деду».

— Надо подумать.

— Подумай.— Аверьяныч вытащил коробок спичек, повертел его и спрятал. Встал. Уже почти с порога показал трубкой на пятно на переборке.

— А супругу водрузи на место. Детство это — так решать. А для народа — беспокойство.— Сказал и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Середа еще долго сидел на шпокающем пружинами при каждом крене диване, не сводя глаз с посветлевшего на переборке пятна, на которое надо будет возвратить Катин портрет.

«Нет, конечно, она во многом не права. Но разве я сумел доказать ей это?..» С последними милями рейса накатывалась такая жажда встречи с домом, с землей родной, что высыхали все обиды. Потом встреча. Для серьезных объяснений не было ни времени, ни сил... А там суматоха межрейсового ремонта. А перед отходом и совсем грех спорить. Перед отходом ходишь тихим-тихим. Смотришь и впитываешь в себя и цвет неба, и говор улицы, и запахи... Раньше в каюте долго держался Катин запах. Нет, не только духов. Тонкий и тревожный, он приводил ее в сны до самых тропиков, заставлял улыбаться во сне, говорить несвязные слова и мучиться...

«Интересно, мучится Катя во сне, когда нет меня? Во сне, когда забывает о диссертации? Или, может быть, она и во сне не забывает?.. А может... я просто дурак? Может быть, она уже давно не мучается?..»

9. Написал я в первом рейсе стихи, посвященные трудной судьбе остающихся на берегу жен. Написал да и, сам себе редактор, тиснул их в литстраничке «Советского китобоя».

...И, оглушенные норд-остами,
Мы слышим стоны по ночам
И понимаем, как непросто вам,
А может быть, трудней, чем нам.
Все ждать и ждать и все тревожиться,
А в жилах — кровь, а не вода.
Разлуки множатся и множатся,
Потом слагаются в года.
А годы никого не красили,

У них в сообщниках — инфаркт.
И те, что многих одурачили,
Предельно жмут на этот факт
И отнимают у испуганных
У Пенелоп, что послабей,
И честь,
И счастье быть супругами
Почти божественных мужей.

Вышла газета. А мне очень интересно, что китобои скажут о моей лирике. Причем жду я, конечно, похвал... И тут вызывает замполит. Вхожу к нему в каюту. Сидят рядом на диванчике три богатыря, три матроса-раздельщика, сидят в забрызганных китовой кровью комбинезонах и смотрят на меня без особой приветливости. Прямо скажу, недобро смотрят. У замполита на столе газета. Вижу, кем-то подчеркнута в стихотворении строка: «У Пенелоп, что послабей...»

«Ясно,— думаю,— надо было сделать сноску насчет Пенелопы. С Гомером, наверное, и замполит не на короткой ноге».

— Вот тут неясность с вашими стихами,— говорит замполит.

Я сразу киваю и открываю рот, чтобы популярно выпалить историю семейных отношений Одиссея. И вдруг...

— Обидели вы жен моряков,— заключает замполит.

— Но позвольте...

— Не позволим! — рявкнул один из раздельщиков.— Ты к нам пришел и небось кончится рейс — опять на бережок. А нам каждый год уходить. А им, женам, каждый год оставаться. Ты матросу душу не бреди. Понял?

Тогда я ничего не понял. Моряки вышли из каюты, и я взмолился:

— Ну вы-то, Иван Павлович, вы-то, надеюсь, видите, что ничего обидного для женщины, верной жены, в стихах нет?

Замполит кивнул.

— Очень это сложно все! К исходу рейса вы сами поймете, как сложно. Семь с лишним месяцев... Из года в год. Тут даже неточность может обидеть. Вы знаете, за что мы списали Реутова?

Я покачал головой. Мне и не хотелось знать никакого Реутова. И начала истории я почти не слушал, так оглу-

шен был обидой. Но вдруг замполит произнес: «... и тогда он начинал ее бить».

— Бить? Как?

Иван Павлович вздохнул. Помолчал, словно преодолевая боль.

— Страшно!.. Смертным боем, что называется.

— За что?

— Если б он знал, за что!.. Бил, пока она сама себя не оговаривала, не придумывала какую-нибудь бульварную историйку и не признавалась в измене, которой не было.

«Хорошо тебе было с ним?» — строго спрашивал Реутов.

«Ой, плохо, Ванечка! С тобой — ни в какое сравнение!» — заученно отвечала она.

«То-то!» — удовлетворенно вздыхал Реутов, отвечивал уже не так свирепо пару оплеух, выпивал последний стакан водки да и прощал жену великодушно.

— Какая дикость! — Я и не заметил, как скомкал газету в руках.

— Да... И после каждого рейса. Она никому не жаловалась никогда. Дознались случайно. Новые соседи пришли, рассказали. Иван сознался. Объяснить ничего не мог. Оставили его на берегу. Сначала в годовом резерве. Вернулись — в ноги упал: «Все осознал, убедился. Был дураком. Простите!» И она, святая дура, за него просит... Простили. Взяли в прошлый рейс. Вернулись — все повторилось, как по нотам. Плакал у меня в кабинете. «Ничего, — говорит, — не могу поделаться с собой. Больно сильно люблю!» Идиот! — Иван Павлович тяжело поднялся, подошел к иллюминатору, несколько раз жадно вдохнул воздух. — Пришлось списать окончательно. А хороший был китобой!.. Сложно все это!

Да, сложно. Я это понял в последнем рейсе. Юрий Середа понимал давно. И у нас родилось с ним еще одно «почему», над которым вдоволь посмеялся Кронов. Впрочем, тогда он был холостяком...

ГЛАВА IV

1. Вода... Вода... Вода... Никогда до антарктического рейса не мог я подумать, как она может стать ненавистна! Всегда, почти всегда одинаковая, серая, чуть

дымящаяся под низкими, тяжелыми и тоже серыми облаками. Редкие айсберги своей одинаковой белизной не оживляют пейзажа, а только подчеркивают его монотонную посылость.

Воды так много и так бездонны ее пространства, что с трудом верится в земную неколебимую твердь. Кажется: вся планета — не земной, а водяной шар, колышущийся, зыбучий. А берег с застывшими в безветрии деревьями, с золотыми коврами степей — все это просто сказка, рассказанная давным-давно.

Даже шторм не очень-то меняет антарктического однообразия. Просто серость океана поднимается, тянется к серости неба — вырастают и катятся под облаками серые студенистые горы. И начинает тебя швырять. Делает из тебя шторм Ваньку-встаньку и совсем разуверяет в существовании даже относительного покоя.

Первый раз можно, конечно, залюбоваться штормом. Китобоец косо взлетает на серо-зеленую волну и режет верхушкой мачты дымчатое облако. Поют под ветром, вибрируя, как струны, тугие ванты. Но вот, перевалив через гребень, устремляется китобоец вниз, в пропасть между двумя волновыми хребтами. И сразу темнеет небо. Охает судно, вздрагивает всем корпусом, ударившись о новую гору, и встает выше бака белый взрыв пены и не оседает, а летит в лицо тебе плотным ураганом соленых иголок... Это впечатляет... Но потом все повторяется бесконечное число раз и уже ничего не добавляет душе, кроме угрюмости и злости.

Хуже всего, когда наступает вечер. На китобазе куда ни шло. И бросает ее полегче — махина в тридцать тысяч тонн водоизмещением, и с тобой все-таки четыреста хлопцев. Даже тридцать женщин есть. Не до романов, но все-таки!.. Все-таки бриться ты будешь каждый день и мыться чаще будешь. И рубашку они тебе выстирают.

А вот на китобойце... Кладет его в хороший шторм градусов на пятьдесят — то левым бортом, то правым. Да и при килевой качке не лучше. Электрик Серегин как-то написал своим друзьям на китобазу длинное и складное послание. И относительно шторма так высказался:

Хорошо у вас на базе —

Тишина и благодать.

А у нас ни в коем разе

Не поспать и не пожрать!

И правда. Пообедать, не опрокинув на себя борщ, трудно. А для спанья по бортам койки закладываются специальные доски. Вот в этом «ящике» и перекачываешься. А бывает и вытряхнет, и загремишь всеми костями, и произнесешь нечто «лирическое» из боцманского словаря. Но главное не в этом...

Пятьдесят метров от роульса на носу до флагштока на корме. Пять метров в ширину. Вот и все «жизненное пространство». И на нем семь с половиной месяцев поселены тридцать два человека. К исходу второго промышленного месяца каждый друг друга, как рентгеном, просветил. Хорошо, если в человеке чудо-характер обнаружится, а как нет чуда? Деться друг от друга некуда. Когда охота — еще куда ни шло! Азарт, как вино, — и черта с ангелом побратает. А вот затянется штормовое безделье — начинается испытание на уживчивость. И не все его проходят. Провалившихся в очередной рейс не берут, хоть слезами изойди! А «черных» пятниц больше, чем «светлых воскресений», и на берегу. Чего уж говорить о промысле...

Весь день на «Безупречном» не видели ни одного фонтана. Пока пришли в район, в котором, судя по радиоданным других китобойцев, «была рыбешка», ударил шторм. У кондея Марины (так окрестили за ярую приверженность к польской песенке повара Тимчука) швырнуло на палубу кастрюлю с компотом и ошпарило парню ногу — даже отругать дурака нельзя! И вечером — только собрались, чтобы покрутить фильм, — перегорела в аппарате лампа, последняя, конечно.

— Э-э! — почти обрадованно возопил второй механик Катков. — У нас все не как у людей! Одно слово — «Безупречный»! — сказал и посмотрел в сторону, в надраенную волной синь иллюминатора. Зато все остальные уставились на капитана.

Середа чувствовал взгляды затылком, потому что сидел в первом ряду, вцепившись в обитые жестью края банки, и мог видеть только Анатолия Корнеевича. В серых глазах старпома поблескивало холодное любопытство: оборвет капитан второго механика или не оборвет?

Обрывать не хотелось. Ничего не хотелось. Вдруг накатилось недоброе равнодушие: «А ну вас всех! С вашими компотами, ожогами и перегоревшими лампочками!..»

И загустела злорадная тишина. Ничего, конечно, не произойдет, что сейчас ни скажи. «От сна еще никто не

умирал!» — неплохо придумано каким-то морским остро-словом. Да сколько раз повторено! Вот такими же штормовыми неудачливыми вечерами.

«От сна еще никто не умирал!» А Катков обязательно ответит: «В такую штормягу ни в одном ящике не улежишь. Разве что крышку сверху приколотят!»

И люди разойдутся по каютам угрюмыми, не верящими в завтрашнюю удачу.

«Может быть, рассказать морякам, как сто сорок лет назад шли этим путем Лазарев и Беллинсгаузен, и не было на их шлюпах за два года ни одного киносеанса. И компота у них, наверное, не было».

«Зато по чарке перед обедом каждый день давали!» — это наверняка ввернет рулевой Кечайкин. Скажет, а все засмеются. Почему-то любит Кечайкин строить из себя забулдыгу. Все его воспоминания о береге начинаются приблизительно так: «Сидим мы, значит, в «Аркадии»... Менялись в этих рассказах только названия ресторанов. Привирает, наверное. Потому что, рассказывая, хорошо смеется. А алкоголики народ мрачный».

Нет, не расскажет Середа о шлюпах первооткрывателей. Не из-за Кечайкина вовсе. Просто это не его уже будет слово. Недавно об этом все прочли в многотиражке флотилии.

«Что же сказать?..» — Середа медленно оборачивается и неожиданно встречается с теплым участливым взглядом Вадима Тараненко.

«Оттаивает парень!» — подумал и сразу стало как-то легче.

2. «Оттаивал» Вадим Тараненко медленно. В первую «верхнюю» вахту на руле стоял молча. И взгляд... Середа несколько раз не без тревоги смотрел за корму: пенный след оставался ровным — значит, рулевой на курсе не рыскал. Это было просто удивительно, потому что глаза Вадима, казалось, ничего не видели перед собой. Но на репитере гирокомпаса четко стыла картушка на заданном курсе. «Талант, черт возьми!..»

Чуть оживлялся Тараненко, когда на мостик выходил электрик Серегин. Это уж совсем странно! Серегин — острослов! В экипаже побаивались попасть электрику на язычок. А отрешенное лицо Тараненко так и просилось на каламбур. Но... Разглядел в нем Серегин уважительную тайну и обходил в своих не всегда безобидных шут-

ках нового рулевого. И тот платил ему молчаливым признанием.

Однажды в промозглый день, когда и марсовый-то покинул свою бочку, а на мостике остались только вахтенный помощник да рулевой Тараненко, Середа поднялся наверх.

Володя Курган, второй помощник, молча развел руками. Неожиданно Тараненко просительно посмотрел на капитана.

— Разрешите взять влево девяносто?

— Зачем? — Середа и помощник спросили одновременно.

Тараненко пожал плечами, сразу насупленно уставился на лимб гирокомпаса.

— Лево девяносто! — скомандовал Середа и поднял ладонь, предупреждая вопрос помощника.

Теперь пожал плечами Володя Курган. Пожал и флегматично отвернулся от рулевого.

Минуты две шли новым курсом. И вдруг прямо перед носом плеснулась, отфыркиваясь, тяжелая, темнеющая черным овалом туша.

— Сейва-а-ал! — почти испуганно прошептал Володя Курган.

Загремел сигнал охоты.

Когда через полчаса ошвартовали сраженную выстрелом Аверьяныча неожиданную находку, вахта Тараненко закончилась.

Середа спустился вниз вслед за рулевым, нагнал его в коридоре.

— Здорово это у вас получилось!... Знаете что, Вадим? Посвятите ей этого великана, а?

— Как?

— Очень просто. Напишите ей об этом.

Середа прошел к трапу и, уже взявшись за поручни, оглянулся.

Вадим Тараненко все еще стоял у дверей каюты, смотрел капитану вслед. На его лице теплилась смущенная улыбка.

А через несколько дней Аверьяныч увел Тараненко на полубак. Разобрали пушку, смазали. Уже накатились серые антарктические сумерки, блекло засветились звезды Южного Креста, а Вадим один крутился с тряпкой у пушки, а потом долго и тщательно убирал гарпунерское хозяйство в подшкиперской.

В этот запоздавший ужин кондей Марина вывалил в тарелку рулевого, наверное, килограмма два макарон по-флотски. Вадим съел все. В глазах у него в тот вечер плавали огоньки. То ли захмелел рулевой от обильной еды, то ли наглотался на полубаке встречного ветра...

3. «Что же все-таки сказать людям?»

— Ну что же, товарищи!..— Середа развел руками.

— Может, споем? — неожиданно предложил Аверьяныч.

Моряки засмеялись. Но, несмотря на полный отчаяния взмах руки Каткова, Середа почувствовал, что смеются они вовсе не над нелепостью предложения. Скорее это был смех, за которым пряталось одобрение. «А что? Почему бы и не спеть?» — вот что, наверное, обозначал смех.

И Середа спросил:

— А что?

Кечайкин сразу сорвался с места, перегнувшись для равновесия всем корпусом вправо, побежал по накренившейся палубе коридора, а вслед ему прокричал электрик Серегин:

— В «дедовской» каюте посмотри!

«За гитарой», — понял Середа.

...Это была новая песня о Волге.

И Середа радостно удивился этому. Так ему вдруг захотелось именно «Волгу», но он промолчал. А Серегин цепко перехватил протянутую ему гитару, раза два попробовал сразу по всем струнам настрой, взял аккорд, да и повел:

Издалека-а

Долго

Течет река

Волга...

Первым вступил негромким баритоном Аверьяныч. Его поддержал Серегин. Да как поддержал! Как-то очень смело, самозабвенно. «Побледнел даже!» — заметил Середа. И песня окрепла, набрала силу душевную. И Середа, уже не стесняясь никого, тоже подхватил:

Среди хлебов спелых,

Среди снегов белых

Течет моя Волга,

А мне семнадцать лет...

А Катков, этот чертов сухарь Катков, направился было к двери, но у самого комингса вдруг остановился и вплел в песню свой высокий, чуть надтреснутый голосок. Спел строку и смолк, испуганно покосился — не подсмеивается ли кто? Каткова потянул за рукав электро-механик Самсоныч: усадил рядом с собой и сам густо забасил в мохнатые, подпаленные куревом усы.

И слетала с людей недавняя нахохленность. Казалось, песня перечеркнула все неурядицы минувшего дня и сказала морякам: «Плюньте! Подумаешь — неудачный день! Подумаешь — лампочка!..»

И очень вдруг захотелось Середе, чтоб вот сейчас увидела все это Катя. Ну вот, изобрели бы там, в ее таинственной лаборатории, такой телевизор, который может выхватить из Антарктики кают-компанию сейчас! Пусть Катя увидит и его, и ребят.

«Видишь? Видишь, как это здорово? Шторм, слышишь, грохочет? А люди остаются людьми. Тьфу, черт! Не то! Извини, Катя... Ты просто смотри, тогда ты поймешь все сама. Дело не в шторме, дело не в песне!.. Вон и Катков поет, так что? А у меня влажнеют глаза. Ты скажешь — это сентиментальность. Не думаю. Просто я присутствую при какой-то удивительной очевидности человеческого величия. Конечно, согласен с тобой: величие человеческое легко разглядеть и у атомного реактора, и в твоей лаборатории. Но мне хорошо рядом с таким величием. Простым и необыкновенным. Конечно, необыкновенным! Семь тысяч метров под нами океанской глубины. Черная ревущая неизвестность на тысячи миль вокруг. И все-таки ласковая песня о Волге, о тихом плесе и босом мальчишке над ним... Тут что-то есть! Не пожимай плечами. Ты не можешь этого не чувствовать! Или придуманные боги за веселой трапезой на Олимпе — это прекрасно, а непридуманные люди на самой макушке земного шара, на гребне шторма смеющиеся над стихией, — это уже не боги?»

Середа знал, что помочь ему может только сказочный телевизор. Никакой самый подробный пересказ там, на берегу, не передаст и доли того, что он, что все они сейчас чувствуют.

«Вот если бы Катя могла вдруг увидеть!..»

4. — Что ты носишься со своим Аверьянычем? — перебила как-то она восторженную повесть о гарпунере.

— Ну как же ты не поняла!..

— Все я поняла: симпатичный начитанный старикан. Не дурак выпить, но всегда в меру. Курит только трубку. Говорит коряво, но для его интеллекта мудро. Эка невидаль!.. Ради такой диковины тебя снова несет в Антарктику?.. Наш сторож где-то откопал Фрейда. Прочел и целый час морочил голову профессору Хованскому. Ей-богу, никого это не умиляло. Дичаешь ты там, дорогой, вот что!

5. «Нет, не буду рассказывать Кате о нашей песне».

Спели еще что-то, а потом Серегин по требованию моряков удивил Середу своей «Лирической антарктической». «А ведь неплохая песня! Вот тебе и Серегин!.. Мотив, правда, стянул у Вертинского, но слова...»

— Серегин! Почитайте свои стихи!

Электрик недоверчиво покосился на капитана. Середа кивнул ему без улыбки, уверенно. Словно скомандовал: «Пора!»

Серегин ничуть не подвывал, читая стихи. Наоборот — ударял по тем словам и строкам, которые считал главными.

Люди слушали внимательно, с изумлением вглядываясь в знакомое лицо товарища, над которым еще вчера посмеивались, когда он, включив маленький светильник, забившись в угоя каюты, что-то царапал в толстой тетради. На глазах моряков совершалось чудо. Ничем не приметный человек, разве что нос у него уж больно лихо вздернут да вихор на затылке торчит, словно ус антенны, угадал вдруг их мысли! Угадал, да так точно и складно, что сам-то лучше и не скажешь.

С лица Каткова слетела обычная кисловатая ухмылка. Катков стал задумчиво-грустным и от этого покрасивел.

Рулевой Кечайкин нагнулся к Вадиму Тараненко и выдохнул в ухо:

— Вот дает!..

Расходились уже после двадцати трех, когда в каюткомпанию, балансируя с кружкой чая, вошел третий помощник Степанов. В ноль часов ему надо было заступать на вахту. Со сна Степанов просто опешил. На пороге он остановился, долго шурился от яркого света, улыбаясь, толком еще не понимая что к чему. Разгля-

дев, наконец, сборище, Степанов удивленно присвистнул и торопливо глотнул чая...

— Кончай травить! — зычно скомандовал Аверьяныч. — Чтобы завтра каждому отыскать по фонтану!

— Товарищи! Юрий Михайлович! — поднялся вдруг Кечайкин. — Давайте вот так каждую среду, а? Даже когда лампу достанем! Законно получилось, хоть и без стопаря!..

Серeda возвращался в каюту в радостном возбуждении. «И на гребне взбесившегося вала я ближе к звездам чувствую себя!» Ай да Серегин! Проходя мимо старпомовской каюты, Серeda качнулся от резкого крена и остановился.

«Странно. Почему-то не запомнилось, как пел старпом. Интересно, понравилось ли все это Шрамову?» — Серeda ногтем постучал по старпомовской двери, тихо приоткрыл ее.

Анатолий Корнеевич спал. В койке-«ящике» с мертвенно-деревянной размеренностью колыхалось тело. Судя по ровному глубокому дыханию, спал старпом давно и крепко...

6. Со вторым танкером Юрий мне ничего не прислал. Принесли короткое письмо от Аверьяныча. И читать его надо было между строк.

«...Идем в середине, хотя ребята и стараются. Может, к апрелю и потесним кого-то, поближе будем к «Стремительному». А вопрос Вы мне задали непонятный. Что значит «роскошь капитан Серeda для Антарктики или помеха?» Пора бы Вам снова с нами пойти. Ишь, что выдумали: капитан — роскошь! Капитан не может быть роскошным. Ясное дело — времена-то меняются, а старики, вроде меня, остаются. И не всем понятно, что матом сейчас человека не вырастишь. Я так думаю, что Юрия Михайловича еще поймут».

Вот ты, старик, и проговорился! «Еще поймут!» А сейчас он белая ворона, выходит?

Вместо ответа на мой вопрос Аверьяныч, фактически, сам задавал его мне. «...Провели мы тут несколько литературных вечеров, что ли. Почитали хорошие стихи. Ребята теплеют. Вы-то понимаете, как это важно».

Я-то понимаю... Как ни крути, а в китобойном промысле много жестокости и крови. Изо дня в день искать

и убивать мирных и величественных животных, жизнь которых еще полна тайны.

Сегодня, когда казалось, что дельфины вот-вот чуть ли не заговорят с человеком, кто знает, какая тайна живет в китовом только гарпунами и тронутым царстве?.. И тайна эта может остаться нераскрытой, исчезнуть вместе с китами навсегда. Искать и убивать... Не день, не два... По полгода, для многих — из года в год. И трудно беречь здесь душу человеческую, чтобы все равно тянулась она к цветам, радовалась смеху ребенка и не разучилась бояться. Бояться причинить боль другому...

7. ... Это было давно. В те годы, когда еще, правда, всего три промысловых дня разрешалась охота на горбачей. И они перед нами всплыли. Тихоходная, жироносная и потому за много десятилетий изрядно повибитая порода. Их далеких предков нагоняли на вельботах, спущенных с китобойных парусников. В их лоснящиеся спины с характерным жировым бугром позади головы (отсюда и название) вонзались пики-гарпуны, пущенные сильными руками норвежцев и соотечественников Германа Мелвилла.

Я знал, что тяжело бултыхающаяся в тихой волне пара горбачей обречена. Знал и не мог подавить в себе скверного ощущения соучастия... И уйти с мостика я не мог. Не потому что боялся прослыть слюнтяем. Нет, можно было бы придумать вполне убедительную причину спуститься вниз. Я не хотел уйти, вот что странно. Я хотел видеть все... Что-то еще сидит, наверное, в нас от давних предков. Впрочем, лучше не углубляться в эти психологические дебри. Темно там и сумрачно, наверное, не только для меня...

А киты мирно пофыркивали. Они, по-моему, даже не уходили от нас. Они играли: поднырнут под волну и опять обдают друг друга сильными пушистыми фонтанчиками. Глубоко шлепают по воде мясистыми крыльями хвостов...

— Самка справа... — негромко, словно боясь, что киты его услышат, сказал в бочке марсовый.

И гарпунер в ответ молча кивнул.

— А зачем... — обратился я к Кронову с вопросом — зачем, мол, надо определить самку, но тот приложил

палец к губам, словно и он опасался, что их разговор подслушают киты.

Грянул выстрел.

И как умудрился гарпунер, стреляя с каких-нибудь двадцати пяти метров, только прошить гарпуном шкуру китихи? Но оказалось, так все и задумывалось.

Раненая горбачиха начала метаться. Натягивая линь, рвалась она то в одну, то в другую сторону.

Но вот удивительно — второй кит, самец, на секунду застыл оглушенный, а может быть, и изумленный выстрелом, но не бросился наутек, а медленно подплыл к истекающей кровью горбачихе.

Горбачиху все ближе и ближе подтаскивали лебедкой к полубаку, а рыцарь-самец, трубно всхлипывая, ходил вокруг нее неширокими кругами, захлебываясь ее кровью, подныривал под нее, подставлял под бок подруги широкий ласт... Он и не думал уходить без нее.

А тем временем перезарядили пушку. Наповал сразили горбача. Потом почти в упор добились самку...

Оказывается, так всегда. Если охота на горбачей — гарпунер стреляет сначала в самку, причем старается не убить, а только загарпунить ее. И самец никуда не уйдет от подруги. Но не дай бог гарпунеру сгоряча послать первый гарпун в самца! Рванет от него самка да с такой скоростью, что, пока швартуют сраженного горбача, растают ее фонтаны на горизонте и ищи-свищи горбачиху!..

— Учитываем женскую психологию! — сострил тогда Кронов.

Но никто не улыбнулся...

Да, живет удивительная тайна в китовом царстве.

8. Письма из Антарктиды идут долго. Как свет звезды еще вовсе не означает ее существования, так и письмо, доставленное танкером через сто параллелей, расскажет тебе только о делах месячной давности. А мне так нестерпимо захотелось услышать голос Юрия, ответить с ним на какое-нибудь «почему»! Не поделится ли Екатерина новостями?

Я застал Екатерину за машинкой. Может быть, чтобы подчеркнуть неуместность моего визита, она очень лаконично ответила на мои расспросы.

— Плавает потихоньку...

— Пишет, что здоров...

— Храбрится, как всегда.— И тут, недобро усмехнувшись, Екатерина резко выдернула ящик письменного стола, вытащила оттуда сложенную вчетверо газетную страничку, рывком протянула ее мне: «На! Почитай!..» — и снова склонилась над машинкой, отчаянно морща лоб и прячась от меня в сизую дымзавесу сигареты.

Едва развернув китобойную многотиражку, я сразу понял, что именно предложила Екатерина прочесть. На второй полосе, под рубрикой «День флотилии», помещалась небольшая корреспонденция с необычным для промысла заголовком «Литературные среды». Автор И. Кечайкин, рулевой «Безупречного», сообщал, что каждую среду после «напряженного трудового дня» в кают-компании китобойца проводятся читательские конференции. «А иногда мы обсуждаем наших судовых поэтов. Капитан товарищ Середа рассказал морякам о творчестве замечательных поэтов Кедрина и Шубина, почитал их стихи. Жаль, что библиотека китобазы не откликнулась на наш культурный запрос и не передала нам книги этих авторов».

Информация как информация. Но ниже я прочел набранное жирным петитом послесловие. «Нельзя не приветствовать,— писалось «От редакции»,— организацию культурного досуга моряков на «Безупречном». Поэзия — дело хорошее. Но капитану Ю. М. Середе не мешало бы повести с экипажем большой разговор не только на литературные темы. Как успешней вести китобойный промысел? Как выйти в число передовиков социалистического соревнования? — вот о чем в первую очередь надо задуматься китобоям «Безупречного». Что касается сборников поэтов Кедрина и Шубина, то, как показала проверка, этих книг нет в библиотеке китобазы».

Я усмехнулся, хотел уже отложить газету, как вдруг заметил под одной из статей подпись «Н. Кронов, капитан к/с «Стремительный».

Все было правильно в его корреспонденции «Вымпел не отдадим». Была она, наверное, и полезной, потому что Кронов охотно рассказывал, как организован поиск фонтанов, как сокращают время швартовки добытого кита. Но начиналась она словами: «Нам не до стихов...»

— И ты, Крон! — воскликнул я с горькой усмешкой. Екатерина кивнула. Не переставая печатать, бросила:

— Представляешь, как его там мордовали?

Теперь кивнул я. Потому что и я, правда, представил тебе сумеречный час диспетчерской переклички и в переполненной радиорубке «Безупречного» усиленный динамиком усталый голос Волгина, капитан-директора флотилии: «А вы бы, Юрий Михайлович, вместо того чтобы стихи читать, разобрались вечерком с экипажем — почему у вас швартуют кита по полчаса, в то время как на «Стремительном» швартовка никогда не превышает пятнадцати минут. Почему Иван Аверьянович стал часто мазать? Может быть, стихи пишет по ночам? Не отдыхает как следует?» Я даже услышал чуть глуховатый и потому особенно жестокий в минуты разносов голос Волгина. Я увидел кривую усмешку Шрамова и сокрушенное покачивание головы Каткова. И еще я увидел, как пополз откуда-то из-под воротника альпаговки пунцовый жар по лицу Юрия Середы и как чуть не до крови закусил капитан «Безупречного» губу...

И тут вбежала Ирина.

— Здравствуйте!..

Хорошо мне стало от ее взгляда. Кажется, и она рада, что я пришел. Но вот Ирина заметила у меня в руках газету и сразу обиженно покосилась на Екатерину.

— Зачем ты показала?

Екатерина хмыкнула, пожала плечами:

— Подумаешь — секрет! Ему бы в управлении дали газету...

Ирина мгновенно сникла, глядя в сторону, стала снимать пальто.

Я вскочил, хотел ей помочь. Но Ирина не заметила моей предупредительности, вышла в коридор.

— Все казнится за своего Николеньку, — громко пояснила мне Екатерина.

— Не переживай! — Теперь она уже крикнула, чтобы Ирина услышала в коридоре. — Николай прав! Им не до стихов. Просто мой донкихот мечется... — Екатерина говорила, не переставая печатать. — Мечется, но не хочет сам себе признаться, что не там, — она отчаянно ударила по клавише, — не там его место!..

Ничего не ответила Ирина, когда вошла в комнату. Она все еще выглядела обиженной.

Мне было жаль ее. Но я не знал, что сказать. Реплика Кронова «нам не до стихов» просто бесила меня. И еще меня сдерживало от успокоений тайное злорадство: «Ага, Ирина Прекрасная!.. Вот он каков, твой избранник!..»

Вот мы и молчали — все трое. Только стучала Катина машинка, отчаянно как-то стучала, словно выговаривала: «Про-па-ди-те-вы-все-про-па-дом!»

Потом Екатерина опустила руки, устало вздохнула и в наступившей тишине насмешливо прозвучал ее голос:

— Я не удивлюсь, если он там запьет.

— Перестань! — крикнула Ирина. Она круто повернулась к Екатерине. В глазах появились слезы. — Как тебе не стыдно, Катя! Ведь ты его любишь! — Она угрожающе шагнула к столику Екатерины.

— Люблю, — кивнула Екатерина. — Люблю, голубица! Успокойся и не устраивай истерик. — «Голубица» у Екатерины прозвучала вроде «теха-матеха».

Но Ирину вполне удовлетворил ответ. Она подлетела к Екатерине, рывком обняла ее, прижалась щекой к щеке.

И вот уже успокоенная, снова сияющая Ирина выпустила Екатериныны плечи, повернулась на каблучках ко мне, так что платье пошло колоколом.

— Ой! — Ирина присела, придерживала платье, виновато и ласково посмотрела на меня. — Пора собираться! — И пояснила мне с торжественностью: — Переезжаю я, вот!..

Ирина ушла в другую комнату. Екатерина перестала печатать и потянулась за сигаретой.

— Чего это Ирина переезжает? — спросил я.

— Спроси о чем-нибудь полегче... Говорит — там совсем отдельная комната. Хочет обжить ее до прихода Николая. А вообще... Сама ничего не пойму. Вроде ни разу не ссорились.

— Может быть...

— Что? — нетерпеливо повернулась ко мне Екатерина, и я понял: ее мучает этот вопрос.

— Может, ей здесь... мешали любить своего рыцаря?

— Мешали! — Екатерина покачала головой. — Не смеялась я. Понять не поняла, но не смеялась... — С минуту, наверное, она сидела в напряженном раздумье — искала ответ на какой-то свой вопрос. Потом частыми толчками о пепельницу погасила сигарету, повернулась к машинке и снова застучала...

9. А февраль уже дразнил весной. Мы шли с Ириной по залитой солнцем, пахнувшей морем улице к ее новому жилью. К дому, в который она приведет прямо с причала счастливец Кронова. Прохожие засматривались на

Ирину, и я даже спиной чувствовал завистливые взгляды мужчин, адресованные мне.

Изредка и я посматривал на Ирину. На левой щеке, когда она улыбалась, а улыбалась она всю дорогу, потому что рассказывала, как любит свою героиню, как придумывает ей разные жесты и словечки,— на левой щеке у нее вспыхивала розоватая ямочка. Такая... Но я не мог подолгу смотреть на нее. Я боялся, что она заметит и тогда перестанет улыбаться.

Я нес ее чемодан, а она большую сумку и пачку — штук десять, ей-богу! — разноразмерных портретов Кронова и его «Стремительного». Можно было подумать, что переезжает антарктический музей.

Справа от Ирины мелким бесом закрутился пацанок лет шести, в мохнатом треухе. Он на ходу умудрялся так изогнуть голову, пытаясь разглядеть снимок в руке Ирины, что я испугался, как бы он не забодал вставшую на пути афишную тумбу. Тумбу он благополучно миновал немыслимым пируэтом и снова пристроился к шагу Ирины, разглядывая снимок. Наконец он не выдержал, осторожно дотронулся до ее рукава.

— Тетя!... Это у вас что?

Ирина остановилась. Взяла пачку в обе руки, доверчиво протянула малышу большой под окантованным стеклом снимок: на белесом от пены гребне кроновский китобоец.

— Это китобойное судно «Стремительный», малыш,— ласково пояснила Ирина.— Как тебя зовут?

— Петя... А это пушка?

— Да, это гарпунная пушка. А это что? Ты знаешь?

Петя нагнул голову, засопел.

— Это такая лесенка,— неуверенно ответил мальчик.

— Правильно, Петя.— Ирина потрепала мальчугана по мохнатой шапке.— А называется лесенка вантами. Запомнишь?

Петя кивнул и посмотрел на Ирину с явным восхищением.

Я тоже. «Интересно,— усмехнулся я про себя,— отличила бы Екатерина ванты от роульса?»

— Вы куда идете? — осмелел Петя.— Можно я немного понесу?

— Можно, Петя! Конечно, можно...

И мы продолжали путь втроем. Я рядом с Ириной, а Петя впереди, торжественно, как икону, неся перед

собой фотозэюд — «Стремительный» на штормовой волне...

Обратно я шел один. Пете со мной было не по пути. А может, ему было неинтересно со мной. Я шел и думал, что в скрипящую каюту китобойца все же заходить легче, чем в тихую пустую комнату на берегу, что в общем-то до весны еще далеко.

ГЛАВА V

1. Ну и закат выдался в конце марта в Антарктике! Наверное, это догорало антарктическое лето. В полнеба стыла сначала оранжевая, а потом багряная заря. Именно стыла, приобретая постепенно холодные лиловатые оттенки. Они ползли к еще яркой полоске над горизонтом, как цвета побежалости по недавно раскаленному, а теперь остывающему металлу.

Быстро стыла заря. А с востока росла и росла почти темно-синяя туча, набухая, зло курчавясь по переднему краю дымчато-фиолетовыми завитками, грозя ударить по океану густыми и тяжелыми снежными зарядами.

Стоя на мостике «Стремительного», Кронов зябко поеживался, в который раз оглядывая ночной пустынный океан. «И откуда пришло какое-то гнетущее беспокойство? Ну, снеговая туча, ну, ударит вот-вот... В первый раз, что ли? Может, слишком далеко оторвался от базы, от основной группы китобойцев? Тоже не в первый раз... А!.. Просто конец промысла, сдают нервишки!..»

Пожелав счастливой вахты второму помощнику, Кронов спустился в каюту. Но и здесь, в обжитом и теплом помещении, где даже запах казался ласковым, каким-то домашним, что ли, где улыбалась с переборки Ирина, ощущение тревоги не проходило. Зато здесь сразу явственно проступила сквозь пелену догадок истина.

Тревогу, приправленную терпким чувством досады, породило письмо Ирины.

Сначала оно только обрадовало. Любовью и трепетным ожиданием теперь уже скорой встречи светилась каждая строчка. А то, что было между строк, сразу-то и не прочиталось. Наверное, только в пятый, а может быть, и в шестой раз перечитывая послание Ирины, Кронов понял — чем-то он сумел ее огорчить. Отсюда,

через тысячи миль, долетела до любимой непонятная обида. Как же это случилось?

Вновь и вновь перечитывал Кронов письмо, но не его строки, а скорее интуитивное чувство подсказало капитану «Стремительного» источник скрытой досады Ирины. «Она прочла мою статью! Точно!.. И ведь сам — идиот! — послал!»

И сначала злость на Юрку Середу, слепая злость полыхнула в груди тяжелым, перехватывающим дыхание жаром. «Тоже мне, развел тут литературные курсы! Отсюда все и пошло!..» Но прошел день, другой, и Кронов сумел вспомнить, как, вкладывая в конверт газету со своей статьей, с первой недоброй фразой «Нам не до стихов», вдруг остановился. «А надо ли Ирине читать это? И черт меня дернул лягнуть Юрку! И без такого начала статья была бы вполне...»

Видимо, безотчетное стремление похвастаться своими успехами, ладно написанной статьей взяло верх. Письмо к Ирине танкер повез вместе с номером газеты «Советский китобой».

Конечно, ничего такого не случилось. Но... Потом она узнает про выхваченного кашалота, потом... «Потом она разлюбит меня! — подумалось, и лоб вдруг покрылся липкой испариной. — Нет ничего тайного, что бы не стало явным. А зачем тайны? Разве нельзя меня любить таким вот, как я есть?»

Кронов прошел к умывальнику, взгляделся в зеркало, вмонтированное над ним. Из чуть потускневшего квадрата на него глянуло обожженное ветром мужественное лицо с четким рисунком чуть улыбающихся губ, широким разлетом темных бровей.

Большие карие глаза смотрели на него с веселой бешабашностью. Но, если пристальней взглядеться, — плавился в них, то исчезая, то появляясь вновь, глубоко затаенный страх. Пусть не страх! Пусть просто тревога. Не в этом дело. Дело в том, что она, Ирина, умеет взглядываться пристально. Она наверняка разглядит все!..

«Как это она сказала при расставании?.. Странно сказала. Да! Вот: «И хорошо и плохо, что мы так быстро расстаемся!»

«Почему плохо?»

«Мы еще очень нужны друг другу».

«А почему хорошо?»

«Мы не разглядели друг в друге недостатков».

«А вдруг их у нас нет?»

«Замолчи! Так о себе думать — уже плохо!»

Да... Вот она какая... Иринка...

И вдруг захотелось все сразу исправить. Ну хотя бы повидаться с Юрием, переброситься парой слов, увидеть его дружескую улыбку. А потом написать об этом Ирине...

И какого дьявола понесло его в сторону от всех, на северо-запад? Интуиция? Какая там интуиция!.. Авантюра! А вдруг... И ничего-то, кроме «а вдруг».

Кронов быстро подошел к столу, выдернул заглушку из переговорной трубы.

— Ал-ло!..

— А-а,— донеслось из трубы.

— Возьмите пеленг на «Безупречный». Пойдем к нему...

Через несколько минут картушка репитера гироскопа в капитанской каюте стремительно покатилась вправо. В лобовые иллюминаторы ударила первая пригоршня снегового снаряда.

Кронов, не раздеваясь, вытянулся на диване и сразу уснул.

Во сне лицо его потеплело. Наверное, от почти детской улыбки, смягчившей слишком резкий рисунок рта...

ГЛАВА VI

1. Высоко из-под ножа форштевня взлетают и сразу белеют, покрываясь густым кружевом пены, крутые ломти волны. И дрожит над вспененной волной прозрачное кольцо маленькой радуги-спутницы. Погожая синева океана отражается мягким бегучим светом на белизне ходовой рубки, синит белки глаз у всех, кто на мостике.

— Стоп! — звучит в укрепленном на мачте динамике спокойный голос Аверьяныча, и Середа мгновенно переводит ручку машинного телеграфа на нолевое положение.

Сразу опадают по бортам белые крылья бурунов, исчезает колечко радуги. Китобоец по инерции еще скользит вперед. Только теперь он движется совсем бесшумно: слышно, как кипит под форштевнем рассекаемая волна, как басовито гудит моторчик вынесенного на крыло репитера гироскопа.

На мостике «Безупречного» после сигнала «охота!» — настойчивых продолжительных' звонков — стало много-

людней. Не ушел отстоявший вахту Тараненко. Только как же ему без дружка? Вот и вызвал он подышать свежим ветерком электрика Серегина. Вскоре поднялись Катков и пожилой электромеханик Самсоныч, удрученный тем, что в этом рейсе еще не обнаружил ни одного фонтана. «Приедем домой, прямо из порта — в пенсионный отдел!» — невесело подшучивает он над собой.

Мечется от борта к борту матрос второго класса, рыжий до рези в глазах практикант мореходного училища Вася Лысюк. Даже кондей Марина и тот вылетел на мостик прямо от плиты в когда-то белом, а теперь весьма засаленном фартуке и лихо сдвинутом колпаке.

— А в Москве нынче масленицу праздновать разрешают, — вдруг ни с того ни с сего сообщает Серегин. Все негромко хмыкают, не сводя глаз с водной глади.

Старпом Анатолий Корнеевич Шрамов недовольно морщится, но молчит.

2. В непонятной старшему помощнику антарктической демократии есть, между прочим, практический смысл. Стой на мостике только вахтенный штурман с рулевым да коченей в бочке марсовый, немало китов осталось бы незамеченными. Прошло то время, когда киты ходили стадами.

Как послушаешь Аверьяныча и других ветеранов об удивительных первых рейсах... Сказка да и только! Тогда киты, пофыркивая, доверчиво терлись о форштевни дрейфующих китобойцев. Зачарованные неслыханной музыкой — шумом винтов, — киты и китихи приподнимались на могучих лапах над водой, торчмя торчали своими суженными, как у гигантских крокодилов, головами с маленькими, широко расставленными глупыми глазками. Гарпунеры били на выбор: только самых жирных, самых исполинских...

Так было. Но трудно поверить в это теперь, когда, бывает, неделями бороздит флотилия сумрачные, слившиеся у ледяного панциря просторы трех океанов и только одинокие пушечные выстрелы изредка нарушают загустевшую тишину, оповещая о встрече китобойца с океанским гигантом. Поиск китов стал главной и самой трудной задачей промысла. Чем больше сегодня людей на мостике, тем больше шансов заметить, может быть, единственный в этот день вспыхнувший и тут же угасший фонтан...

Фонтан!.. Он не похож на четкую брендспойтную струю, какую рисуют над китом в детских книжках. Неопытному глазу легко принять за фонтан короткий всплеск столкнувшихся в океанской сутолоке волн. Фонтан может и просто привидеться, как в знойной пустыне перед взором измученного путника вдруг возникает за дрожащей косынкой марева зеленый пейзаж оазиса...

Но вот хриплым от волнения голосом выкрикнул доброволец-наблюдатель: «Фонтан!» И все убедились — точно! Не привиделось!.. Это еще не все. Теперь надо вывести китобоец на кита. А кит пошел хитрый. Видимо, и он при всей своей толстошкурости познал чувство страха и понял, что шум винтов — предвестник его гибели.

Нет, давно не трутся киты о форштевни китобойцев. Они удирают, занырявают на глубину и, невидимые, круто меняют там курс, вновь выходя на поверхность иногда за кормой китобойца.

А если преследуется группа, и грянул первый выстрел, и выбросил пораженный кит последний кровавый фонтан, рванут его дружки на все тридцать два румба, и попробуй без добровольцев уследи, куда уходят торопливые короткие фонтанчики...

3. Серeda внимательно следит за каждым поворотом головы Аверьяныча, слышит за спиной нервное покашливание Захара Каткова.

«Принес черта черт!» — злится Серeda, но не оборачивается.

Катков никогда не выходит на поиск фонтанов. Но едва затрезвонит сигнал охоты, второй механик, если только не его вахта в машине, вихрем взлетает на мостик, суетливо закуривает и ждет выстрела.

Когда Катков на мостике, можно наблюдать за всеми перипетиями охоты, повернувшись к пушке спиной. Для этого достаточно видеть лицо второго механика. Каждая морщинка на его маленьком, высушенном жарой дизельного отделения лице жила драматизмом полубака, где стоял гарпунер. То приоткрывался для уже родившегося в груди крика рот, то чуть не до крови прикусывал Катков желтоватыми крупными резцами нижнюю губу; глаза то светились радостью, то туманились отчаянием. Однажды во время охоты сунул Катков папиросу табачным концом в рот, да и сжевал табак начисто, пока грянул выстрел.

«Десятое положение!» — снова звучит в динамике спокойная команда гарпунера. Середа плавно передвигает ручки телеграфа, и с легким клокотом в косо срезанной трубе китобоец плавно устремляется вперед, чуть уклоняясь влево, ибо влево коротко махнул рукой Аверьяныч.

— Не добежим! Далеко, сволочь, убеги... Тут дай бог, если полным достигнешь... — слышит Середа за спиной сдавленный шепот Каткова. Совет механика бесполезен. На охоте командует гарпунер. И хотя Середе самому думается — кит выйдет далеко впереди, он бросает на шептуна-вещуна такой взгляд, что тот сразу смолкает, накупившись, уходит от капитана на левое крыло мостика.

Впереди, метрах в тридцати по курсу, неожиданно закачалось на волне гладкое, словно стынувшее масло, пятно. Не успело оно растаять, как чуть правее загустела вода новым кругом, а вот уже залоснился и третий...

— «Блины» по курсу! — вопит в бочке марсовый.

Аверьяныч поднимает левую руку. Для рулевого это означает: «Так держать!», а для марсового: «Не ори! Сам вижу...»

«Блины» — след от мощных подводных взмахов хвостового плавника — оборвались так же внезапно, как и возникли.

«Неужели снова на глубину?» — думает Середа. Но вот он видит, как Аверьяныч своим характерным перед выстрелом, каким-то пританцовывающим движением быстро перемещается, не отпуская поводка пушки, влево. Короткий ствол с рыжим от ржавчины гарпуном нависает над правой скулой полубака.

И тут, опережая крик марсового «выходит!», мелькает под горбатым стеклом волны отливающий голубизной контур огромной рыбы. Вода с шумом разверзлась, и, выбросив из дыхала фонтан, на поверхности взбугривается полированная спина кита.

Выстрел! Гарпун рванул за собой капроновый линь, прочертив им в воздухе белую молнию. Глухо охнула в туше кита граната. Забурлила вода. Мелкой, частой дрожью задрожал туго натянувшийся линь и вдруг застыл, наструнился под тяжестью. Там, где он уходил под воду, ширилось темно-красное пятно — кровь кита густо закрашивала волну.

— Наповал! — радостно кричит Катков и со всего маха хлопает по спине старпома.

Анатолий Корнеевич брезгливо морщится, подчеркнуто выпрямившись, поворачивается к механику.

Катков спохватился:

— Извините, Анатолий Корнеевич! От души сорвалось, ей-богу!.. Тут, значит, уж дело такое, как говорится, общее...

— Я бы вас попросил, товарищ Катков...— подбирая слова, старпом с ног до головы оглядывает второго механика: его замазученный, без пуговиц ватник, капроновый поясok из обрывка лinya.

Вытянутое лицо Каткова вспыхивает.

Предупреждая ссору, Середа подходит к механику: — Захар Семенович! Вы бы помогли на лебедке, а то Саранчев горяч больно...

Катков сбегает вниз.

— Все-таки какая распушенность! — передергивает плечами старпом.

— Это не распушенность, Анатолий Корнеевич. Охота! Азарт! Вы вот поплаваете, тоже, наверняка...

— Азарт охоты? — не без сарказма переспрашивает старпом.— Это азарт чистогана, Юрий Михайлович, извините за откровенность!

4. Вообще-то Середа не мог не почувствовать толики правды в словах старпома. Что говорить, все давно отметили — второй механик умеет, а главное, любит считать деньгу.

Вечерами в кают-компании Катков забивался в уголок и, мусоля чернильный карандаш, вел хитроумные подсчеты. Он переводил добытых за день китов в жир, тонны жира в рубли, согласно расценкам, и, если сумма получалась недостаточно кругленькой, горько вздыхал: «Что ж это? Детишкам на молочишко? Кончать, кончать пора эту комедию! Уйду в пароходство!»

Зато в день промысловой удачи Катков заметно веселел. Он крутился вокруг Аверьяныча: «Я тебе пятьдесят капель поберег. Можёт, согреешься?» А потом лихо бил костяшками домино, причем и тут выказывал необычайную способность в подсчете.

Однажды, раздавая переданную с китобазы почту, рулевой вручил Каткову запечатанный конверт. «Второму механику к/с «Безупречный» Каткову З. С.», — значилось

на конверте. Четко был напечатан и обратный адрес: «Бухгалтерия китобазы».

Вскрыв конверт, Катков на фирменном бланке прочел машинописный текст, неразборчиво подписанный после слов «гл. бухгалтер флотилии».

В письме Каткову предлагалось «возглавить движение внештатных бухгалтеров». Шел длинный перечень их функций и прав. Для начала рекомендовалось «учесть имеющуюся в наличии стеклянную тару, обеспечить ее сохранность и передать при очередном подходе на китобазу». Тут же определялся процент вознаграждения.

Дня через два боцман Сидоров, обходя судно, чуть не свалился с ботдека от изумления. Отражая бегущую за бортом волну, на боцмана стеклянно глядело причудливое сооружение из порожних бутылок, пузырьков и стеклянных банок из-под «Украинского салата». Затеяливо оплетенное проволокой, «сооружение» разноголосо позвякивало от вибрации судна. Казалось, что над ботдеком играет шумовой оркестр. Сидоров потянул на полные легкие воздух, но разразиться бранью не успел. Тенью следовавший за боцманом Серегин многозначительно приложил палец к губам и оттащил боцмана в каюту электриков. Ни старпому, ни капитану боцман, выйдя от электрика, о странной находке не доложил. Вообще до поры до времени никто о стекляшках вроде бы и не знал. Но когда подошли к борту китобазы и на перекинутой над волнами выброске повисли, особенно наявивая, пузырьки и бутылки с приложенным отчетом Каткова, на палубе «Безупречного» грянул хохот. Вызванный к борту базовский кладовщик так и застыл с отвисшей челюстью, испуганно вытаращив глаза на ползущую к нему, звякающую на все лады стеклянную абракадабру.

Катков дня два ни с кем не разговаривал, не показывался на мостике.

Но уже через несколько дней второй механик снова выводил только ему понятные формулы в своем блокноте, снова грозился уйти, «коли такая ситуация утвердится», в пароходство. Не без зависти рассказал он о сказочных барышах своего знакомого моряка. Мол, и плавает он меньше, и должность у него в пароходстве только четвертого механика, а живет — куда там!.. Правда, на вопрос боцмана Сидорова: «А кой черт тебя

девятый год в Антарктику носят?» — второй механик «Безупречного» только рукой махнул...

5. Ничего не ответил Середа старпому, не вступился за Каткова. Только подумал: «Шрамов просто мастер портить настроение!...»

Испортилась и погода. И куда только девалась утренняя голубизна! Липкими волнами ударил по мостику несколько раз туман, мелькнуло уже далекое голубое небо, а потом все заволокло. И сразу засвинцевела вода по бортам, влажно потемнел дубовый планширь на мостике. Медвежьим комом скатился по вантам марсовый. Торчать в бочке в такой туман бесполезно. Бесшумно закрутилось над мостиком черное крыло локатора.

Середа приказывает сбавить ход до среднего и спускается в каюту.

Насмешливо глянули с портрета на переборке прищуренные глаза Екатерины.

Еще один невезучий день!.. Так все началось, и вот туман. Вспомнилось четверостишие, не без злорадства выданное на прошлой литературной среде Катковым:

Вчера был штормяга,
Сегодня — туман.
Накроется, видно,
Наш месячный план!

«Вот и читай ему Кедрина! Нет, хватит филантропии! Никаких сред. Волгин прав — надо думать о промысле».

В каюту без стука заглянул Аверьяныч:

— Ну, нам пора, Юрий Михайлович.

— Куда?

— Сегодня среда.

Середа молчит. Он еще не решил, как поступить. «Если б день удался — куда ни шло. А тут... Небось вся флотилия слышала, как на прошлой неделе съезвил Волгин: «Надеюсь, вы работаете над баснями? Потому что оды в честь «Безупречного» преждевременны. Не те показатели. Прием!...»

«Прием!» И вся флотилия полминуты слушала в эфире одни разряды, потому что он, капитан Середа, не нашелся что ответить капитан-директору.

6. Волгин не ограничился издевкой по радио. Несколько дней назад на «Безупречном» «праздновали» пустой

день. Все взяли тогда хоть по одному киту. Кронов отбуксировал к базе трех сейвалов. «Безупречный» проходил дотемна в лабиринте айсбергов и не нашел ничего.

«Капитану «Безупречного», — приказал вечером Волгин, — завтра подойти на бункеровку. Высадитесь ко мне, Юрий Михайлович...»

— На ковер! — притворно вздохнул вечерний завсегдатай радиорубки Катков.

«На ковер — так на ковер!» — Середа даже и не задумался над тем, как будет оправдываться. Наоборот, неизбежность и очевидность завтрашнего разноса как-то успокоили, поселили в душе безмятежную отрешенность. И впервые за много вечеров Середа, отдав Шрамову распоряжение с рассветом ложиться курсом на китобазу, уснул быстро и крепко.

...И сон снился Середе совсем не антарктический. Очень странный снился сон. Будто сидит он высоко на галерке в театре, на каком-то совещании. Внизу на трибуне беззвучно говорит человек. Видно, как хлопают его малокровные губы, вспыхивает в стеклах толстых очков отражение люстры, когда докладчик вскидывает голову, а что он говорит — не слышно. И кто докладчик — Середа тоже не знает. То он ему кажется глуховатым заместителем начальника мореходки, то Волгиным, то почему-то старпомом Шрамовым. В президиуме среди незнакомых важных и толстых людей Середа узнает Кронова и Катю. А рядом с Катей сидит, беспокойно поглядывая на галерку, знакомая женщина. Середа встретился с ней как-то в отпуске, на одной подмосковной станции. Вот только имени никак не вспомнит...

Душно в переполненном театральном зале. И тихо. Но все равно совсем не слышно докладчика. А воздух так наверху густеет, что Середа начинает ощущать его упругость.

И тогда он вдруг понимает, что может запросто взлететь к самому куполу, птицей попарить там и выскользнуть ласточкой в приоткрытую дверь на противоположной стороне яруса.

«Вот будет потеха!» — В груди разгорается холодный озорной огонек. Середа пристально смотрит на застывшую в президиуме Катю. Ему надо предупредить ее, чтобы она не испугалась! Но Катя не чувствует взгляда мужа. Вообще кажется, что она спит с открытыми гла-

зами. А вот женщина рядом с ней, имени которой Середа никак не может вспомнить, словно угадав, что он задумал, умоляюще прижала обе ладони к груди.

Стараясь успокоить ее, Середа плавно отрывается от кресла и еще не летит, а просто висит в воздухе. Женщина в президиуме бледнеет от испуга. «Глупенькая! — улыбается ей Середа, — разве ты не видишь, как замечательно держит меня воздух. Наверно, я научился сдавать под собой гравитационное поле!»

Середа поднимается еще выше, выбрасывает в стороны руки. Но никто — ни его соседи по галерке, ни Катя, ни Кронов не замечают необычности происходящего. Только женщина справа от Кати поднялась и смотрит на него с изумлением и тревогой.

Буйная радость охватывает Середу от того, что он открыл в себе невероятное. Он ликующе вскрикивает и устремляется сначала под самый купол, за переливающимися огни люстры, а оттуда, легко перевернувшись, стрижом скользит к сцене, проносится над головами президиума, успевая заметить, как шевельнулась от ветра полета золотистая прядка Катиных волос.

Середа снова взмывает ввысь и повисает над центром зала, раскинув руки-крылья.

Нет, никто не заметил его полета. Бесшумно шевелит серыми губами докладчик, спит с открытыми глазами Катя.

И тогда дикая обида захлестнула сердце Середы. Боль в сердце, во всем теле была настолько нестерпимой, что на глазах выступили слезы. «Люди! Посмотрите, ведь я летаю!» — хотел крикнуть из-под купола Середа и не смог, не было сил. Только всхлип вырвался.

Середа плавно развернулся и поплыл к правому крылу верхнего яруса, туда, к открытой на лестницу двери. Неожиданно Середа почувствовал, как возвращается к нему вес и вместе с ним страх перед высотой... Середа взмахивает руками и на секунду снова ощущает надежную упругость воздуха. Еще бы немного!.. Там, за открытой дверью, в полумраке галерейной лестницы, медно поблескивает каска пожарника, маячной точкой вспыхивает багряный огонек его папиросы... Но «гравитация» исчезает начисто. Вскрикивает Середа и камнем летит вниз. Он падает бесконечно долго, и звенит в ушах женский крик-воплъ. «Катя или та женщина?» — спрашивает себя Середа. И тут грохочет взрыв...

7. Взрыв?.. Серeda открывает глаза и видит, как вибрируют от только что оггремевшего взрыва переборки каюты... Совсем светло! «Да это же выстрел!» — Серeda вскакивает с дивана, босым подбегает к лобовому иллюминатору. Так и есть! Аверьяныч и Тараненко перезаряжают пушку. Тяжко пружинит блок на мачте, позванивает лебедка — значит, кит на лине.

Уже на трапе, застегивая на ходу альпаговку, Серeda видит вспыхнувший совсем близко могучий фонтан. А вон, градусов тридцать по корме, еще! Еще!..

— Почему не разбудили? — набрасывается Серeda на Шрамова.

Старпом кивает на полубак:

— Забота партийного руководителя!.. Я послал к вам матроса, а товарищ Потанин вернул его. Говорит, вам сегодня трудный день предстоит.

«Почему трудный?.. Ах, да... На «ковер» к Волгину...»

— Два фонтана по корме! — кричит марсовый.

— Не два, а четыре! — звонко поправляет поднимающийся на мостик Серегин и, закатив глаза, откусывает от соленого помидора: — Сегодня Каткова кондрашка от восторга хватит!

— Лево, лево бери! — звучит в динамике голос Аверьяныча, и снова китобоец сотрясает выстрел...

Старпом Шрамов не смотрит, куда полетел гарпун. Рванув рукоятки телеграфа на «стоп», он косится на Серегина. Старпом даже поворачивается к нему.

— Мостик, между прочим, не забегаловка, товарищ Серегин.

— Ясно, товарищ старпом! — Серегин торопливо откусывает от помидора еще раз и швыряет огрызок в океан. — Пусть китишки закусят!

И сразу почти в том месте, где плюхнулся огрызок помидора, шумно взгорбилась коричневая спина океанского исполина.

— Мать честная! — Серегин схватился за голову и онемел...

Китобойцы «Отваги» ринулись на пеленг «Безупречного», сюда же двинулась и китобаза.

Серeda подходил к борту флагмана, имея по бортам по пять кашалотов.

В кают-компании «Безупречного» второй механик Катков удовлетворенно мусолил чернильный карандаш...

На корме китобазы толпились люди. Давненко в Антарктике не видели такой удачи...

8. С китобазы подали переносную корзину. В последнюю минуту, когда Середа хотел было махнуть рукой лебедчику, кряхтя полез в корзину Аверьяныч.

— Зубному надо показаться!..

— Валяй!..

По скользкой от китовой крови разделочной палубе шли вместе, взявшись за руки, поддерживали друг друга, словно пьяные.

У трапа на спардек остановились: Аверьянычу вниз, в санчасть, Середе — подниматься в каюту капитан-директора.

— Ты особенно не кипятись!.. Я, может, загляну после.

— Да что там!.. — Середа махнул рукой, глухо застучал по ступенькам трапа...

Волгин встретил Середу в коридоре. Капитан-директор выходил из радиорубки. В передатчике еще гремел голос Кронова: «Цыплят по осени считают, Станислав Владимирович, по осени!»

— Да-а, — отвечая уже своим мыслям, проговорил Волгин. — А осень в Антарктике вот-вот наступит. — Он молча протянул Середе руку, крепко ответил на пожатие.

— Заходите, именинник! — Волгин коленом толкнул дверь своей каюты.

Круглый стол в центре каюты покрывала голубоватая потрепанная карта Антарктики.

Со стены на Середу задумчиво взирали адмиралы Лазарев и Беллинсгаузен. Точно в такой же золоченой раме рядом с первооткрывателями Антарктики почему-то висел портрет Фрунзе. Скромный красноармейский френч пролетарского полководца обращал на себя внимание больше, чем раззолоченные мундиры адмиралов. Волгин усадил Середу на диванчик, сам опустился на принаитованное кресло за письменным столом.

— Ну что ж, — Волгин посмотрел на Середу с затаенной усмешкой. — Победителей не судят! Так что начну с поздравлений.

— Не с чем поздравлять, Станислав Владимирович.

— То есть? — Мохнатые брови капитан-директора удивленно поднялись.

Середа пожал плечами.

— Охота есть охота. Могло и сегодня ничего не быть. Теперь Волгин взглянул на Середу с явной досадой.

— Вы что же... не рады успеху?

— Станислав Владимирович! Вы вызвали меня до так называемого успеха. Вероятно, не для поздравлений.

— Так называемого! — Волгин досадовал все больше. — Уж если вы настолько лишены честолюбия, подумайте об экипаже. Люди поработали неплохо?

— Отлично поработали!

— А уж тут разрешите не поверить! Не отлично, а, понимаете ли, именно неплохо. При таком китовом супе могли взять больше.

— Значит, не сумели.

— Откуда у вас это, понимаете ли, безразличие? — Волгин взорвался. — Или вы всерьез думаете, антарктический промысел — это литературные студии?

Серeda горько усмехнулся. Взгляд его скользнул по книге на подлокотнике дивана. Это был все тот же том Толстого, который приметился Серede в каюте капитан-директора еще перед началом промысла.

Волгин перехватил взгляд Середы, но истолковал его по-своему.

— Да, вот перечитываю Толстого! — с какой-то непонятной укоризной вырвалось у капитан-директора. — Хемингуэй не для меня.

— А Толстого вы наизусть учите?

— Почему... наизусть? — удивился Волгин.

— Я пятый том у вас еще в Гибралтаре видел.

Волгин покраснел, совсем растерянно переспросил:

— В Гибралтаре?..

Серeda кивнул.

— Вы извините, Станислав Владимирович! Разумеется, это не мое дело. Просто... к слову пришлось.

Но Волгин, видимо, не обиделся. Он совсем растерянно развел руками, вздохнул:

— Да!.. Читаем мало.

— Но все-таки читаем! — Серeda сказал это не для успокоения капитан-директора. — А матросы, разделяшки, например, читают, как вы думаете?

— Надо полагать, когда нет завала...

— Когда нет завала! — Серeda махнул рукой. — В библиотеке китобазы одиннадцать с половиной тысяч книг. На руках — пятьсот с небольшим. Это вместе

с экипажами китобойцев разобрали, заметьте. Из четырехсот членов экипажа китобазы в библиотеке записаны аж пятьдесят два! Вас это не пугает, Станислав Владимирович?

Волгин предостерегающе поднял руку:

— Пусть это пугает замполита. Доложите ему свои выкладки.

— Ну да! — злорадно подхватил Середа. — Замполит, партгруппа! Пусть они!.. А мы — капитаны, мы — промысловики! Наше дело сырец и жир. Мы забираем у народа молодых парней в обмен на кондиционный жир, основной компонент маргарина! Меняем души людские на маргарин!.. Не слишком ли высокая себестоимость, Станислав Владимирович?

— Перестаньте! — Волгин крикнул громко и обиженно. — Вы заговариваетесь, Юрий Михайлович!.. Что значит души, понимаете ли, на маргарин? Надо же придумать такое! — Волгин встал, взволнованно заходил по каюте... — Меж рейсами у наших моряков по три месяца отпуска! Лучшие здравницы, театры!.. Полтора ста фильмов берем в рейс... Ну чего вы улыбаетесь?

— Вы еще забыли — лучшие рестораны, Станислав Владимирович. — Середа махнул рукой. — Вы отлично понимаете, о чем я говорю. Лет через пять-шесть китобойный промысел, надо полагать, прикроют. Не насовсем, так на длительное время. Куда мы спишем полторы тысячи наших бородачей? Ну, бороды сбреют, допустим. А нутро-то останется мохнатым? Нелегко им заживется на берегу!

Волгин отмахнулся.

— Приживутся! Можно подумать — на берегу или в пароходстве сплошные интеллигенты обитают!

— Слабое утешение!

— Да наши ребята еще сто очков береговым слабыкам дадут! Интеллект интеллектом, но нельзя недооценить, понимаете ли, труда. Тем более такого героического, как в Антарктике... А труд, понимаете ли...

— Знаю! — не сдержался Середа. — Труд — дело чести, доблести и геройства!

Волгин строго посмотрел на Середу.

— У вас что... другой взгляд на это?

Середа молчал.

Волгин устало вздохнул.

— Не следует иронизировать над всем и вся, Юрий Михайлович,— даже в горячке спора. Это неблагородно и... бесполезно.

Спускаясь от капитан-директора, Середа подосадовал на свое фанфаронство. «Какой-то мальчишеский выкрик!» Он никак не способствовал деловому завершению разговора. «...Мысли на лестницах! — усмехнулся Середа.— Кажется, это в том самом томе Толстого, что залегался в каюте капитан-директора. Самые нужные мысли приходят на лестницах, уже после аудиенций...» Надо было Волгину объяснить, что он, Середа, вовсе не мыслит себе подмену промысла культработой,— противное слово! Надо было!.. «Вот так, наверное, у меня и с Катей. Слово за слово, вроде остро, а суть мысли остается невысказанной. Волгин наверняка теперь будет думать обо мне, как о каком-то неврастечном затейнике, а не капитане. Он так и сказал прощаясь: «Да-а... недаром я побоялся в прошлом рейсе назначить вас капитаном! Больно вы мудрствуете. А в Антарктике, понимаете ли, задумаешься, да и с айсбергом столкнешься!»

Внизу Середу ждал Аверьяныч.

— Ну как, обошлось?

— Обошлось.

— А я к замполиту заглянул. Очень даже доволен Иван Павлович нами... Тем более что после сегодняшних китов мы, вроде, на второе место выскакиваем...

Середа и Аверьяныч шли по палубе к поданной для пересадки корзине. Не смотри они себе под ноги, а без этого тут и растянуться немудрено было, капитан и гарпунер заметили бы, какими теплыми и уважительными взглядами провожают их матросы-рездельщики. Но Середа и Аверьяныч подняли головы, только ухватившись за плетеный борт переносной корзины.

— Замполит собирается к нам послать инспектора,— продолжал Аверьяныч.— Хочет обобщить опыт.

— Пусть обобщает! — Середа свистнул лебедчику и, легко подтянувшись на руках, перевалился в корзину.

9. Вот что припоминается Середе... «Ну так что? Разве я не прав?»

— Ладно. Пошли! — Середа решительно снимает альпаговку.

Проходя по коридору, кают-компания, Середа поражается тишине в столовой. Обычно до его прихода на «среду» тут трещали столы под костяшками домино, звучал раскатистый смех Кечайкина, басил, споря с Катковым, боцман Сидоров.

Сегодня столовая пуста. Даже свет погашен.

«Эх, старик!.. — тоскливо думается Середе, — идеалист в тебе живет, оказывается. Одно неодобрение начальства — и лопнули наши «среды»! Расползлись тараканами по каютам и...»

Середа рывком берет дверь на себя и замирает на пороге...

Кают-компания полна... Люди сидят даже на линолеуме палубы. И разом поднимаются, встречая капитана. Никогда они раньше не поднимались!..

— Добрый вечер, товарищи!.. — Середа чувствует, что надо помолчать. Потому что голос его прозвучал совсем как чужой. Что-то теплое, почти горячее встает в горле и душит. И глаза надо прятать. Во всяком случае не смотреть подолгу на одного. А покраснеть глаза могли и от ветра. Вон у Тараненко веки красные. А синева глаз посветлела. От ветра, наверное...

У Кечайкина глаз не видно. То есть видно, но смотрит он куда-то на переборку. Спокойно смотрит, словно ничего и не случилось.

Боцман Сидоров, как только сел, уткнулся в книгу. Тяжело ему читать! Середа заметил — на изрезанном глубокими морщинами лбу выступает испарина. Толстая книга у боцмана. По цвету переплета Середа узнает том Куприна. «Молодец боцман! Дорогу осилит идущий!»

А электрик Серегин грызет кончик авторучки...

И хочется Середе сказать людям слово теплое и благодарное. За то, что вот собрались так дружно и не смотрят ни на него, ни на самих себя непонятными героями. Собрались и все! Так вот им нравится, что бы там ни говорил Волгин, как бы ни язвил Кронов.

Но Середа не знает, что именно надо сказать. А может быть, и не надо ничего говорить. «Наверное, не надо!» — думает Середа и слышит за спиной негромкий голос Аверьяныча: «Все правильно, капитан!»

1. Год спокойного солнца отметил себя на земле грозными событиями. Радио и газеты чуть не через день сообщали о невиданных наводнениях, рухнувших городах, об огненном рыке оживших вулканов.

И мало кто обратил внимание на мелькнувшую в печати благополучную радиограмму с борта флагмана «Отваги». Уж на что я выискивал каждую строчку о китобоях, а тут пропустил.

В телефонной трубке звучал глубокий и мягкий женский голос:

— Добрый вечер. Вы прочли в «Известиях»?

— Что именно?

— Ну, про наших. Юрий Михайлович и Коля оказались соперниками.

Теперь только я понял, что говорит Ирина Кронова.

— Вот как? Спасибо. Обязательно прочту.

— Я знала, вам это будет приятно.

— Вы молодец! А Екатерина Петровна рада?

— Н-навверное. Мы с ней давно не виделись.

— Понятно. Будет справедливо, если Середа отберет у Николая вымпел.

— Почему?

— Ах вы «почемучка»!.. Многовато призов у него. И вымпел, и вы.— Комплимент получился не из тонких, и я испугался, что она рассердится. Но Ирина рассмеялась тихо и счастливо. Потом настороженно спросила: — А почему вы не любите Николая?

— Нет, почему же... И, наверное, хватит ему вашей любви!

— Хорошо, если хватит. До свиданья...

Она повесила трубку. Пи-пи-пи-пи — тоненько и, мне показалось, насмешливо запищал сигнал в трубке.

«Почему вы не любите Николая?..» Странная!.. Не люблю!.. Что он — девица красная?! А правда, почему не люблю?

Странно... Мне очень хотелось отыскать в своей памяти хоть один пример кроновской подлости, что ли. Но ничего подобного не отыскивалось. Ну, выхватил у Середы кита, ну, ляпнул не к месту «нам не до стихов». В общем-то мелко для обвинений. Да и в чем винить его? Да разве я хоть однажды поспорил с ним?

Наоборот! И в прошлом рейсе, когда он шумно врывался в нашу затянутую слоистыми дымами каюту и кричал, переступая порог: «Задохнетесь, шизики!», и летом, почувствовав на своем плече крепкую припечатку его ладони, я всегда вежливо улыбался, охотно протягивал руку. Таким искрящимся благополучием светилось его лицо! Глаза, большие, немного навывкате, с таким нахальным простодушием упирались в тебя, что сразу ты как-то сникал, хихикал в ответ на давно известные шуточки, а на сомнительные сентенции изрекал: «Пожалуй... Тут что-то есть».

И с Юрием, я заметил, в присутствии Кронова происходило то же самое. Когда Кронов уходил, и Середе и мне становилось неловко друг перед другом. Мы долго молчали, а иногда разговор и вовсе больше не клеился. Случалось, мы, наверное, чтоб оправдать свое поведение, начинали вдруг торопливо отыскивать в Николае якобы только нам, тонким психологам и человековедам, различные достоинства. Самое противное — я первым, бывало, начинал эти диалоги.

— А ведь он не дурак, Николай,— говорил я.

— О! — обрадованно подхватывал Юрий.— Он, брат, мудр, как змий!

Или:

— А он по-своему красив,— вдруг изрекал Юрий.

— Да!.. Есть в нем что-то от... Арбенина,— торопливо придумывал я, хотя ничего арбенинского не было на самодовольном лице Николая. Но Юрий соглашался со мной.

Странно это, странно... Почему мы с Юрием так самозабвенно стремились приукрасить Кронова? Вообще, почему часто хочется отогнать, как дурной сон, разочарование в человеке? Особенно в близком. И еще больно разочаровываться в так называемом большом человеке...

2. Отыскав на следующий день заметку, я тут же побежал в управление. Нет, ничего не напутано. Мне сказали: «Да, «Безупречный» подтянулся. Капитан Середа провел работу. Мобилизовал экипаж».

Вот оно как! «Провел работу и мобилизовал». Выйдя на улицу, я снова почувствовал приближение весны. Дул резкий северный ветер. Но все равно солнце слепяще плавилось в окнах домов и шел мимо меня, подбивая коленками истрепанный портфель, первый пред-

вестник весеннего гриппа, яркоглазый разогревшийся пацан в сдвинутой на самый затылок шапке и в расстегнутом пальто.

— Застегнись, дурень! — крикнул я ему, да, наверное, слишком радушно, потому что школьник только ухмыльнулся в ответ. Может быть, он понял, что мне хотелось крикнуть совсем иное. «Да здравствует капитанский успех!» — вот чем хотелось мне перекрыть весенний гул перекрестка.

3. Капитанский успех!.. Я бы сказал — таинственный вопрос. Прочел я мелвилловского «Моби Дика» перед первым антарктическим рейсом.

«...Когда вся команда собралась и люди с опаской и любопытством стали разглядывать Ахава, грозного, точно штормовой горизонт, он, бросив быстрый взгляд за борт, а потом устремив его в сторону собравшихся, шагнул вперед и, словно перед ним не было ни живой души, возобновил свою тяжеловесную прогулку по палубе. Опустив голову и надвинув на лоб шляпу, он все шагал и шагал, не слыша удивленного шепота команды... Вот он остановился и со страстной значительностью в голосе крикнул:

— Люди, что делаете вы, когда увидите кита?

— Подаем голос! — согласно откликнулись два десятка хриплых глоток.

— Хорошо! — крикнул Ахав с дикой радостью, заметив общее одушевление, какое вызвал, словно по волшебству, его внезапный вопрос.

— А что потом?

— Спускаем вельботы и идем в погоню!

— Под какую же песню вы гребете?

— «Убитый кит или разбитый вельбот»!

— ...Теперь глядите все! Видите вы эту испанскую унцию золота? — И он поднял к солнцу большую сверкающую монету...»

Разумеется, я не ожидал на каком-нибудь китобойце «Отваги» встретить Ахава. Тем не менее... «И словно перед ним не было ни живой души». Вот эта строчка, пожалуй, приклеилась бы кое к кому. Самое обидное, что о таком подчас говорят уважительно: «Требовательный капитан. Строгий, но справедливый». А как можно быть справедливым, если смотреть на людей, «словно перед ним не было ни живой души»?

Видел я дальних родственников Ахава и по другой линии: «И он поднял к солнцу большую сверкающую монету». И у таких есть приверженцы. Катков — не единственный «математик» на флотилии.

Но в самой большой степени от Ахава остался на капитанском мостике грозный рык. И это чуть ли не в чести! «Антарктика!.. Тут, брат, не до лирики!» Подойти в открытом штормовом океане к борту китобазы и, имея вместо кранца тушу добытого кита, с хода ошвартоваться — это кое-что значит. Китобойца то вознесет над фальшбортом китобазы и, кажется, вот-вот грохнет о ее палубу, то так бросит вниз, что китобаза уходит ввысь серой стеной небоскреба. Кто тут возмутится, если и расслышит сквозь свист ветра крепкое словцо, отпущенное капитаном на швартовке боцману или матросу? О, насчет лирики в Антарктике у Екатерины немало единомышленников! Я и сам, честно говоря, хоть и давно видел в Серее своего героя, сокрушался: не хватает ему «командирской жилки»!.. Наверное, поэтому и с Екатериной...

А в чем суть этой самой «жилки»? Переверните вороха газет с очерками о капитанах, о командирах производства. Авторы, рисуя образ начальника, с привычным удовольствием отдают патетическую дань знаниям руководителя, его твердой, а то и железной воле, его требовательности — непостижимо растяжимому понятию. Все остальные человеческие качества — в другой, строго очерченной части. Уж если о сердечности и доброте, то под снимком: начальственный папа склонился над дочуркой, играющей на пианино. Доброта на службе — это уже настораживает!..

И велика была моя радость, когда после рейса у каждого моряка «Безупречного» я обнаружил след капитана. У Аверьяныча — это тетрадь стихов с посвящением. У Тараненко — письмо к его жене, готовящейся стать матерью. У электромеханика Самсоныча — двухчасовая полноличная беседа о его детях и внучке.

— Что же он о детях-то говорил?

— Что говорил?.. Да он и не говорил вовсе. Я рассказывал, а он слушал.

А у Васи Лысюка — это перечеркнутая красным карандашом, а потом перерешенная контрольная работа по навигации.

4. Как-то на «Безупречном» взяли с первого выстрела одинокого кашалота. Свежело. Волна поднималась к четырем баллам. Швартовали сраженного кита к левому борту.

Середа на мостике поеживался от ветра и злился. Он видел, как, несмотря на старания Аверьяныча, одна ошибка наслаивается на другую и тянет за собой время. Спешить в общем-то было некуда. Ветер крепчал, дело шло к шторму. Вряд ли сегодня попадется что-нибудь еще. Но швартовка всегда затягивалась. Когда выходили на группу и, взяв одного, начинали возиться со швартовкой, остальные киты уходили далеко, а то и вовсе скрывались за сизой чертой горизонта...

В последний раз внизу на палубе гроыхнула китшвартовая цепь. Поддутая сжатым воздухом туша кашалота прильнула белесым брюхом к левому борту.

Середа взглянул на часы, подвинул ручки машинного телеграфа вперед и, вдруг помрачнев, вернул телеграф на «стоп».

Люди на палубе изумленно задрали головы, уставились на капитана.

— Я хочу, чтоб все знали,— Середа встал на крыле мостика,— швартовали двадцать восемь минут! Почти полчаса...— Договорить он не успел.

Вадим Тараненко коротко взмахнул кувалдой. Звякнул стопор, и кит, освобожденный от швартов, мерно заколыхался на крепчающей волне.

Люди бросились к борту. Аверьяныч остановил их, собрал вокруг себя...

А в море уже четыре, если не все пять баллов. Китобоец развернуло по волне, и она, ударяясь о борт, то и дело обрушивалась на людей звенящей стеной брызг. Быстро потемнели, намокнув, альпаговки и ватники. Темной и скользкой стала палуба. Вадим Тараненко бросился на помощь боцману, затягивающему строп, поскользнулся и упал, стукнувшись локтем о швартовый ролик. Это, конечно, больно. Но Середа заметил, как, вскочив на ноги, Вадим виновато покосился на крыло капитанского мостика...

Второй раз кита ошвартовывали быстрее. Моряки узнали об этом, не уходя с палубы. Мокрые и измученные, они смотрели на мостик и ждали, что скажет капитан.

— Восемнадцать минут! — крикнул Середа.

Вадим Тараненко вновь поднял кувалду, зарясь на стопор.

— Отставить! — Середа перегнулся через борттик мостика, погрозил Тараненко кулаком.

Заштормило всерьез. На сегодня — хватит!

Люди расходились по каютам. Шли они не палубой, а поднимались на полубак и переходным мостиком до крыла капитанского, где стоял Середа. Каждый коротко взглядывал на капитана. И тогда Середа понял, почему моряки расходятся по каютам не кратчайшим путем. Усталым и промокшим, им обязательно надо было пройти мимо капитана. Может быть, просто для того, чтобы он увидел: нет в их глазах ни раздражения, ни укора. И они еще не такой швартовый аврал могут рвануть! В любую погоду. Потому что они за своего капитана...

Возникла такая любовь! Но ее не заметил присланный с китобазы инспектор. И потому в своем рапорте капитан-директору он сделал иной, но в общем-то правильный вывод: «Промысловые успехи экипажа «Безупречный» обусловлены усилением политико-воспитательной работы, опыт которой необходимо обобщить и отразить...»

ГЛАВА VIII

1. Судорожно вздрагивает китобоец. Звук выстрела, раскатисто замирая, взмывает в голубизну неба и, растаяв там, возвращается на палубу тихим звоном сорвавшихся с вант ледышек.

Все это Середа отмечает, не отводя взгляда от взбившейся розоватой пены справа от полубака. Только что там лениво перекатилась волной бурая, отмеченная глубокой белесой ссадиной спина кашалота. И сразу грянул выстрел.

Стрелял Вадим Тараненко. Он беспокоинно переступает ногами по деревянным планкам полубака, смотрит на волну, не отпуская поводка пушки.

Аверьяныч стоит за спиной ученика. Он вынул трубку, но не закуривает, ждет, смотрит туда же, на ушедший в розоватую пену льинь. Значит, и он не уверен...

Попасть-то Вадим попал. Середа успел заметить, как

бесшумно вонзился гарпун в бурую спину кита чуть выше ссадины, а потом уже под водой ухнула граната. Но, видно, понадобится добойный... Линь приходится понемногу потраливать. Где-то в глубине мечется раненый кашалот... Только не пошел бы он под винт. Такое не раз бывало. Вряд ли это осознанная месть кита. Хотя...

— Знаете, Анатолий Корнеевич, какую историю мне рассказал капитан Титуз? — Середа покосился на стоящего рядом старпома.

Шрамов пожал плечами.

— К сожалению, не знаком с товарищем Титузом.

«К сожалению!» — мысленно передразнил Середа Шрамова. — К счастью для Титуза. Он бы рядом с тобой умер от тоски!» — Середе расхотелось рассказывать. Правда, вот Вася Лысюк, заменивший Вадима у руля, сразу загорелся, ждет от капитана необыкновенной повести. Ладно!.. Васе он как-нибудь расскажет потом...

Середа напрягся. Вот сейчас выйдет кашалот. Линь со скрипом натянулся, стал, уходя вправо, подниматься над водой, роняя тяжелые розоватые капли.

Середа видит, как Аверьяныч молча забирает у Тараненко поводок пушки. И Вадим ничуть не артачится, понуро отходит к левой щеке полубака, не глядя на учителя, готовит шланг-пику со сжатым воздухом. Вадим не может смотреть на агонию кита. Середа давно приметил. «Это хорошо!» — думается капитану. Он и сам не любит добойных выстрелов. Да и Аверьяныч...

Раненый кит умирает трудно: с кровавыми громкими всхлипами и слезой в подернутых мукой глазах. Середа давно заметил, что Аверьяныч производил добойный выстрел, мрачняя до серости на лице, и потом надолго становился неразговорчивым...

2. Напрасно старпом Шрамов так холодно ответил Середе: «К сожалению, не знаком с товарищем Титузом». Прояви Анатолий Корнеевич хоть чуточку интереса, поведал бы ему Середа о том, как в одном из первых рейсов, когда охотились с норвежцами, загарпунил варяг большого испещренного глубокими шрамами кашалота. Стали его подбирать лебедкой к борту, чтобы добить вторым гарпуном. И тут норвежец испуганно закричал, замахал руками, остановил лебедку. А моряки

увидели, как с трех сторон, с носа и с обоих бортов, медленно подбираются к судну кашалоты. Десятки маленьких слоновых глаз были налиты кровью. А может быть, это отразилась в них кровь загарпуненного, громко всхлипывающего кита. Зловеще учащенные фонтаны вспыхивали со всех сторон над бурыми скатами тупых и могучих лбов. Казалось: грянь выстрел — ринутся десятки кашалотов на китобоец и только хрустнут шпангоуты...

И не решился норвежец нажать на курок пушки. Выхватив у замершего рядом помощника фленшерный нож, он перерубил линь...

Два кашалота с боков подплыли к освобожденному раненному, поддерживая его ластами, ушли с ним на глубину. Сразу могуче взмахнув хвостами так, что закипела вокруг судна вода, ринулись в черную бездну и остальные киты.

И никто в этот день не увидел больше ни одного фонтана.

А гарпунер-норвежец высосал тогда целую бутылку рома, а ночью плакал и громко молился по-своему...

3. Под самый вечер опять подвалила удача!

Пошли на фонтан.

Аверьяныч привычным движением ноги отбрасывает стопор пушки.

Кит выходит прямо под выстрел, в каких-нибудь пятнадцати метрах. Аверьяныч пригибается к прицельной рамке, но вдруг медленно выпрямляется, спокойно отводит пушку, концом сапога подбивает стопор.

— Чего-о? — Катков петушино взмахивает руками, бьет себя по костистым ляжкам.

— Прекратите орать! — обрывает механика Середа. Ему-то ясна причина происходящего.

Правее широкой спины кита, озорно молотнув хвостовиком, выскакивает чуть не весь и тотчас снова уходит на глубину голубоватый китенок.

— Она с дитем! — гудит в динамике разочарованный бас марсового.

— То-то! — задрав голову к марсовой бочке, кричит Аверьяныч. — Мог бы раньше заметить!..

Аверьяныч, недвусмысленно намекая, что на сегодня охота окончена, идет по переходному мостику, на ходу расстегивая альпаговку.

Никто ни слова. Только Каткова опять черт за язык тянет:

— Благородствуем! Рыцари!.. А японец за нами идет — все выбьет и спасибо не скажет!

Аверьяныч останавливается на крыле мостика, недобро смотрит на Каткова.

— Эх, Захар!.. И откуда в тебе эта зараза?

Самое время Каткову взорваться. Так раньше и было. Но тут Середа видит, как виновато-смущенно сутулится механик, слышит, как он, Катков, успокаивает Аверьяныча:

— Ну ладно тебе! Шуток, понимаешь, не понимаешь!

Когда часы показывают ровно двадцать, в приемнике раздается спокойный, чуть хриловатый голос капитан-директора. Кажется, Волгин где-то совсем рядом:

— Добрый вечер, товарищи капитаны, гарпунеры и все присутствующие. Обстановка складывается следующим образом...

Середа ловит себя на том, что сегодня ему приятно слушать голос Волгина. Даже чудится, особая теплота в голосе капитан-директора, когда тот сдержанно, но все же хвалит экипаж «Безупречного».

— Неплохо сегодня поработали на «Безупречном». Очень неплохо.

Выслушав мнение капитанов, Волгин довольно быстро вырабатывает решение:

— Флотилия останется в данном районе. Рыба еще есть!

Вот именно, «еще»... И, понимая шаткость промысловой обстановки, Волгин предлагает: «Надо кому-то осмотреть район острова С. Флотилия будет продвигаться генерально в остовом направлении. А район острова может оказаться перспективным! Но есть и риск прогуляться впустую. Итак, будут ли добровольцы?..»

Снова потрескивают в эфире сухие разряды. Середа молчит. Но ему становится жарко. Потому что ясен сейчас он для Аверьяныча со всей своей страусиной логикой. Конечно, на разведку надо пойти лидерам! Затянется пауза в эфире, и тогда Волгин прикажет идти к острову ему. Ему или Кронову. Потому что тут есть киты. Те экипажи, которые останутся, не прогорят, даже приблизятся к «Безупречному» и «Стремительному», если в районе острова ждет неудача.

Но Кронов тоже молчит. Тогда Середа, переглянувшись с Аверьянычем, нажимает тангенту микрофона.

— Станислав Владимирович, «Безупречный» готов разведать район острова.

— Добро, Юрий Михайлович!.. Но надо идти двум. Кто еще?

И сразу в эфир врывается голос Кронова:

— «Стремительный»! Готовы поддержать компанию «Безупречному».

— Даю добро и вам, Николай Николаевич!..— с явным одобрением звучит в приемнике. А Середа улыбается: «То-то! И Кронова, наконец, проняло!»

— Итак, к острову идут «Стремительный» и «Безупречный»,— продолжает Волгин.— Близко к берегам не подходить, не увлекаться! Район изучен мало. Так что осторожность и еще раз осторожность. На связь прошу—каждые четыре часа! Ходить только вдвоем. В пределах видимости. «Безупречный», подтвердите ясность за обоих!

— Все ясно! Близко не подходить...— Середа повторяет указание капитан-директора и тут же слышит скороговорку Кронова.

— Юра! Нажми короткую, дорогой. Я тебя возьму!.. Трек-трек-трек!— сердито трещит в эфире тангента капитан-директора. Сигнал означает: «Всем замолчать, будет говорить первый». И вслед за треском строгий голос Волгина:

— Алло, «Стремительный»!.. В который раз прошу избегать в эфире мальчишеских обращений! Больше культуры и меньше эмоций!

— Виноват, Станислав Владимирович!— покаянно вопит Кронов, и сразу:— Юрий Михайлович, нажми, пожалуйста!

— Значительно лучше!— теперь, видимо, едва сдерживая улыбку, говорит Волгин, и в эфире наступает тишина.

Середа кивает радисту, тот переключает антенну, нажимает на кнопку ключа. И повисает над «Безупречным» тонкоголосая песня морзянки, пеленг на которую ловит радист «Стремительного».

4. И сразу срывается шторм. Еще час назад едва уловимо, мягко и некруто накренилось судно, словно

кто-то сильный не зло, а скорее озорничая попытался плечом спихнуть «Безупречный» с курса.

Молчаливый человек в стеганом ватнике и шапке-ушанке упрям. Он быстро загнал метнувшуюся картушку компаса в заданное положение.

Тогда, спустя минуту, океан уже резче и злее ткнул кулаком тяжеловеса в левую скулу китобойца да еще и погрозил, поднявшись над бортом, зеленой лапой.

И снова победил человек — удержал корабль на узкой, перечеркнутой барашками тропе.

Все злее становится океан. Ярятся, тяжелеют его удары и, наконец, поднимается на дыбы и плашмя рушится на палубу первый мохнатый и урчащий зверь-вал.

Соленый дождь обдаёт рулевого. Долго дрожит от обиды и боли стальной корпус корабля.

Но картушка компаса снова подчинилась человеку...

Сбавив ход до среднего — так встречные удары воспринимаются мягче, — Середа спускается в каюту.

Еще в прошлом рейсе ему удавалось «расклиниваться» на диване старпомовской каюты и высыпаться в самые лютые штормы.

Теперь, чуть заштормит, Середе не уснуть. Как ни пристраивайся на диване — ничего не получится. Это новое беспокойство родилось еще в Средиземном, в первый шторм. Оно удивило и обрадовало. Были, были крепкие передрыги и в тех рейсах, когда он ходил в помощниках. Но в самые трудные минуты, если вдруг сваливало на борт, да так, что казалось — чиркнет сейчас реей по волне, или тревожный звонок из машины возвещал, что рассыпалась схема, а минуту назад казавшийся далеким айсберг неумолимо и теперь стремительно надвигался, — всегда можно было оглянуться на капитана. Теперь оглядываться было не на кого. Теперь люди оглядывались на Середу.

В этом рейсе и пришло оно, удивительное чувство слитости с кораблем. Хлобыснет волной, задрожит частой дрожью корпус, и тотчас напрягутся мышцы собственного тела, и на секунду сожмется сердце, словно ударили по тебе. И пусть ты знаешь, что такой накат еще не страшен, пусть всплывают из глубин памяти убедительные данные о запасе прочности — все равно каждый хлесткий удар волны, каждый стон шпангоутов отзовется собственной болью.

И не уснуть Середе, хоть и шторм пока вполне ординарный, и все необходимые распоряжения отданы, и нет на сотни миль вокруг ни мелей, ни рифов, и на мостике вглядывается в гремящую мглу толковый парень — второй помощник Володя Курган.

«Как-то сейчас у Кронова? — думает Середа и сам же себе отвечает: — Да так же, наверное. Только бьет его меньше, потому что идет на одной машине, поджидая оставший миль на десять «Безупречный».

Середа вспоминает о переданном ему неделю тому назад, когда они обменивались со «Стремительным» кинофильмами, письме Кронова. Какая-то совестливая червоточинка угнездилась в кроновской душе. Правда, выражалась она в том, что Кронов изо всех сил доказывал правомочность броска к группе кашалотов, когда он выхватил кита под самым форштевнем «Безупречного». «Мы их заметили одновременно!», «Я тоже ждал выхода и был, пожалуй, ближе тебя», — подобными заверениями пестрело полторы страницы. Потом Кронов, как бы между прочим упомянув, что сам готов был через секунду отвернуть, выражал восхищение стремительным отворотом Середы. «Поверь мне, Юрик, мы все ахнули! Такому четкому маневру позавидовал бы сам Волгин. Высший класс!»

И, наконец, стараясь окончательно добить ссору, Кронов писал о «дружбе домов». Даже пересылал куsocек Иринино письма.

«Ты прочти, прочти, Юра, сам, как Иринка почувствовала и поняла Катю! Меня это чертовски тронуло, честное слово!»

Тут же был подколот обрывок, вернее отрезок письма кроновской супруги. Аккуратно, видимо, бритвенным лезвием отрезанная четвертушка тетрадного листа в клетку — все то, что Ирина посвящала рассказу о Кате. Середа с трудом разбирал мелкий и очень своеобразный почерк. «Удивительно цельная...», «...мне бы такое трудолюбие!!!», «Для нее наука — жизни!»

«Да, да... Все это, конечно, правильно».

В тот же день Середа получил доставленное первым танкером письмо Кати.

Прочел и запрятал его. Старался не думать о нем, не вспоминать. Иногда это удавалось. Особенно, если день проходил беспокойно и усталость к ночи валила с ног. Но сегодня ему подумалось: «Да может, прочел

в злую минуту?» — И Середа вдруг чувствует озноб. Он торопливо ищет в кармане брюк утонувший в крупинках табака теплый ключик, рывком подходит к столу и извлекает из сразу заплывавшего ящика надорванный конверт...

Письмо как письмо: «Здравствуй, любимый!..» В конце стоит привычное: «Крепко целую» и даже «Береги себя, мой родной!» Да и в содержании... Середа думает — прочти он послание Кати даже такому ясновидцу, как Аверьяныч, тот ничего не обнаружит. Пожалуй, еще посчитает блажью обиду капитана.

«Пора бы тебе кончать антарктическую эпопею, — пишет Катя. — Теперь ты капитан. Честолюбие твое вполне удовлетворено! Все ждут от тебя большего. Только не злись, дочитай. Ты меня прости, но Антарктика начинает на тебя действовать отрицательно. Я понимаю: тебе там нелегко. Но кому нужны твои мучения? Слава богу, я у тебя не из алчных на деньги и тряпки... К тому же ты страшно огрубел. Куда девались твои нежность, чуткость? А я тебя люблю именно таким, каким ты был в наши первые, трудные, но счастливые годы. И, ради бога, не доказывай мне, что не можешь жить без антарктических рассветов и тропических закатов! Тебе тридцать один, милый, поздно переквалифицироваться на поэта. Не уподобляйся Ирине Кроновой. Не могу не дивиться ее легкомыслию. Ну ты сам подумай: потерпеть такое фиаско на театральном поприще и опять туда же! Я ее отлично устроила лаборанткой в нашем институте. Могла бы с осени поступить на заочный, она не глупа. Но нет, вселился в нее бес Мельпомены! И не боится провала, стрекоза! Аргумент более чем смехотворный: «Тогда я не любила, а теперь люблю, значит, все будет хорошо, все получится!» Ну ты подумай! А ведь вроде не дура...»

— Сама ты дура! — в сердцах вырывается у Середы, и тут же ему кажется, что в каюте звучит Катин вздох: «С тобой стало невозможно разговаривать. Но грубость, мой милый, это еще не аргумент».

«Да, конечно, не аргумент. Но аргументов ты тоже не слушаешь. Или... я не умею находить их?»

5. А можно ли аргументировать любовь? Любовь к морю, например? Почему моряки о такой любви никогда не говорят? Сколько раз за дружеской чаркой

спрашивал я об этом. И повисали мои расспросы в густом дыму да и таяли вместе с ним.

Может быть, потому и пронесла меня нелегкая три раза вокруг Антарктиды, что уж очень хотелось узнать: а есть ли такая любовь? Как она приходит?

И вот теперь молчу я, когда спрашивают: «Ну, а что там, в море-то»? Я молчу, потому что боюсь — не поймут меня.

Удивительное чувство охватывает тебя, когда тает, тает за кормой синяя кромка родной земли. Ты чувствуешь себя счастливым и несчастным. Несчастливым потому, что становится страшно от мысли, что долго-долго (а может, никогда больше!) не увидишь вот эту еще вчера, казалось, будничную землю, — и счастливым от захватывающего откровения любви к ней. И вдруг понимаешь, что, начиная свой дальний путь, ты устремлен к родному берегу! «Отплывая, они уже начинали возвращаться...»

Ну, да это еще не море. Это, пожалуй, объяснимо. А в самом море...

Когда мы с Юрием разгадывали ночами в его старпомовской каюте разные «почему», он начинал так:

— ...Почему-то, когда тихая звездная ночь над океаном и можно все звезды разглядеть и, будь время, пересчитывать, кажется, что ты на груди у земли. И вовсе ты не маленький. Даже, наверное, видят тебя с какой-то планеты. Видят и понимают. Правда?

— Правда.

— ...А ты любишь смотреть в солнечный день под форштевень? Там от брызг вырастает радуга и катится над белой пеной разноцветным колесом. Ты замечал?

— Замечал.

Но чаще говорил он о таком, что привиделось или придумалось только ему. Но и это была правда. Он слышал, как басовито поет на ночной вахте моторчик в репитере гирокомпаса. Поет и подбадривает рулевого: «У-у, все бу-у-дет хо-о-о-рро-шо, у-у-удачно». А лаг стучит: «Итак, идем! Итак, идем! Итак, идем!...» А ветер в снастях перед штормом? Юрий утверждает, что по его первой предштормовой песне можно угадать, на какое время разгуляется океан, каких баллов достигнет...

— ...А ты замечал, что люди в море становятся немногими другими?

— Лучше?

— Красивее. Как-то я шел по городу с Катей. Увидел Кечайкина и окликнул. Ну, подошел он, слегка под хмельком. Первым протянул Кате руку, что-то там бормотал. Катя удивилась потом, что это я так обрадовался Кечайкину. А я ведь видел его на мостике. Знаешь, когда хорошо заштормит — интересно понаблюдать за Кечайкиным. Он смотрит на бегущий навстречу вал с чуть заметной улыбкой. И никогда не прячется от брызг. Они на его лице не держатся. Они закипают и испаряются. Правда, правда... Когда китобоец взлетит на гребень, Кечайкин зачем-то бросит по бортам короткий насмешливый взгляд, словно говорит: «Ну что? Взяли? Все равно моя сверху». А когда судно зароется, он звездам подмигивает: не робейте, мол. Сейчас выберусь. Ты слышал, чтоб моряк ругал шторм?

— Слышал.

— Ну, это... Ради красного словца. Правда, штилевой океан тоже чудо! Тогда люди добреют. У всех глаза делаются синими-синими. Про любимых хорошо рассказывать в штиль. И про детей...

Был бы я сейчас рядом с Юрием, мы бы многое вспомнили. И как поет красками на закате небо в тропических широтах, и как излучают синий холодный свет айсберги и притягивают к себе судно, словно магниты. И как огненными змеями извиваются в Атлантике на палубе струйки черной забортной воды...

6. Но Юрий один. Он прячет письмо жены, задумчиво смотрит на водворенный портрет Екатерины. Нет, он не корит ее. Он ругает себя за вспышку в день отхода: «Даже портрет снял. Мальчишка!.. Катя не может понять... Значит, не могу объяснить. А грубость, конечно, не аргумент. Нет, не находка я для семейной жизни. Наверное, любой было бы невыносимо». Середе становится жутко: сплошные ссоры перед отходом! А как было не ссориться? Согласиться? Да, только тогда разглаживалась у Катиного рта короткая морщинка.

«Нет! Ты стал совершенно невозможен!» — вздохнув, говорила Катя, отворачивалась и сразу, словно особое реле у нее срабатывало, засыпала. А Середа еще долго ворочался, вставал, закуривал и снова ворочался.

«Нет, не находка я, не находка...»

Но вдруг ему вспоминается несколько дней, проведенных минувшим летом у родных в Подмоскovie. Катя

не могла поехать из-за институтских дел, и в глубине души Середа был рад этому...

...Он даже не помнит, как звали эту женщину. «Не то Аня, не то Таня?.. Нет, как-то иначе».

7. Она сошла с электрички изрядно навьюченная пакетами. Беспокойно осмотрела быстро опустевшую платформу. Начинался дождь. Серый асфальт платформы закурился пыльными дымками, быстро почернел. Женщину никто не встречал. Она медленно двинулась по раскисающей тропинке к поселку.

— Разрешите! — Середа решительно отнял у нее чемодан и самый большой пакет.

— Спасибо, но... может быть, вам вовсе не по пути? Я иду в Озерный.

— По пути! — уверенно соврал Середа.

В Озерном дождь припустил вовсю, и обман обнаружился. Женщина вспыхнула, но взглянула на Середу благодарно.

В чистенькой небольшой мансарде ее ждали мать и сын — задумчивый мальчик лет семи, горло закутано шарфом.

Слышно было, как сердито барабанит по крыше дождь.

Мальчонка смотрел на Середу с интересом, но настоятельно. Обедали с водкой. И было удивительно тепло в этой скромной московской семье, где уже давно не сидел за столом мужчина. Чуть захмелевшая мать, когда сказала об этом, смахнула слезу, но, встретив укоризненный взгляд дочери, заговорила о другом.

Никогда не был Середа таким разговорчивым, как в тот вечер. Никому он не рассказывал так о любви к морю. И женщина не требовала от него никаких аргументов. Она даже ни разу не перебила его. Только уже к полуночи сказала: «Господи, какой вы счастливый!»

А утром, заполнив альбом мальчонки рисунками китов, китобойцев и айсбергов, Середа уезжал в Москву.

До станции Середу провожала она и мальчик, не выпускавший его руки. Грусть расставания была тихой и светлой, как начинавшийся день. Тихо светилась вымытая ночным дождем зелень. Ртутно поблескивали убегающие за лесок рельсы. Обиженно-удивленно попискивала птаха в придорожных кустах. Середа даже

не помнит, что он тогда сказал. Может быть, он молчал как раз. Только она неожиданно всплеснула руками и остановилась.

— Господи! Ну до чего же с вами легко!..

— Правда?

Ее щеки вспыхнули, она быстро пошла вперед. Из-за леса взлетел тревожный крик электрички...

«Как же все-таки ее звали?»

8. Негромкий стук прервал воспоминания Середы.

— Догнали Кронова! — чуть приоткрыв дверь, доложил Володя Кургаң.

Серета натягивает альпаговку, нахлобучивает ушанку и идет на мостик.

Возле радиорубки Серета слышит приглушенный голос кроновского радиста: «Алло, «Безупречный»!.. Мастер просит перейти на короткую. Как поняли? Прием!..»

Серета, переждав крен, рывком вваливается в радиорубку, включает передатчик на короткую связь. Чуть прогрелись лампы — пригибается к микрофону:

— Алло, «Стремительный»! Давайте вашего мастера!..

Кронов, видимо, рядом с радистом, ответил сразу:

— Добрый вечер, Юра! Не спишь?

— Добрый вечер. Не сплю, как видишь.

— Видеть-то я тебя давненько не видел, а вот слышу хорошо. Ты меня как? Может, потише можно говорить?

Серете кажется — голос Кронова гремит над всей Антарктикой.

— Вполне можно тише.

— Слушай, Юрка! — Теперь Кронов шепчет с присвистом. — Я ведь ругаться хочу! Кто тебя за язык тянул?

— В смысле?

— Ну, с этой разведкой? Ведь погорим, как шведы! Вот увидишь!.. А там рыбешка осталась... И надо было тебе высунуться!

— Опять только о себе? — перебивает Серета. — Я думал, ты что-то понял!

Кронов в ответ кричит:

— Ты о людях своих побольше думай! О людях!

Серета вспыхивает и, пригнувшись к микрофону, говорит тихо, для одного Кронова:

— Ты — идиот! Нас бы все равно послали.

— А вот это и неправильно! — взрывается Кронов, и снова голос его гремит над океаном. — Передовикам надо помогать, а не гонять их черт-те куда. Послали бы к острову «девятку» с «пятеркой». Им все равно гореть! Согласен?

— Не очень!

— Да что там, не очень!.. Добро! Ты вот что... Быстренько осмотримся — и назад, если бублик потянем. Идет?

— Посмотрим. Ты извини — я пойду прилягу. Что-то неважно мне.

— Добро! Трахни сто грамм — к утру пройдет. Привет!..

— Привет!.. — Середа с изумлением прислушивается к остро потянувшей боли где-то в боку, тихо присаживается на диван... кажется, прошло... Надо подняться на мостик. Глотнуть ветерка.

Уже на трапе его обдает соленым каскадом брызг.

За штурвалом, над светящимся лимбом гирокомпаса ежится невысокая фигурка практиканта мореходки Васи.

«Вася, Вася-Василек!..» — Середа старался держаться с практикантом, как со всеми, даже иногда баритонил нарочито: «Чтобы не размякнуть парню!» Но всякий раз как-то щемяще тепло становилось на сердце при взгляде на тоненькое, щедро забрызганное веснушками совсем мальчишечье лицо.

9. Он и не подозревал, что жажда отцовства схватит к тридцати с такой жестокой силой: до скрипа зубного, до дрожи в руках при пронзительном мальчишеском крике во дворе, до влажнеющих глаз при встрече с белобрысыми и чернокудрыми, косолапо вышагивающими рядом с отцами.

Екатерина со свойственной ей проницательностью это быстро заметила и сделала своим последним козырем: «Сына надо растить, мой милый!.. Причем радиogramм для этого дела не всегда достаточно...»

И однажды Середа сдался. Екатерина была в ту ночь трогательно нежной. Она не ушла к себе, осталась рядом — тихая, умиротворенная. Он осторожно перебирал ее локоны, целовал мокрые и теплые глаза и до самого утра слушал ее вкрадчивый дрожащий шепот. О том,

как они будут растить Сергея. Ну, может быть, Ларису... Главное, что они будут вместе растить!..

Ну и грянул же гром через несколько дней, когда, стыдливо пряча глаза, Середа стал собирать чемодан к новому рейсу! И второй раз обвинила его Катерина в «предательстве мечты»...

10. Вася-Василек, стоя на руле, громко посапывает носом. Видно, от усердия.

Миля на две впереди швыряет ввысь, а потом начерно закрывает волной огни «Стремительного», словно танцует замысловатый танец близкое, но незнакомое созвездие.

— Юрий Михайлович! — в штормовом хаосе звуков голос Васи звучит совсем тоненько. — Юрий Михайлович, а кто у нас флагман? Вы или Кронов?

Середа улыбается, опускает руку на мокрое плечо рулевого.

— Фаддей Беллинсгаузен!.. Слышал о таком?

На секунду рулевого берет оторопь. Но вот он уже смеется и быстро загоняет картушку на ускользнувший румб.

— Значит, мы одинаковые?

— Одинаковые, Вася, одинаковые!..

Даже сквозь ватную толщу куртки Середа ощущает трогательную худобу еще совсем мальчишеского плеча.

ГЛАВА IX

1. На берегу, в Управлении китобойной флотилии, внимательно следили за лидерами промысла «Безупречным» и «Стремительным».

За Середу держали отдыхающие в резерве молодые старпомы и недавние пенсионеры. Старичков грела вновь засиявшая слава Аверьяныча. Молодые штурманы недобро косились на кадровиков и с повышенной громкостью заявляли: «Все понятно! Нечего до лысины штурмана в помощниках мариновать!» На что «болевшие» вместе с ними отставные мореходы покачивали головами: «Антарктику только опытом и возьмешь! Если молодо-зелено у пушки — толку не будет!»

Два капитана, тоже резервники, считали исход соревнования между «Стремительным» и «Безупречным» предрешенным. Один из них, за десять рейсов так обожженный ветрами, что и береговой год не выбелил скуластого лица, послушал-послушал взволнованных старпомов да и рассмеялся, показывая крупные желтые от непрерывного курения зубы. «Рано вы Кронова на бакштов бережете! Не упустит он своего!»

Ладно! Ждать недолго. Уже март. Там, в Антарктике, черными ночами, снежной круговертью, а по утрам стеклянной наледью на вантах и леерах наступает зима. А у нас бьются с тихим звоном об асфальт подтаявшие сосульки, чернеет на реке лед и виснет в потеплевшем воздухе щемящее чувство ожидания и тревоги.

2. Вчера, часов около восьми, когда медленно синел вечер, пришла ко мне неожиданная гостья.

Екатерина Середа расстегнула шубку, откинула полу и тяжело упала на стул.

Я хотел было зажечь большой свет, но Екатерина остановила.

— Не надо! Давай посумерничаем...

Не ожидал от нее такой лирики. Сел, встретился с ее взглядом. Глаза глубокие, голубовато-серые. Ресницы густые, короткие. Когда она их чуть опускает, глаза темнеют. Но не становятся теплей. Смотрит она внимательно, только с какой-то безнадежностью, что ли. Смотрит и даже улыбается уголками губ, а взгляд тоскливый, словно говорит: «Ничего-то я не вижу в тебе хорошего, да знаю, что и не разгляжу...» Не очень скромная мысль приходит мне в голову: «Интересно, теплеют эти глаза, когда ее целуют? Наверное, она тогда закрывает глаза».

Мне становится не по себе, И от взгляда ее, и от мыслей своих. Я отвожу глаза.

— Все пишем? — спрашивает Екатерина. — Совращаем юношей китовой романтикой? — И, не дождавшись ответа: — Юрий что-нибудь шлет? — спросила вроде бы между прочим, словно так, про общего знакомого. Но задрожала у нее рука, когда потянулась к сигаретам. Хотя, может быть, ей просто неудобно было тянуться. Я пододвинул сигареты.

— Была радиограмма. Дней десять назад. Все в порядке.

Екатерина усмехнулась:

— Дней десять! Я вчера получила.

— Что-нибудь случилось?

— Все в порядке, как ты говоришь.— Она постучала сигаретой, вдруг отложила ее.

— Отчего ж тогда беспокойство?

— Какое беспокойство? — Она пожала плечами.— Дичь какая-то!

— Какая дичь?

— Антарктическая. Твоя любимая... Расскажи что-нибудь про нее.

— Про кого?

— Про Антарктику.

И тут я понял, что Екатерине сегодня тяжело. Только вот отчего?

Кажется, я рассказывал ей про штормовой март.

Екатерина слушала-слушала, потом сказала:

— А знаешь, Александр Алексеевич поручил мне сделать сообщение о нашей работе на конференции, в Москве.

— Какой Александр Алексеевич?

— Мой руководитель.

— Значит, с победой?

Екатерина даже не улыбнулась.

— С победой,— спокойно и как-то совсем безрадостно согласилась Екатерина.— Был бы Юрий со мной! Вдвоем нас бы хватило на большее!

— А в море людям не хватило бы капитана Середы. Или это уже неважно?

— Сейчас не времена Колумба! Его сверстники полетят в космос. Вот где открытия! Я понимаю разлуку ради научного подвига, риск ради этого понимаю. Я бы не заикнулась... Но который год подряд уходить ради китового жира!

— И жир нужен! И хлеб, и колбаса, и картошка! Обалдели совсем! Подавай им звездную капусту! — Я почему-то раскричался.

Екатерина покачала головой.

— Как ты все мельчишь!.. А еще туда же, в романтики!..

— Ты меня не поняла.

— Да что там! Может быть, ты и прав.

— Перестань!

— Что «перестань»?.. Ты в самом деле, наверное, прав... Жизнь проходит. И до подвига далеко, и любовь... А!..— Екатерина спрятала руку под шубку, медленными круговыми движениями растирала грудь...— Ты извини. Ворвалась...

— Ну и хорошо!

— Ничего хорошего... Просто что-то сердце болит.

— Дать воды?

Екатерина усмехнулась.

— Воды?.. Водка у тебя есть?

— Нет, но я сбегаяю.

— Не надо! — Она поднялась.— Проводи меня, если не трудно.

— Ну конечно!..

Мы шли по тихим синим улицам. Казалось, что весна совсем рядом. Где-то в засаде. Вон, наверное, за тем домом. Прячется в черных ветвях уже оттаявшего сада.

Прощаясь, Екатерина сказала:

— Ты, наверное, будешь смеяться, но... Уверена! Что-то случилось у Юрки!

— Да перестань!

— Точно!.. Вот я и мечусь... Ты не думай — это никакой не идеализм. Просто мы еще не взяли за биотоки как следует. Хотя... Вот послушай, что делает профессор...

«Черт бы тебя побрал!» Ни тревоги, ни боли уже не было в ее голосе. Не услышал я и Юркиного имени, и сердце у нее больше не болело. Зато двадцать минут она бомбила меня лекцией о необыкновенных свойствах биотоков, над проблемой которых она, возможно, будет работать с Александром Алексеевичем.

И такая обида за Юрку взяла меня — впору ехать в Подмоскowie и в поселке Озерном отыскивать женщину с золотушным мальчиком, имени которого Юрий мне так и не назвал.

ГЛАВА X

1. Кронов проснулся в половине шестого по «внутреннему будильнику». Так он называл способность подниматься в заданное перед сном время. Способность была действительно редкой. «Будильник» не только начисто

прогонял сон, но порой вносил мудрые коррективы в задание. Вот и теперь он поднял Кронова на полчаса позже задуманного.

«Почему?..» Еще потягиваясь в кровати, капитан объяснил и оправдал задержку с пробуждением. Подняться надо было за полчаса до открытия острова. По хлестким ударам волны, по тяжелым каплям на стеклах лобовых иллюминаторов Кронов понял: усилился встречный ветер. Китобоец идет на волну. Значит, остров откроется позже.

Кронов отшвырнул одеяло, вскочил на ноги. Почти машинальным движением сорвал шарпающий по дверце рундука эспандер, рывком растянул пружины и круто повернулся на ворсистом коврике. Коврик смялся под ногами.

— Ну, здравствуй, Ирина!..

С внутренней переборки смотрели на него чуть раскосые глаза. Это была любительская, но удачная фотография, сделанная в день отхода радистом «Стремительного» Костей Галичем. Ирина была «схвачена» Костей неожиданно, когда спускалась с мостика. Наверное, в ту секунду рванул черноморский ветерок, и она торопливо пригнулась, придерживая у колен вздувшуюся юбку, испуганно вскинув до этого восторженные глаза. И столько искренности и женственности было во всей ее фигуре, столько угадывалось в каждом изгибе руки, в смутных очертаниях стремительно стиснутых ног, что Кронов не раздумывая заменил парадный профессиональный снимок, на котором Ирина сияла немного рекламной красотой, на молчаливый дар смущенного радиста.

Кронов еще раз растянул эспандер, да и застыл так... Почему-то не пришло сегодня вместе с пробуждением привычное ощущение приподнятости. Что-то мешало этому! Какой-то неприятный осадок, за ночь не смытый сном.

Кронов повесил эспандер, принял холодный душ, зябко поеживаясь, торопливо оделся и вышел из каюты.

В коридор из-за подрагивающей двери каюты гарпунера доносился плеск воды, хриплые рыки Бориса Бусько.

«Проснулся, чертяка!» — Чуть стукнув по дрожащей фанере, Кронов приоткрыл дверь.

— Здоров, Боря!.. Чего вскочил-то ни свет, ни заря?..

Бусько молча вскинул руку с зажатой в тяжелом кулаке зубной щеткой.

«Злится, чертяка!» — понял Кронов.

— А между прочим,— сказал он, виновато опустив голову,— я должен повиниться.

Бусько перестал чистить зубы, чуть приподнял голову.

— Поставил я вчера, товарищ гроссмейстер, пока вы в каюту за «Беломором» бегали, слопанного вами коня обратно на доску. А вы, вернувшись, не изволили заметить.

Бусько махнул рукой, отвернулся к умывальнику.

«Всерьез злится! — Кронов ухмыльнулся, прикрыл дверь в гарпунерскую каюту.— А уж кому-кому, а Боре надо бы поблагодарней относиться к своему капитану. Зазнался гарпунщик!..»

Теперь по пути в кают-компанию Кронов понял, отчего сегодня не приходит она, приподнятость! Вчера на диспетчерской перекличке, как только Волгин предложил назваться второму добровольцу идти на разведку к острову, Кронов сразу выпалил: «Стремительный» поддержит компанию!..»

Бусько, негромко чертыхнувшись, поднялся и вышел из радиорубки.

«Ах ты...» — Кронов сразу вспомнил, как утром Борис поделился с ним планом уйти далеко на север. «Вот увидишь, возьмем «собак»!» — Так гарпунщик называл сейвалов, сельдяных китов. Вероятно, за их скорость в передвижении и длинные вытянутые морды. Свое предложение Бусько подкреплял затертой на изгибах картой. В северной части карта пестрела буквой «с» — так отмечались скопления сельдяного кита. Кронов легко согласился с предложением Бусько. «На север, так на север!»

И вот забыл! Забыл и вызвался идти к острову вместе с «Безупречным». «И надо было Юрке вдруг высунуться! Купается в своем рыцарстве!..»

Весь остаток вечера Кронов задабривал Бусько. Даже в шахматы старался проиграть. Но гарпунер вел партию на редкость невнимательно и, потеряв туру, резко смахнул с доски оставшиеся фигуры.

— Не психуй, Боря! Сегодня я, а завтра ты...

Бусько молчал, разминая новую папиросу. В кают-компании было шумно. За соседним столом с оттягом хлопали костяшками домино, в углу старпом Шалва Ченчелидзе, отравивший в рейсе фиделькастровскую бороду, и крепко располневший боцман дулись в нарды — довольно азартную игру, занесенную на промысел старпомом из родного кавказского городка. И, может, всего-то на четверть минуты стих в кают-компании гомон. Но именно в эту четверть Бусько, затянувшись папиросой, неожиданно сказал:

— Знаешь, чего тебя к острову потянуло?

— Ну?

И тогда стало совсем тихо. Кронов понял: все ждут, что скажет гарпунер.

— Боишься ты от Середы оторваться. Вдруг ему у острова посчастит? — выпалил гарпунер.

Кронов расхохотался. Это ему удалось. Потому что гарпунщик брякнул, конечно, ерунду. «Что значит «боюсь»? Не хочу, чтобы Юрий отрывался, — это другое дело». Продолжая смеяться, Кронов оглянулся на Ченчелидзе.

Нет, не улыбнулся старпом. Не улыбнулся и не опустил черных и блестящих, как'маслины, глаз.

Остальные моряки не поднимали голов.

— Ну, вот что... — Кронов встал. — Я боюсь не Юрку. Я боюсь, что «собаки», помеченные на твоей карте, привиделись тебе с похмелья!

Уже по пути в каюту Кронов пожалел о сказанном. «Удар-то ниже пояса!» Бусько, было время, крепко закладывавал. Так, что поговаривали о списании гарпунера на берег. Но вот уже года два Борис что в будни, что в праздник — в рот не берет! Даже от положенных ста граммов отказывается к великому удовольствию Шалвы Ченчелидзе.

Забравшись в постель, Кронов с обидой подумал, что в этом рейсе как-то неуютно в экипаже. Почему?.. Началось еще в январе, когда выхватили из-под носа Середы кашалота. Шалва уже тогда вызверился: «Нэхорошо получилось, кэп! Нэхорошо!»

«Нэхорошо»? А благодарности да премии каждый месяц отхватывать хорошо? Для одного себя стараюсь, что ли?.. Эх, люди!.. Ну, ничего, ничего...»

Кронов силился, но сначала никак не мог понять: отчего это так долго и мучительно думается над каждой

размолвкой то с Бусько, то с Ченчелидзе. Бывало — схватывался покрепче с Юрием Середой, с другом. А все равно засыпал сразу... «Устал, что ли?.. Что я такого сделал? Перед кем оправдываться?..»

И вдруг понял. Перед ней. Перед Ириной... Одно дело отработать документ начальству. В нем все будет правильно. Даже вырванного кашалота можно «замотивировать» вполне! А ей?.. «Совру, а она поймет!» И Кронову стало не по себе. И от этого еще жарче разгоралась обида и на Бусько, и на Ченчелидзе, так точно угадавших суть рывка к острову. «Ну, ничего, ничего!.. Завтра, когда у камней придется пошнырять, еще посмотрим, у кого стакан заячьей крови обнаружится! Там стихи не помогут... Боюсь оторваться! Придумал тоже!.. Не боюсь, а не хочу. Конец промысла! Тут один раз повезет — и все. Считайте бабки!» И, совсем успокоив себя, Кронов уснул. Крепко, без сновидений. Твердо зная, что внутренний «будильник» не подведет и поднимет его за полчаса до подхода к острову...

2. «Открылся остров!» — прохрипел динамик голосом Ченчелидзе.

Кронов быстро дожевал бутерброд, обжегся большим глотком чая и, нахлобучив ушанку, поспешил на мостик.

Впереди серым приплюснутым облаком нечетко вырисовывался остров. Над китобойцем металась молчаливая стайка пятнистых птиц — черные замысловатого рисунка кляксы не белом оперении. Промысловики называют их капскими голубями. И правда, похожи птицы на голубей. Только лапки перепончатые, как у чаек. Иногда стайка низко зависала над самым мостиком. Тусклыми бусинками глаз птицы с любопытством оглядывали слишком подвижных пингвинов на подрагивающей спине незнакомого чудища...

Совсем рассвело, хотя солнце еще пряталось в бело-розовой пелене тумана. Надо искать фонтаны! Это трудно, когда океан неспокоен. Наверно, поэтому на мостике «Стремительного» было необычно молчаливо. Ченчелидзе обшаривал океан биноклем, специально приспособив к нему деревянную ручку. Получился бинокль-«лорнет». Держать его можно было двумя руками на уровне груди — так руки не затекали, хоть всю вахту не отрывайся от бинокля.

— Во-он!.. — матрос, застывший у левого переднего угла мостика, потянулся было рукой вперед, словно показывая вспыхнувший фонтан, и тут же осекся.

— Нэ то «вон»! — не отрываясь от бинокля, подтвердил ошибку матроса старший помощник.

Кронов сразу понял, что за всплески подвели наблюдателя. Камни! Когда океан спокоен, они прячутся под полированно-гладким слоем воды, может быть, веками поджидая свою жертву. Редкие, очень редкие суда подходили вплотную к угрюмому острову. Только в последние годы капитаны китобойных судов узнали о таящихся вокруг антарктических островов подводных клыках. Многие из них теперь нанесены карандашными штрихами на карты. А еще совсем недавно моряки дивились астрономическим цифрам глубин. И кто поручится, что все камни нанесены?..

«А все-таки надо подойти поближе... — думает Кронов. — Дымка! Что там под берегом — и не увидишь!»

— Право пятнадцать! — командует Кронов.

Шалва Ченчелидзе бросает на него короткий недоверчивый взгляд, но Кронов вроде бы и не замечает его, оглядывается назад, за плоский срез трубы.

«Безупречный» держится значительно мористой.

«Юра верен себе!» — усмехается Кронов.

И сразу в динамике слышится взволнованный голос Середы:

— Алло, «Стремительный»! Вижу всплески у камней. Вы их видите?

«Тоже мне — флагмана играет!» — молча вскипает Кронов. Еще секунду назад принятое решение отвернуть от острова, идти параллельно, теперь отброшено. Кронов наклоняется к переговорной трубе, ведущей к радисту, негромко свистит...

«А-а-а», — рыком чревоушителя ответила труба.

— Успокойте «Безупречный»! Скажите, что камни хорошо видим.

Но Середа не успокаивается. Потому что снова хрипло трещит динамик и слышен настойчивый голос капитана «Безупречного».

— Алло! Эхолот у вас включен? Обязательно включите эхолот! Падают глубины!

— А, черт! — Кронов набрасывается на Ченчелидзе. — Почему не включили эхолот?

Глаза старпома недобро блеснули, задрожали потрескавшиеся на ветру губы. Но Ченчелидзе промолчал, бросился по трапу вниз, в радиорубку.

— Одерживай! — уже спокойно командует рулевому Кронов и тут же спрашивает: — На румбе?

— На румбе пятьдесят пять!

— Так держать, вправо не ходить!..

— Есть, так держать, вправо не ходить!

Теперь «Стремительный» идет вдоль острова, совсем близко от ледового припая. Китобоец кладет градусов на двадцать с борта на борт, и Кронов слышит, как, позванивая, перекатываются на палубе китшвартовые цепи. Это непорядок! Но Кронов не успевает даже взглянуть на боцмана. Толстяк боцман уже гремит коваными сапогами по трапу. И вскоре, еще раз зазвенев всеми звеньями, цепи замирают.

Пустынно у берегов острова. Теперь хорошо видна его северо-восточная оконечность. Ледяной глыбой висит она над черной, чуть парящей водой. Пустота! Даже птицы куда-то делись!..

«Неужели прогар?» — Кронов пригибается, нервно закуривает. Ченчелидзе вернулся и пальцами растирает красные круги под глазами — следы от жестких ободков бинокля.

Сразу за ледяным мысом на китобоец обрушивается вал; седой от кипяточной взмыленности на гребне. Уже не на двадцать, а на все тридцать пять градусов кренится «Стремительный» влево, потом, подрагивая, медленно выпрямляется и, резко качнувшись вправо, принимает бортом новый удар.

— Право на борт!..

«Стремительный» огибает остров, чтобы осмотреть прибрежные воды с другой, юго-восточной стороны. Кронов знает, что это почти бесполезно. Там всю разгулялся ост-норд-ост. А кит всегда уходит от штормовой погоды. Но чем черт не шутит! К юго-восточному берегу наверняка прибило штормом размытые небольшие айсберги — рапаки, битый «паковый» лед. А киты любят пастись у айсбергов, заползать в лед. Старые китобои утверждают, что опресненная льдом вода помогает киту отделаться от присосавшихся полипов. Стараясь избавиться от зудящих паразитов, кит, бывает, выскакивает во весь свой рост темной оплывшей свечой и плашмя плюхается в океан...

Когда остров обогнули и пошли вдоль, к его южной оконечности, волна ярилась только с левого борта. Ветер гнал ее к белому, с проталинами берегу. Гнал ветер и упрямые, не покорившиеся рапачки. Подразмытые водой, повыщербленные злыми порывами, самой причудливой формы они стали легкими и уже не могли противиться ост-норд-осту. Небольшая ледышка обрела почти законченный контур лебедя. Не теряя величавой осанки, она прыгала на волнах, упорно сопротивлялась ветру, даже поворачивалась тонким изгибом шеи ему навстречу и клевала невидимого врага.

«Хорошо бы щелкнуть лебедя для Иринки!» — думает Кронов. И в это время динамик вздрагивает от крика радиста «Безупречного».

— Алло, Бе-зе, алло, Бе-зе! «Безупречный» просит к аппарату Николая Ивановича. Прием!

База не отвечала.

«Кто-то заболел у Середы,— понимает Кронов.— Черт с ним, с лебедем. При таком освещении...»

— Алло, Бе-зе, алло, Бе-зе! — снова вопит радист «Безупречного», — срочно пригласите к аппарату главного врача Николая Ивановича.

Ответ «Отваги» был настолько приглушен расстоянием, что Кронов не смог угадать по голосу базовского радиста.

— Алло, «Безупречный», за Николаем Ивановичем послали. Сейчас подойдет. Что там стряслось у вас?

«Безупречный» не ответил. Только минут через пять, когда тоненько пропел голос главного врача Николая Ивановича, в динамике тревожно загремел Аверьяныч:

— Тут такое дело, Николай Иванович. Капитана нашего вдруг скрутило. По всему похоже — аппендицит.

«Силен Юрка! — ухмыльнулся Кронов.— Увидел, что делать тут нечего, и сворачивает разведку. «Аппендицит»! Молодец!..»

— Правильно! — Кронов подмигнул Ченчелидзе.— Пойдем к базе. Тут явная пустышка!

Но старпом усомнился в догадке капитана. Он пригнулся к самому динамику, стараясь расслышать слова главного врача.

— В том-то и дело, что не может он сам подойти! — вновь загремел Аверьяныч.— Прием!

Кронову показалось, что Шалва Ченчелидзе посмотрел на него с издевкой.

«Да! Видно, это всерьез!» — Кронов нахмурился, вздохнул. Он двинулся к трапу, чтобы спуститься в радиорубку. Надо убедить Волгина в бесперспективности острова и вслед за «Безупречным» идти на воссоединение с главными силами флотилии.

И тут, уже на ступеньках трапа, бросив короткий взгляд на остров, Кронов заметил среди иссиня-белых льдинок лоснящийся черный промельк. Фонтана над ним не вспыхнуло. Но все равно, Кронов мог бы руку дать на отсечение, — там, среди битого льда, только что подразнила спина огромного кита.

«Это меняет дело!» — Кронов почувствовал, как под ушанкой горячо повлажнели волосы. Он стремительно соскользнул с трапа, быстро, чуть придерживаясь за поручни, прошел в радиорубку.

— ...Ну и «Стремительному» нет, видно, смысла задерживаться. — Кронов узнал голос Волгина. — Так что возвращайтесь оба.

Кронов выхватил у радиста микрофон.

— Алло, Станислав Владимирович! Разрешите более тщательно осмотреться!

— А что? Есть смысл? Прием!

— Да пока... Рано говорить, но посмотреть внимательно не мешает. Прием!

Волгин ответил не сразу.

— Ну, хорошо. Задержитесь. Посмотрите еще. Но если что — к берегу не лезьте. Дайте знать. Кого-нибудь подождем для страховки. Подтвердите ясность. Прием!

— Все ясно, Станислав Владимирович! Одним к берегу не подходить. — Кронов уменьшил мощность передатчика. — Алло, «Безупречный!» Алло, «Безупречный!» Как там Юрий Михайлович? Прием!

— Неважно. Идем к базе, — коротко ответил радист «Безупречного».

— Жмите на четырех!.. Для Николая Ивановича аппендицит — семечки. Месяц назад нашему боцману отхватил, так он теперь так поправился — в бочку не влезает. Передайте Юрию Михайловичу, пусть держится. Прием!..

— Передадим! — В приемнике резко щелкнуло, и Кронов услышал голос радиста, уже обращенный к базе: — Алло, Бе-зе, алло, Бе-зе!.. Нажмите. Возьму пеленг!.. Буду брать пеленг. Я — «Безупречный». Прием!

Когда Кронов поднялся на мостик, силуэт «Безупреч-

ного» с трудом просматривался. Китобоец Середы стремительно уходил на северо-запад.

— Будем тут болтаться? — недовольно спросил капитана Ченчелидзе.

— Да, будем! Смотреть надо внимательнее! — Кронов задрал голову, крикнул марсовому: — Внимательней смотреть кромку!..

— Есть, смотреть! — невесело донеслось из бочки.

Ченчелидзе вздохнул и молча уставился биноклем-«лорнетом» в береговую черту острова.

«Ничего, ничего, — подумал Кронов. — Сейчас ты вновь удивишься моей прозорливости!»

Кронов хорошо помнил место, где так явственно блеснуло полированной чернотой, и на траверзе его сбавил ход до тихого. Бело-синяя кромка стыла до радужных пятен в глазах своей однообразной недвижимо-стью.

«Не могло же такое привидеться! — изумлялся Кронов. — Ну, если бы фонтан — мог быть всплеск... Но тут!..» Черная скользкая спина упрямо врезалась в память.

Солнце поднималось выше. В его лучах теперь четко обозначилась северная часть острова.

Кронов увеличил ход, на траверзе оконечности упрямо скомандовал:

— Право на борт!

«Пройдусь еще раз вдоль — и все. Значит, привиделось...» Кронов старался не замечать насмешливых взглядов Ченчелидзе. Он злобно посмотрел на торосистую кромку и еле сдержал крик...

У черной полосы воды лед неожиданно взбурвился, мощные покатые бока неторопливо и могуче раздвинули его, стряхивая с себя осколки, и в воздухе вспыхнуло дымчатое облако фонтана. Это было так неожиданно, что Кронов, пожалуй, и не поверил бы своим глазам, если б не оглушительный рев Ченчелидзе:

— Фонта-а-ан!.. — И уже тише, словно застыдившись: — Лево пятьдесят!

— Держать на фонтан! — Кронов, как только китобоец начал поворот, вновь переставил рукоятки телеграфа на «средний ход». Спешить теперь было некуда, а камни подстерегали и с этой стороны острова.

— Докладывать глубины! — повторил Кронов команду в радиорубку и тотчас услышал искаженный трубой

голос Галича: «Семьсот шестьдесят... Семьсот семьдесят...»

Бусько звучно хлопнул обшитыми парусиной рукавицами и, подмигнув Кронову, не спеша пошел по переходному мостику к пушке.

«Этот уже понял все, как надо!» — ухмыльнулся Кронов.

— Еще фонтан! — закричал марсовый и, перегнувшись через бочку, показал варежкой направление. И точно, чуть правее кита, теперь все чаще и чаще выходившего на поверхность, отнесло ветром еще один нестойкий султанчик брызг.

— Вижу!.. Молодец! — бодро поддержал Кронов марсового.

«Только бы не пошли они в лед! Крутиться в рапках мало радости».

Но все складывалось как нельзя удачней. Видимо, удары льдин тревожили китов. Они выбрались из ледяного плена и, весело пофыркивая, пошли вдоль кромки, почти бок о бок...

ГЛАВА XI

1. Давно растаяли за кормой очертания острова. Скрылись и мачты «Стремительного». Дымится от неоседающих брызг штормовой океан. И низкое небо тоже пустынно. Один-единешенек стремительно вышел из-за косматого облака и повис над пучиной альбатрос-буревестник — шалый какой-то!

Медленно против волны и ветра выгребает «Безупречный». Когда из-под подзора выбрасываются белые крылья-буруны, китобоец сам становится похожим на измученную непогодой птицу.

Высокий полубак нет-нет да и зароется в яростную кипень волны по самую гарпунную пушку. Тяжело подрагивая, выходит форштевень на гребень, и долго белыми водопадами стекает океан из черных горловин якорных и швартовых клюзов.

Никого на палубе китобойца, никого на захлестанном мостике. Корабль кажется вымершим, отрешенным...

В рулевую рубку, куда укрылась от непогоды вахта, разбойничья песня шторма доносится глуше. Слышно,

как отсчитывает кабельтовы и мили до самого порта неотдыхающий лаг: та-та, та-та, та-та.

Вперед, в разлохмаченную штормовую муть, сквозь ветровое стекло смотрит рулевой Тараненко.

Старший помощник капитана Шрамов часто и беспокойно поглядывает на картушку гирокомпаса, проверяя устойчивость курса, и этим злит Тараненко. Обиженно подрагивают у парня пухлые губы.

Оба встревожены. И вряд ли шторм тому причиной. Стоит загреметь ступенькам трапа — и рулевой, и помощник настороженно замирают. Потому что беда притаялась внутри корабля. Болен капитан.

2. Середа в мохнатом свитере лежит на диване, бледный, с прилипшими к влажному лбу легкими русыми волосами, часто облизывая пересохшие губы. Час назад он провалился в глухую и жаркую черноту, а когда открыл глаза, понял, что лежит уже в своей каюте.

«Значит, меня перенесли? Когда же?» — Он хочет подняться, чтобы взглянуть на репитер гирокомпаса, но чья-то твердая ладонь придерживает голову.

— Лежи, лежи, капитан! — Середа узнает голос Аверьяныча. — Все правильно! На румбе триста двадцать... Нынче — год спокойного солнца. Говорят — счастливый! Все обойдется. Через час будем у базы...

— Через час? — губы Середы подергиваются от вновь прихлынувшей боли.

— Ну, через два, — угрюмо поправляется Аверьяныч и яростно трет седую щетину правой щеки.

На какое-то время боль отступает. Становится так неожиданно легко, что Середу охватывают растерянность и досада: «Неужели я просто запаниковал?»

— Везет же людям! — доносится до Середы громкий голос Каткова. Второй механик почему-то топчется в капитанском коридоре, у каюты старпома. — В Антарктике всегда так, — продолжает кому-то доказывать Катков, — кто смел, тот съел!..

«Интересно, о чем это он?.. «Везет же людям!» А мне везет или не везет? — Середа невесело усмехается. — Да уж везет!» И сначала горести, маленькие и большие обиды выстраиваются в серую шеренгу, молчаливые, жалкие. Ранняя скорбь о матери. Желтеющий портрет отца. Таинственные и зловещие слова: «Без вести пропавший». И вдруг — отец! Живой, когда уже и не ждал

никто. И опять беда! Запил отец. Кто-то злой и недоверчивый денно и ночью косился на него, не позволял стать прежним: сильным, нужным, веселым.

«Интересно, радовался бы отец, доживи он до моего капитанства? Жаль, так я ему и не рассказал про океан!»

И вдруг смахнуло серые тени. Смыла их одним рывком синяя с озорным барашком на вершине волна. Блеснуло высокое и жаркое тропическое солнце, и, перекрывая песню дизелей, зазвучал под гитару голос электрика Серегина:

Зеленый луч на обруче экватора
Нам семафорит: «Доброго пути».

И теплый упругий ветер бьет в лицо, и пахнет от палубы нагретым деревом, и чему-то улыбается Аверьяныч, и очень хочется, чтобы все это увидела и поняла Катя... «Или та подмосковная женщина, которая сказала, что со мной легко. Как же ее все-таки звали?.. Она произнесла как строку песни: капитан... дальнего... плавания... А Катя считает — это очень мало. А я сам?.. Интересно, хороший я капитан?.. Аверьяныч знает. Но таких вопросов не задают... «Таких вопросов не задают»? Кто это любил повторять?.. А-а!.. Это было в Уругвае... Сморщенный дед в старомодном сюртуке, в казачьей полинявшей фуражке. Задавал глупые вопросы и, не слушая ответа, противно хихикал: «Понимаю, таких вопросов не задают!» Сначала все хвастался: «Разбогател здесь в два счета! Показал им русскую хватку!» Потом, выпив несколько рюмок водки, дед сморщился совсем и заплакал. «Понимаете, я богат!.. Но я все равно здесь не персона, а... как бы сказать?..»

«Винтик?» — неожиданно подсказал Середа.

«О! Это вы очень точно заметили! — сюртучник даже плакать перестал. — Вот именно, винтик!»

А Середа шел по улицам уругвайской столицы, и люди поднимали смуглые кулаки и, улыбаясь, кричали: «Салуд, Гагарин!..»

«Так везет мне или не везет?.. Только бы не бредить! А то навалилось все сразу... Вот, если за неделю справлюсь с болячкой, тогда еще, наверное, повезет. Ребята стараются!»

Середа открывает глаза. «Вроде боль немного утих-

ла... Сколько же прошло времени? Час? А может быть, и все три?»

В динамике негромко потрескивают разряды. Изредка вплетает в них свою птичью песнь морзянка. Потом новый разряд оборвался и наступила тишина. Середа понял: Аверьяныч вырубил динамик.

Но именно тогда, в полной тишине Середа явственно услышал трижды повторенный тревожный сигнал: «SOS». Середа покосился вправо.

Штепсель динамика, выдернутый из розетки, раскачивался, как маятник, по переборке. И все-таки Середа смог бы поклясться, что минуту назад слышал сигнал бедствия. Он был так глубоко уверен в этом, что, когда закрипел трап под тяжелыми бурками старпома, Середа знал: Шрамов несет недобрые вести.

ГЛАВА XII

1. «Стремительный» резал курс китам. Вот уже до них метров сто... восемьдесят... шестьдесят!..

Тройным хлопком отскочило эхо выстрела от серобелых скал острова.

Издали выстрелил Бусько. Все видели, как гарпун ударил в покатую и широкую китовую спину сейвала. Но гарпун не вонзился, а взмыл, срикошетив, ввысь, таща за собой белый след линия. И там, метрах в пятнадцати над морем, с коротким треском рванула граната.

— Пригнись! — закричал Кронов и, пригибаясь сам, дернул ручки телеграфа в среднее положение, на «стоп». Просвистели осколки...

Кронов выпрямился, быстро оглядел всех. Нет, никого не задело. Тогда он кинулся на левое крыло, перегнулся через планширь, мысленно дорисовывая путь линия, с натягом вдоль борта уходявшего под воду.

С полубака, перегнувшись через волноотбивочный щиток, вдоль линия тревожно скользил взглядом и Бусько. Он поднял голову, и Кронов впервые за семь рейсов прочел испуг в глазах гарпунера.

«Стремительный» все еще шел по инерции вперед, подворачивая вправо, — руль лежал «право на борт». С остановившимся сердцем Кронов потянулся к

рукояткам телеграфа, осторожно перевел их на несколько делений назад и тотчас вернул на «стоп». Судорогой ответил корабль на попытку работать даже самым малым ходом.

Через минуту на корме были все, кроме рулевого. Перебежали сюда по ботдеку — вдоль низких бортов китобойца разгуливала вода. Да и здесь, на полого поднимающейся к флагштоку корме, все стояли, накрепко вцепившись в леера, потому что корма то высоко взлетала над горизонтом, то низвергалась вниз, и тогда на нее успевал навалиться злорадно шипящий вал. Люди пригибались ему навстречу, но и отступая он потянул их за собой, отрывая ноги от скользкого металлического настила.

Снова взлетела корма, и тогда Ченчелидзе плашмя бросился на палубу. Вцепившись руками в леерные стойки, старпом на секунду рывком перегнулся за борт. Он тотчас же отпрянул назад, пружинисто поднялся, но бежать уже было поздно. Зеленая гора выросла за кормой и обрушилась на нее снежным от пены обвалом. Старшему помощнику повезло — на этот раз только сам гребень залетел на корму и удержаться на ногах было легче. Отряхиваясь от воды, Ченчелидзе, балансируя, вплотную приблизился к Кронову:

— Намотали крепко! И гарпун... — Ченчелидзе положил правую руку на согнутый локоть левой, и Кронов все понял: захлестнутый линем гарпун лег как раз между лопастями винта. Не сумев подавить в себе отчаянной досады, Кронов зло взглянул на гарпунера.

Лицо Бусько стало невообразимо белым, часто пульсировала на виске проступившая голубая жилка, смотрел он испуганно и виновато.

Кронов попытался подбодрить гарпунера улыбкой, но губы только покривились от боли, от острого предчувствия непоправимого.

— Боцман! — закричал Кронов. — Собрать все багры, шесты! Раздать палубной команде. Всем собратсья на мостике!

— Есть! — с радостной готовностью тоненько выкрикнул толстяк боцман, и сразу угрюмое оцепенение сошло с людей. Все метнулись за боцманом, и через несколько секунд корма опустела.

Меньше полусотни метров отделяют корму от радиорубки. Но, минуя их, Кронов успел передумать многое.

Особой пользы его распоряжение принести не могло. Смешно и предполагать, что от камней можно оттолкнуться шестью. Но надо было быстро подавить самое страшное — растерянность экипажа. Кроме того, Кронов на пути в радиорубку успел учесть, что «Стремительный» развернулся к ветру кормой и, значит, парусность будет меньше. Он прикинул, что при такой силе ветра дрейф до гряды камней продлится час-полтора. И еще он успел представить себе заплаканную Ирину над бланком радиограммы и тут же прогнать это видение как совершенно невозможное.

Едва Кронов переступил комингс радиорубки, радист включил передатчик. Кронов бегло взглянул на «картинку» — карту района с нанесенными положениями китобойцев и китобазы. «Ну, так и есть!.. Никто не успеет!.. Разве только...»

— Алло, «Безупречный», алло, «Безупречный»!.. «Стремительный» просит капитана к аппарату. Как он себя чувствует? Прием!..

Приемник долго молчал. Потом послышался явно недовольный голос радиста:

— Алло, «Стремительный», капитан спрашивает, очень срочно надо?

— Срочно, дорогой, очень срочно, — поспешно подтвердил Кронов и тут же принялся звать флагмана: — Алло, Бе-зе, алло, Бе-зе! Как меня слышите, я «Стремительный». Прием.

База сразу ответила сдавленным дальним криком:

— Слышим вас удовлетворительно! Что случилось?

— Станислав Владимирович! — Кронов, несмотря на расстояние, узнал голос капитан-директора. — При рикшете намотали на винт! Спустить человека за борт нет возможности! В море шесть баллов — разобьет... Прошу «Безупречный» вывести меня на чистую воду! Несет к берегу! Через полтора часа будем на камнях. Как поняли? Прием!..

Поняли все. Потому что Волгин даже не стал ничего уточнять, а сразу вызвал на связь «Безупречный».

В этот момент Кронов услышал непонятную возню у трапа, ведущего в коридор капитана: не то хрип, не то ругань.

— Нэ смэй, говорю! — Кронов узнал Ченчелидзе.

— Что там еще? — взорвавшись, закричал Кронов, глянул вниз по трапу, но ничего не увидел. Возня вроде

бы прекратилась. Но вот снова хриплый шепот Ченчелидзе:

— Пошел в каюту, сумасшедший человек!

Кронов мигом слетел по трапу и замер, потрясенный увиденным.

Ченчелидзе накрепко прижимал к переборке задыхающегося гарпунера. Бусько вышел в коридор в одном теплом белье. В полутьме коридора странно голубело его большое, словно распятое на переборке, тело. В поясе гарпунера перехватывал капроновый кончик, за которым поблескивал промысловый нож. Прижатый к переборке Бусько тяжело дышал.

Чувство вины за промах помutilo разум Бориса, и он решил, несмотря на шторм, пойти под воду, чтобы перерезать ножом линь, освободить винт китобойца. Сейчас Бусько разбило бы о борт или перо руля сразу.

— Прекратить, товарищ Бусько! — закричал Кронов. — Немедленно вернитесь в каюту и оденьтесь.

Ченчелидзе отпустил плечи гарпунера. Борис смотрел на старпома злобно. Казалось, он сейчас бросится на него.

— Нечего паниковать! — уже спокойней сказал Кронов. — К нам идет «Безупречный».

— Идет? — Ченчелидзе и Бусько спросили разом. И разом посветлели у них глаза.

— Ну да, идет... Куда же он денется?

И тут, перечеркивая неуверенность, на верхней ступеньке трапа появился радист Галич.

— «Безупречный» взял пеленг, врубил все четыре и идет на нас полнейшим!

Кронов вдруг почувствовал, что ноги совсем не держат и, достав папиросу, сполз спиной по переборке, присел на корточки...

ГЛАВА XIII

1. В судовом журнале «Безупречного» с неоспоримой точностью зафиксировано, что с момента аварийной радиограммы «Стремительного» до распоряжения капитана Середы развернуться на обратный курс прошла

всего одна минута. А Середа мучился от угрызений совести.

Черта, которую он подводил принятым решением под своей жизнью, выглядела для него достаточно широким Рубиконом. Трудно было поверить, что всего минута потребовалась для преодоления страха. Даже боль, все время нестерпимая, не дававшая хоть разок глубоко вздохнуть, на холодном прибрежном песке Рубикона стихла, стараясь подслушать каждую мысль. Их было много, мыслей,— и высоких, и обыденных. Но самую первую он упорно отгонял, не прочитывал ее до конца: «Или ты, капитан «Безупречного», останешься живым, но тогда... Ерунда! Почему обязательно или — или?.. Аверьяныч правильно сказал: «Все обойдется!..» Вот и опять боль почти прошла!»

И еще одна мысль пришла. О ни разу не виденной им Ирине Кроновой. По письмам Кати, по рассказам Кронова, Юрий все эти месяцы дорисовывал и дорисовывал портрет незнакомой женщины. И чем ближе к завершению подходил мысленный рисунок, тем явственней проступали знакомые (почему знакомые?) черты. Только сейчас Юрий понял, что наделил подругу Николая ласковым лицом той подмосковной спутницы... Нет, он не убьет ее горем. Он спасет Кольку. Пусть и он будет причастен к ее счастью...

Потом приходили разные мысли. И, видимо, боль, опять захватившая цепко и широко, помешала Середе вспомнить, как он сразу сказал старпому:

— Взять... пеленг. Четвертый... в схему. Идти полнейшим!..

— Куда? — оторопел старпом.

— К «Стремительному»... Черт его подери-и! — Середа застонал не то от боли, не то от злости на старпома. Он не заметил, как и когда тот вышел из каюты. Боль опять затуманила сознание. Середа был благодарен ей за это. В наступавшем времени забыть муки становились приглушенней и главное — совсем уж не думалось, что больше никогда, никогда ничего не будет...

В следующий раз Середа очнулся от торжественного голоса в динамике.

«Левитан! — удивился Середа. — Почему Левитан?» Только спустя некоторое время он понял, что это гремит в динамике голос капитан-директора:

— .. Поступили, как настоящий моряк. Я горжусь вами, Юрий Михайлович, и стыжусь недавних сомнений. Терпите! И обязательно дотерпите! Флотилия идет на вас полным ходом! Как только сблизимся, пошлем вертолет. Вы слышите меня, Юрий Михайлович? Прием!

— Слышу,— прошептал Середа. И только теперь заметил выскальзывающего из каюты радиста.

«Интересно, почему Волгин в прошлом году мне не поверил?.. Что-то спросил тогда... Незначительное что-то. И потом уже быстро закончил беседу... Ах, вот ведь!.. Ну конечно! Он спросил: «У вас есть дети?» И потом удивленно: «Нет?..» Что ж... Волгина можно понять. Капитан должен быть отцом».

— Аверьяныч!

— Да! Здесь я, здесь, Юрий Михайлович! — Аверьяныч быстро отошел от лобового иллюминатора, снова присел у изголовья Середы.

— Сколько до них?

— Остров должен сейчас открыться.

— Хорошо... Аверьяныч!

— Да, Юра!..

— А я, кажется, слабак, комиссар. Это плохо, да?

Не то всхлип, не то вздох послышался Середе. Но звук шел не от Аверьяныча, откуда-то издалека.

— Все правильно, капитан,— голос Аверьяныча звучал сдавленно.

— Кто тут... Аверьяныч? — теперь Середа понимал, что непонятные звуки доносятся со стороны дверей, но повернуться боялся. Когда он лежал на правом боку, боль казалась терпимей.

— Уходи! — услышал Середа шепот Аверьяныча. Тогда он осторожно повернул голову.

Вадим Тараненко, стоя у самого комингса капитанской каюты, с лихорадочной поспешностью вытирал слезы. А они текли снова, и моторист делал невообразимо замысловатые движения плотно сжатыми губами, словно кривился от чего-то очень кислого.

— Юрий Михайлович!.. Я только хотел,— торопливо заговорил он,— я только хотел сказать вам... Сын у нас родился! Так что вернемся — мы с Валею очень вас просим...

— Хорошо!.. — Это еще не было ответом Вадиму Та-

раненко. Просто боль внезапно отпустила, и тело сделалось совсем невесомым.

— Хорошо! — Середа отвечал теперь Тараненко. — Когда вернемся.

— Конечно! — почти выкрикнул Тараненко и выбежал из каюты.

Впрочем, этого Середа не увидел. Опять навалилось тяжелое забытие. Оно было черным и огненным. Не существовало ни неба, ни белого потолка каюты — только тяжелая чернота. А снизу, временами поднимаясь до самой груди, бушевало пламя. Оно тоже было черным, только трепетным и горячим. И очень далеко за широким разливом горячего черного водоворота белел остров, на котором застыла Катина фигурка. Такая, как тогда, на причале первого рейса.

«Нет!.. Не надо себя обманывать...»

2. Скорее с удивлением, чем с досадой, подумалось Середе о том, как еще тесно переплетаются между собой достижения человека и его беспомощность, прекрасное и отвратительное. Шестеро земляков пронеслись в космосе и благополучно вернулись на родную землю. И тут же, в эти же годы, флотилия не успевает преодолеть крошечное расстояние и придется умереть молодому капитану. «Умереть! Почему все возвращается к этому? Почему не думается, что это твой подвиг?.. Да это и не подвиг вовсе! Дурацкое стечение обстоятельств».

Подвиг! Это, наверное, прочно и длинно, как якорь-цепь. От космонавтов к Копернику, к Джордано Бруно. Нет! Дальше еще. К тому косматому беспокойцу, привязавшему камень к суковатой палке. Но это уже не просматривается, не читается под слоями веков, как первые звенья якорь-цепи под толщей воды. И вообще... Даже на якорь-цепи белой краской выделены только смычки, так сказать, этапы. Но ведь без обычных, но таких же крепких, хотя и цвета ржавого железа, звеньев не было бы якорь-цепи!

Нет! Это вовсе не якорь-цепь!.. Что-то легкое... Рвущееся ввысь. Непрерывный всполох... Восходящая молния!.. Свет, свет, свет!.. И в его переливах все — косматый беспокоец, Бруно, Гагарин, рябой Гаврилов, защитник Брестской крепости... Та девушка с забытой фамилией, сталкивающая ребенка с рельсов!.. И расступается перед ними чернота, хотя и боль, страшная боль

рвется ввысь вместе с брызжащей огнями спиралью света...

— Открылся остров,— тихо, словно проверяя, слышит ли капитан, сказал Аверьяныч.

— Открылся? — капитан слышал.— Хорошо... Старпома ко мне!

«Надо все объяснить Шрамову... Как осторожно, все время отсчитывая лотом глубину, остерегаясь каждого всплеска впереди, самыми малыми ходами подходить к «Стремительному».

3. Боль не помешала где-то в глубоком тайнике души порадоваться случившемуся. Только из-за Шрамова! «Вот и ответ на ваши сомнения, товарищ старпом»,— подумал Середа.

«Сомнения» Шрамов высказал зло и категорично неделю назад, когда Середа оказался на мостике с глазу на глаз со старпомом.

— Анатолий Корнеевич!.. Мы сейчас одни, а я давно хотел поговорить с вами по душам.

— Я весь внимание!

— Не надо так! Вы старше меня, послужили на флоте... Вы поймите, мне очень бы не хотелось читать нотации. Может быть, вечером...

— Я готов выслушать любое ваше замечание сейчас,— холодно перебил Шрамов.

— Да это не замечание даже, а скорей...— Середа искал слово, стараясь подчеркнуть дружеский характер разговора.— Вот вы доросли до высокого звания — капитан II-го ранга. Вероятно, вы были... инициативным офицером.

— Вы правы! Я проявил инициативу, как вы изволили выразиться. Если бы я ее не проявил!..— Шрамов с неожиданной эмоциональностью воздел руки к небу и, опустив их, вздохнул: — Все было бы проще. Я продолжал бы службу и был на сегодня...— старпом замолчал, что-то подсчитывая, и совершенно спокойно сказал: — Да!.. Контр-адмиралом.

— Анатолий Корнеевич, я хотел поговорить серьезно.

— Я вполне серьезен. И откровенен. Я даже склонен высказать опасение, что ваш либерализм, ваше, простите, заигрывание с экипажем разлагают людей. В трудную минуту они просто струсят.

— Что вы называете трудными минутами?

На мостик вбежал запыхавшийся рулевой. Середа передвинул ручки телеграфа на «полный вперед», и залившая песня дизелей подвела черту под незаконченным разговором...

4. Шрамова не пришлось вызывать. Он ворвался в каюту сам. И теперь ничего не оставалось в нем от «военной косточки».

— Это безумие! — закричал он с порога и судорожно дернулся шеей. — Это идиотизм! Лезть на камни и губить еще одно судно вместе с экипажем!

Ответить Шрамову надо было резко, чтобы выбить страх. Но для резкости у Середы не было сил. Он покопился на старшего помощника спокойно, так же, как подумал: «Хорошо, что ты не стал контр-адмиралом. Будь хоть просто моряком».

Боль исказила просьбу-мысль в глазах Середы. А может быть, Шрамов просто не мог ничего прочесть ни в чьих глазах. Жуткое видение — разбитый остов корабля и чернеющие головы в белой кипени ледяных волн — застило ему все. Взгляд старпома был почти бессмысленным, только злобные огоньки иногда вспыхивали в широко округлившись зрачках.

И тогда Середа сказал очень тихо:

— Я вас... отстраняю от вахты.

Шрамов не пошевелился, даже не вздрогнул.

— Уходите! — Аверьяныч резко повернулся к старпому.

Огненные сполохи снова спиралями поползли от живота к горлу и вдруг растворились в глухую и непроницаемую тьму...

5. Середа очнулся от резкого, режущего толчка куда-то в глубь носа.

— Не надо! — Он отвернулся от дрожащей руки Аверьяныча, сжимавшего флакон.

Сознание возвращалось сначала очень медленно. И вдруг охватило происходящее сразу и остановилось на тревожной мысли: «Шрамова я отстранил. Кто же там, наверху?»

— Кто на вахте?

— Володя. Второй. Толковый паренек!.. Справится!

В успокоениях Аверьяныча прослушивалась тревога.

«Володя... Как летит время! Особенно это заметно на других. Володя — второй помощник!»

— Аверьяныч!..— Середа старался говорить бодрее, но от этого речь становилась только отрывистой...— Я... должен быть... на мостике, Аверьяныч!..

Гарпунер только вздохнул.

— Мне... на воздухе... лучше станет, Аверьяныч.

— Лучше?

— Конечно.

Вряд ли поверил гарпунер. Но вместе с одногодком своим электромехаником Самсонычем он остал одевать Середу.

— На размер меньше, что ли!..— злобно шептал Аверьяныч, и все-таки натягивал бурку на тяжелую ногу Середы.

— Ну как, мастер, а? — тихо слышалось за спиной гарпунера.

— Какого дьявола!..— Аверьяныч оглянулся и увидел в дверях Каткова. Обеими руками второй механик прижимал к себе высокую стеклянную банку с какой-то кускообразной массой внутри.

— Что это? — не понял Аверьяныч.

— Мед! — торопливо пояснил Катков.— Домашний. Очень от живота полезный.

— Спасибо... Захар Семенович,— тихо, но отчетливо прозвучал в каюте голос Середы.

Катков метнулся к письменному столу капитана, поставил банку. Она сразу затряслась от вибрации мелкой дрожью, пританцовывая, поползла по стеклу. Катков растерянно оглянулся, взгляд его задержался на книжной полке. Выхватив несколько книг, он обложил ими банку, довольный своей находчивостью, потер руки.

Аверьяныч осторожно усаживал на диван уже одетого капитана.

— Сможешь в таком положении?

— Смогу, комиссар... Конечно, смогу!

Аверьяныч кивнул Самсонычу. Они переплели четыре руки под коленями Середы.

— Чего стоишь?.. Помоги! — обрушился на Каткова Аверьяныч. Тот поспешно подошел, осторожно просунул жилистые руки под мышки капитану.

— Тяни, Захар Семенович... не бойся! — подбодрил его Середа.

По узкому трапу на пути в штурманскую нести капитана «без перекося» было невозможно. И Середа снова потерял сознание.

6. ...Мокрые от недавнего дождя ветви бьют по лицу. То с нежной шаловливостью, и тогда, кажется, слышен горьковато-грустный запах березы, то вдруг резкий, больно покалывающий щеку удар, и тогда Середа понимает, что это, конечно, хвоя — мокрый колючий ельник в черном лесу. Еще удар — и тьма разрывается...

Середа увидел качнувшийся вправо белый ствол мачты. Брызги, тучи брызг от разбивавшихся о борт волн залетали на мостик, били холодными крупинами в лицо.

— Опустите меня,— попросил Середа.

Аверьяныч и Самсоныч так и держали капитана на перекрещенных руках.

— Смелее, Аверьяныч!

Середа навалился грудью на планширь: «Так, пожалуй, устою».

Впереди, в десяти кабельтовых, серел корпус «Стремительного». Сначала он виделся со стороны кормы. Но вскоре медленно стал вытягиваться, подставляя ветру и волнам правый борт. Середа понял, что это значит: камни совсем близко, «Стремительный» начинает крутить водоворотами.

— Увеличьте ход... до среднего.

Второй помощник опасливо покосился на капитана и с осторожной плавностью, словно это что-то меняло, передвинул ручки телеграфа на «средний вперед».

— Почему отсчет...

Середа не успел закончить вопроса. Из медного зева переговорной трубы донесся тревожный голос радиста:

— Под килем сто десять!..

— Кто в бочке, Аверьяныч?

— Сидоров.

— Хорошо!.. Внимательно следить бурун!

— В бочке! — закричал Аверьяныч. — Внимательно следить бурун!..

— Е-есть, внимательно,— сквозь посвист встречного ветра донеслось сверху.

— Сто пятнадцать... сто десять... сто десять,— спокойно и размеренно звучало в трубке радиста, и вдруг резко и громко: — Шестьдесят! Семьдесят!.. Шестьдесят пять!.. Шестьдесят!.. Сорок пять!!! Тридцать!..

— Полный назад! — командует Середа, и в это же время в бочке истошно кричит Сидоров:

— Впереди два кабельтова бурун!..

— Десяты! — испуганно доносится из радиорубки.

Дрожит корпус китобойца. Сто семьдесят оборотов в минуту делают стальные лопасти винта вправо, стремясь оттащить судно от кружевной пены, цветущей во круг камней. Но сила инерции еще не погашена осаташелой работой четырех дизелей. Теперь и с мостика хорошо просматривается неустойчивый, то вскипающий белой холкой, то оседающий мыльной пеной бурун.

— Право руля! — командует Середа и облегченно вздыхает, видя, как медленно, но все же отходят за срез левого борта зловещие знаки.

«А боль-то совсем отпустила!» — Середа с изумлением прислушивается к измученному телу. Да, огненные дуги перестали терзать живот, только каждая мышца еще словно налита чем-то тяжелым и болезненным, да воздуха, воздуха маловато!.. «Интересно, какое сейчас давление?» — молча спрашивает Середа, а вслух произносит:

— Так держать... Самый малый... Самый малый... вперед! — Середа озорно подмигнул помощнику.

Вот уже можно узнать на высоком полубаке «Стремительного» фигуры Кронова, Ченчелидзе, Бусько. Кронов крутит над головой белый моток выброски. Руки Ченчелидзе и гарпунера тоже подняты, сжаты в ладонях. Они приветствуют Середу.

Медленно разворачивается «Безупречный», чтобы приблизиться к носу «Стремительного» кормой. Это явная потеря времени, но Середа знает: так надежней. «Теперь уже только бы завести буксир!..»

— Аверьяныч!

Гарпунер понимает капитана с полуслова. Торопливо кивнув, он быстро спускается с мостика, бежит на корму.

Скатывается по вантам и боцман Сидоров — на корме сейчас нужнее его глазомер, цепкие руки.

На мостике остаются только Середа и второй помощник, тревожно поглядывающий на капитана Володя.

«Шестьдесят пять... Шестьдесят пять... Шестьдесят... — монотонно и теперь спокойно звучит голос радиста. Да, глубины пока еще божеские. Но там, Середе

кажется, сразу за кормой «Стремительного», беззвучно ревет бурун, поднимая белые брызги выше среза кормы.

— Володя... Помогите мне...

Володя бросается к капитану, закинув его руку себе на плечо, помогает повернуться лицом к корме.

«До «Стремительного» метров пятьдесят...» И вдруг Середа видит, как от резкого взмаха Кронова в воздух высоко взмывает, на ходу раскручиваясь и вытягиваясь в тонкую стремительную линию, выброска — прочный шнур с оплетенным грузилом на конце.

— Далеко-о! — с досадой вырывается у Середы. Но выброска точно ложится на металлический крюк бамбукового шеста. С мостика не видно, у кого в руках шест. Только по резкому подсекающему движению загнутого железного прута Середа догадывается — шестом завладел Аверьяныч.

А Кронов что-то кричит и кружит над головой уже вторым мотком.

«До чего красив все же Николай!» — с неожиданной радостью думается Середе, когда он смотрит на монументально застывшего в широком взмахе Кронова. И снова — серебристый промельк выброски, короткое подсекающее движение бамбукового шеста...

Вот уже поползли белыми змеями из носовых швартовых клюзов «Стремительного» толстые капроновые канаты — два буксирных конца. Принятыми выбросками их затягивают на корму «Безупречного». Вот концы канаты вышли из воды, одетые пеной, покачиваясь тяжелыми провисами над волнами.

Через минуту на мостик влетел запыхавшийся боцман: — Готово, Юрий Михайлович!..

— Самый малый вперед!.. — командует Середа, и второй помощник чуть подает вперед ручки телеграфа.

Медленно, почти незаметно для глаза выбирается слабина буксиров. Еще на обоих обозначены провисы, но форштевень «Стремительного» послушно подался влево, став точно в кильватер «Безупречного», и первый слабый бурунчик движения заструился на серой спине волны...

«Ура-а-а!» — слышится Середе от кормы, а может, крик этот нарастает в нем самом. Середа решает повернуться лицом к движению сам. Он переносит тяжесть на правый локоть, но в ту секунду снова вспыхивает, заставляя вскрикнуть, огненная восходящая спи-

радь. Три раза море и небо, словно на круговых качелях, меняются местами...

7. ...Голубые блики, дрожа, скользят по белому потолку каюты. Вот что видит Середа, очнувшись. И по быстрому скольжению бликов да по частой незатухающей вибрации, от которой приплясывает, весело позванивая, стакан в круглом гнезде деревянной полки, Середа понимает: идут самым полным.

Над ним склоняется озабоченное и тоже подрагивающее, то ли от вибрации, то ли от тревоги, лицо Аверьяныча.

— Ну, как, Юра? — тихо спрашивает он.

— Буксиры?

— Что им сделается, — машет рукой Аверьяныч. — Вот-вот вертолет над ними покажется. Ты-то как?

— Хорошо.

Он говорит почти правду, потому что боль исчезла. Но трудно дышать. Словно из каюты выкачали воздух.

— Курс?

— Триста двадцать! — поспешно сообщает Аверьяныч.

Середа пытается в уме определить координаты своей морской могилы. Потом горько усмехается. «Зачем? В судовой журнал запишут и... забудут».

Как-то они с Кроновым подняли вопрос: «Надо гудками, что ли, чтить память погибших моряков и судов, проходя над точками погребения». Все горячо поддерживали: «Правильно!». Поддержали и забыли. В лихорадке промысла не вспомнилось об этом ни разу и Середе.

Горячая слеза предательски выбежала из глаза, обжигая, проскользнула к уголку рта.

— Вертолет сейчас прилетит! — с отчаянием чуть не закричал Аверьяныч.

«Ну и что?» — усмехнулся Середа, но промолчал.

«Надо как-то скрыть эту чертову жалость... О чем бы таком подумать?»

Несколько раз Середа мысленно обращался к Екатерине. Но она почему-то не удержалась перед глазами, исчезла.

И вдруг блики, скользившие по белизне потолка, стали игривым мерцанием подмосковной речушки у самого полотна железной дороги. Вот и тревожный крик

электрички задрожал над росистыми кустами. Тоненько и трогательно в их зеленой густоте пропищала птаха. И женщина с добрыми усталыми глазами одним дыханием изумленно восклицает: «Господи! До чего же с вами легко!»

«Как же ее все-таки зовут?.. Ну вот же, рядом она! Ведь это в ее глазах растворяется тоска, боль, все!»

— Галя! — неожиданно громко кричит Середа.

— Что? — пугается Аверьяныч. — Какая Галя? Вертолет! Юра! Разве ты не слышишь вертолет? Год спокойного... Юра!

Середа устало улыбается. То ли своим воспоминаниям, то ли рокоту кружащего над «Безупречным» вертолета...

ГЛАВА XIV

А я стою в этот день на молу, стиснутом потемневшим льдом. Рядом со мной — Екатерина. Она плачет. Ни она, ни я, ни стоящая чуть поодаль Ирина еще не знаем, услышал ли Юрий рокот вертолета. Мы не узнаем ничего до самого вечера, до очередного радиосеанса с «Отвагой».

Екатерина плачет беззвучно и смотрит сквозь слезы в лиловую дымчатую даль, словно оттуда, из-за черты горизонта, должно появиться необъяснимое нечто, способное вернуть ей успокоение.

Над молом часто проносятся чайки. В отличие от пернатых Антарктики, они крикливы и своим картавым гамом злят Екатерину. Она изредка взглядывает на них обиженно и просяще. Может быть, ей кажется, что именно их крик мешает сотворению чуда. Чуда, совершенно необходимого ей сейчас.

Я делаю осторожный шаг к Екатерине и хочу ей сказать... Но челюсти свело холодом, и вырывается у меня не то рык, не то всхлип... И тогда я молча обращаюсь к ней со своим заклинанием...

«Не кори его, не кори себя! Говори ему сейчас о любви. Говори о любви, словно не было ссор и обид, об одной любви говори. И тогда приумолкнут крикливые чайки, перестанут на рейде взывать нетерпеливые гудки.

Говори о любви, говори! И тогда по неведомым нам законам, сквозь разряды в эфире, сквозь штормов

грехотанье голос твой долетит до полярных созвездий, оттолкнется от звезд и со звоном прольется на антенны «Отваги». И Юрий услышит тебя и увидит. Такой, какой ты, возможно, еще не бывала, а только пригрезилась как-то, и долгие годы он ждал от тебя воплощения в эту зовущую грезу.

Говори ему о любви, говори! И тогда не она, подмосковная тихая женщина, станет рядом с хирургом у изголовья больного, а ты прикоснешься прохладной ладонью к его горячему лбу. Ты одна. Обязательно ты. Потому что другая — только слабая тень потревожившей грезы. А что тень по сравнению с живою и трепетной плотью, излучающей ионы любви?

Говори ему о любви, говори! Ты подумай: на всем белом свете существует ли что-то сильнее, чем чувство, родившее жизнь на земле? Если б люди хотели погибнуть, ничего им не надо: ни атомных взрывов, никаких потрясений Вселенной — просто надо вдруг всем разучиться любить.

Говори ему о любви, говори! И не верь никому, что открытия науки, появление роботов с чувственным радиомозгом и фотонный полет сквозь ревущую плазму светил хоть чуть-чуть приуменьшат всемогущую силу любви.

Говори ему о любви! И тогда сотворится чудо!»

Вот что я молча сказал Екатерине.

И она приняла меня. Потому что посмотрела на сизую черту горизонта взглядом, какого я раньше никогда не видел у нее.

Подошла Ирина и прижалась щекой к щеке Екатерины.

Чайки уgomонились. Они расселись на черной спокойной воде белыми точками.

И что-то обнадеживающее виделось мне в этом тихом черно-белом рисунке.



СИНЕЕ НЕБО

Повесть

В белой, забранной кафелем, предоперационной, воедев перед собой, словно священнослужители, руки, стояли три хирурга. К ним медленно приближались медсестры, держа на корнцангах операционные халаты.

Галя подавала халат крайнему справа хирургу Андрею Вихрову.

За ним одевалась высокая женщина в очках — Светлова, директор научно-исследовательского института глазных болезней.

Третий хирург был добродушный, кажется, с несходящей с лица улыбкой, толстяк Степа Зацепин.

Галя помогала одеваться Андрею, а поглядывала на Степана. От этого халат приближался к хирургу с перекосом — Андрей не сразу попал рукой в рукав.

— Куда ты смотришь? — прозвучало слишком громко. Девушка вздрогнула. И все посмотрели в их сторону. Андрей сам устыдился резкости. Быстро оделся и обработал руки первым. Галя понуро пошла за ним. Степан ободряюще подмигнул ей. И тогда Галя улыбнулась.

— Что это с Андреем? — спросила Светлова.

Прежде чем ответить, Степан оглянулся — убедился, что Андрей уже не услышит.

— Только вам! — Степан поднял зеленый палец. — Рождается новая идея. Точнее — уже родилась. Совершенно потрясающая!

— У предыдущей, — Светлова повернулась, помогая сестре, — была, кажется, та же характеристика?

— Что поделаешь — век экспоненты! Поток информации растет в геометрической прогрессии. То, что вчера было гениально, — сегодня смешно.

— Печально, — Светлова пошла в операционную.

Через полчаса Андрей вышел из операционной. Чувствовалось — чем-то расстроен. Резко скинул перчатки, сразу закурил, хотя один вид белой предоперационной, а потом и безупречно чистого, словно только протертого влажной тряпкой, коридора, пестревшего через равномерные промежутки четкими белыми прямоугольниками дверей, подчеркивал явную неуместность курения даже для раздосадованного хирурга. Впрочем, Андрей довольно быстро оказался на лестничной площадке, где уже покуривали, дружно толпясь у одинокой

урны, ходячие больные, лихо,—сказывалась привычка к морским трапам,—отстучал каблуками по широкому пролету лестницы и резко толкнул тяжелую дверь главного корпуса.

Теперь он шел по широкой аллее к воротам клиники. Кажется, он и не заметил двух машин, стоявших у самого входа. Одна, приземистая, иностранной марки, блесла зеркалом полировки.

Вдоль всей аллеи серели пижамки больных, белели уплотненные повязки—у кого на одном, а у многих и на обоих глазах... На звук шагов Андрея больные оборачивались, провожали его незрячими взглядами. Не дойдя до широко распахнутых, узорчатого литья, ворот, Андрей вдруг остановился. Отшвырнул сигарету, повернул назад. Но тут его окликнули:

— Андрей!

В негустой тени акации сидел на скамейке аккуратный старик: тщательно причесанные волосы, домашняя пижама и дорогие черные очки.

— Здравствуйте, Федор Федорович.

— Видел, кого тебе привезли? — Гуцульской тростью Федор Федорович ткнул в сторону стоявших у подъезда машин.

— А-а! — Андрей махнул рукой, даже не оглянувшись. — Везут и везут.

— Лорда аглицкого! — Федор Федорович вскинул трость жестом заправского мажордома. — Сэр Френсис Анабел Рамсей!

Андрей все же смотрел из-под руки на машины.

— Уже познакомились?

— Пока только провел разведку. Диковинный пациент, а?

— Больной. Этого титула для врача достаточно.

— Ну, не скажи!.. Все-таки интересно. Как же ты с ним объясняться будешь? Английский, небось, забыл, да и учил плохо...

— Виль ком, сэр Рамсей, энд лонг лив писс! * — Андрей негромко рассмеялся. — Ничего я, Федор Федорович, не забыл, все, что надо, выучил. — Улыбка на лице Андрея стала грустной. — Вот только не могу докопаться до самой малости: как людям свет возвращать?

* Добро пожаловать, сэр Рамсей, и да здравствует мир! (Несколько примитивный английский).

— Андрей Плато-оныч! — На третьем этаже в черном проеме окна белел халат медсестры Гали.

— Извините, Федор Федорович! Я, наверно, пойду. Нину сегодня оперировал.

Федор Федорович сразу встрепенулся.

— Ну, и...

— Да пока рано праздновать... Но есть надежда.

— Ты с ней поласковой, поласковой! — Федор Федорович коснулся тростью рукава Андрея.

— Хорошо.— Андрей улыбнулся и, чуть тронув рукой седину Федора Федоровича, быстро пошел к главному корпусу.

В лаборатории, небольшой и тесной от громоздкой аппаратуры, лежала на подвижных носилках девушка. Из-под белых слоев повязки выступали смугловатые скулы. Рот нежный, совсем детские губы удерживали слабую улыбку. Склонившись над больной, Галя закрепила повязку.

Андрей спросил с порога:

— Как настроение, Нина?

— И не шибко больно. Вроде только щóкотно было.— Нина заметно окала.

— Что за интервью ты со мной затеяла в операционной?

— А! — Губы Нины совсем подчинились улыбке, обнажая крепкие белые зубы.— Я про доктора Сазонова и Тоню.

Галя прыснула смехом. Андрей нахмурился.

— Полюбили ведь они друг дружку... Чего же доктора Сазонова...

— Доктор Сазонов — доктор! А Тоня — его больная.— Строго перебил Андрей.— Так что все эти разговорчики преждевременны. Существует врачебная этика. Вот поступишь в медин, дашь клятву Гиппократата...

В лабораторию ворвался Степан. Глаза как в лихорадке.

— Ты мне это нарочно подсунул? — Степан потряс свернутым трубкой журналом.

— Презента эгрота, презента эгрота,— словно про себя пробормотал Андрей.

— «Презента эгрота» означает «в присутствии больного»,— вдруг выпалила Нина.— Вот! Все ваши шифры уже знаю.

Андрей тихо рассмеялся:

— Да! Так вот полежишь у нас — глядишь — и новый врач-офтальмолог готов.

— Врач — не врач, а подменить Галю, если что, — запросто!

Галя поджала губы. А Нина вздохнула.

— Что, Андрей Платонович, не помогут мне... ксеноны?

— Успокойся, тебе-то помогут.

— А кому не помогут?.. Федору Федоровичу помогут?

Андрей промолчал.

— Федору Федоровичу мы кое-что поновей предложим! — бодро вставил Степан. — Лазером пощечочем старика.

— Ой! — Нина вздрогнула.

— Если только не обойдут! — Степан снова потряс журналом.

— Все! — Андрей поднял руку ладошкой вверх, словно Нина могла это видеть. — Теперь лежать. Лежать и вспоминать шум тайги.

— Море похоже шумит, — вздохнула Нина.

— Можно море.

С глухим рокотом раздвинулась в стороны стена. На пороге лаборатории выросла дородная нянечка. Носилки с Ниной выехали в коридор.

— Ну, чего ты? — Андрей едва дождался сдвига дверей, потянулся к журналу.

Степан не дал, торопливо раскрыл на закладке. Замелькали строки латинского шрифта.

— Даю сразу перевод!.. Вот!..

«Доктор Бернстайн, Балтимора, — почти без запинки переводил Степан с листа, — высказал предположение о возможности использования луча лазера...» — Степан взглянул на Андрея и заметил, как дрогнуло его лицо. — Представляешь?..

Андрей ничего не ответил, отошел к распахнутому окну. Посмотрел вниз и замер. Нянечка из детского отделения и совсем (так уж казалось с высоты третьего этажа) маленькая женщина вели к воротам мальчика лет шести. Белобрысая головка мальчика на тонкой шее все время вздрагивала, словно он хотел освободиться от какого-то наваждения.

— Ну чего ты демонстрируешь мне свою задумчивость? — продолжал бушевать Степан.

— Кешку увозят, — ответил Андрей.

Степан открыл было рот, но сдержался. Промолчал.

Потом они шли по траве к щербатому пролому в каменной ограде. За проломом синело близкое море.

— Вот такие пирожки, Андрей!.. Доктор Бернстайн высказал предположение!.. Будь уверен — завтра же найдется какой-нибудь вельфимен и даст ему кучу долларов.

— Ну, это еще... как повезет доктору Бернстайну!.. А нам бы надо выбить командировку.

— Командировку!.. Ты пойми: идея уже носится в воздухе. Мы ж себе потом не простим!..

Андрей остановился. Они были у самого пролома. Самовольщик-больной, — один глаз под повязкой, — с хода шагнул с той стороны в пролом и, наткнувшись на врачей, стыдливо, как мальчишка, потупился, прошмыгнул мимо. В правой руке болталась небогатая вязка бычков.

Сбегали по склону к берегу буйные кусты, стыла в морской синеве белая клинопись парусов. А по эту сторону ограды стояли серенькими обелисками, ловили невидимое солнце несчастные люди... Андрей оглядывал их и мрачнел.

Степан проследил за взглядом Андрея.

— И они не простят.

2

Сэр Френсис Анабел Рамсей и Федор Федорович давно забыли про шахматы, хотя, судя по фигурам, партия едва была начата.

— ...Да не собираюсь я зачеркивать таланты сэра Веллингтона. — Федор Федорович пристукнул своей тростью. — Неве маунт, олл райт!.. Но согласитесь и вы, что исход Ватерлоо был предreshен именно русским разгромом Наполеона! И, если хотите, разочарованием самих французов, ибо Наполеон забыл, что был вознесен волной революции...

Рамсей поднял руку.

— Мы не говорим политический аспект. Мы смотрим чисто военный сторона.

Андрей кашлянул.

Черные очки Федора Федоровича повернулись к двери.

— О, сэр Рамсей, ваш врач— кандидат медицинских наук Андрей Вихров! Между прочим, бывший мой ученик.

— Очен рад, мистер... Вихоров! — Рамсей попытался встать. Андрей удержал его.— Как это вы врач, а не историк? Такой учитель.

— История не обязательно делает историка,— поспешил с ответом Федор Федорович.— Но причастны к ней все. Утешительная мысль!

— О, нес, нес...

— Как вы себя чувствуете, мистер Рамсей? — Андрей вынул из кармана офтальмоскоп.

— Спасибо... Ваш учитель не дал мне загрустить. Он такой горячий на спор, мне показалось — я уже вижу. Вижу пламя.

— М-да... Пламя — может быть. Фотопсии. Разрешите!

Андрей поправил голову Рамсея, зажег настольную лампу.

— Андрей! Доктор! — Тут же поправился Федор Федорович.— Мне уйти?

Андрей пожал плечами.

— Если можно, доктор... Пусть Теодор Теодорович будет здесь!

— Хорошо. Сидите, пожалуйста, спокойно.

Андрей склонился над глазом Рамсея.

В палату вошел Степан. Встал за спиной Андрея.

Когда Андрей оглянулся, Степан нетерпеливо постучал пальцем по циферблату часов.

Андрей, поправляя свет, глянул на Федора Федоровича, потом посмотрел на напряженный профиль Рамсея. Чем-то старики показались ему похожими друг на друга. Он снова прильнул с офтальмоскопом к глазу Рамсея.

В палату вошла Галя. Андрей недовольно покосился на нее, но Галя потрясла, словно пропуском, испещренным листком бумаги.

— Та-ак!..— Андрей выпрямился, передал офтальмоскоп Степану.

— Вы меня... еще смотрите, мистер Вихоров?

— Вас осматривает мой коллега доктор Зацепин.

— Очень рад... А вы? Что вы мне можете говорить? «Правдивый свет мне погасила тьма»?

— Ну зачем так мрачно, сэр Рамсей?! — Степан то-ропливо возвращает Андрею офтальмоскоп. — Э гуд бегинин мейкс — гуд ендин! Как говорят ваши соотечественники — «Хорошее начало предполагает хороший конец»!

Рамсей улыбнулся. И Федор Федорович повеселел. Андрей сказал жестко:

— Вам надо мобилизовать волю и терпение, мистер Рамсей. Как в бою. Как в дальнем полете. Только тогда мы сможем вам помочь.

Исчезла улыбка с лица Рамсея:

— Каким долгим будет полет?

— Полтора-два месяца.

Степан за рукав халата потащил Андрея из палаты.

— Андрей немного резковат, потому что... — Начал было Федор Федорович.

— Он честен! — закончил за Федора Федоровича Рамсей.

— Больной Рамсей, — Галя решительно шагнула к изголовью лорда. Сэр Френсис Анабел Рамсей вздрогнул при таком обращении, а Федор Федорович отвернулся, скрывая улыбку. — Вам переведены деньги на питание. Предварительно получается по семь рублей. Я должна согласовать с вами меню. — Галя потрясла листком бумаги и, не дожидаясь ответа, стала читать: — Первый завтрак: омлет или яичница из трех яиц, кофе, гренки, масло, фруктовый сок... — Лицо Френсиса Рамсея сохраняло полную невозмутимость. — Второй завтрак: бекон жареный, сметана...

Галя пыталась перевести дыхание, и тогда Рамсей успел сказать:

— Пожалуйста, зачеркивайте.

— Сметану?

— Все.

Галя оторопела.

— Надо так... Первый завтрак — овсяная каша. Кофе... Второй — сауомилк...

— Простокваша! — перевел Федор Федорович.

— Да, простокваша... Мясо только один раз в неделю.

Галя обиженно поджала губки:

— Мне надо согласовать... Извините. — И вышла из палаты.

Федор Федорович смеялся беззвучно, но Рамсей все же расслышал.

— Почему она так решил? Почему думал — я буду есть обязательно сто кровавых бифштексов?

— Ну, как-то надо потратить ваши деньги? Водку в больничное меню — неудобно.

— Зачем водка?! Пусть тратят лекарства, оплата персонала.

— А вот это как раз бесплатно, мистер Рамсей. Так что вам здорово повезло. Сэкономите кучу денег. Сто кровавых бифштексов! — Федор Федорович рассмеялся. — Не обижайтесь!.. Это ничего не значит. Ибо история знает одного вегетарианца...

— Этого вегетарианца я бомбил так же, как вы, Теодор, — строго перебил Рамсей. — А после ранений сидел ваше Полтаве. Руководил полетами. Шаттфлайтс! Челнок-полетс...

Федор Федорович встал:

— Эскюз ми! Извините, мистер Рамсей!

— Меня друзья зовут Френсис! — Рамсей протянул Федору Федоровичу руку.

3

Только наивность и молодой энтузиазм позволили Андрею и Степану надеяться, что журнал с информацией о поисках доктором Бернштейном новых возможностей лечения глаза потрясет Светлову, заставит директора института немедленно поручить им разработку этой темы. Сама автор многих смелых экспериментов, Светлова давно знала и о Бернштейне, и о том, что лазер все активнее вторгается в медицинскую практику. Более того, задумываясь о перспективах лазера в офтальмологии, Светлова все чаще и чаще вспоминала своего давнего, — еще со школьной скамьи, — друга, ставшего одним из крупнейших в стране физиков. «Без его помощи, видимо, не обойтись» И только ежедневная перегрузка — операции самых трудных больных, хлопоты, связанные с реконструкцией ряда лабораторий, десятки больших и мелких вопросов, разрешение которых не предусмотреть никакими планами, — откладывала и откладывала написание такого полуделового послания к старому другу. «Да и в Москве ли он сейчас?..» В последнюю их встречу в Берлинском аэропорту друг жаловался: «Все разъезды, разлеты — работать некогда!»

Светлова сама имела в виду именно Андрея Вихрова и Степана Зацепина — молодых, наделенных завидной энергией ученых, — когда прикидывала в уме, кому предложить разработку лазерной хирургии при лечении отслоения сетчатки. Однако ее все больше и больше настораживала убивающая всякую симпатию к молодым кандидатам наук легковесность их суждений, отсутствие упорства в работе. Две, три неудачи — и вчера горевшие энтузиазмом офтальмологи заметно охладились, спустя рукава, продолжая «тянуть заданную тему», жадно искали новую, перспективную. Вот так, чтоб открыть и всех изумить сразу. А такое в науке случается не часто. И если приходит, то, как правило, к тем, кто до радости открытия протоптал не одну тропинку, ведущую в никуда...

Перед встречей с парнями Надежде Петровне к тому же изрядно потрепал нервы неутомимый прожектор Евлампиев. Очень посредственный врач вот уже больше года носился с явно бесполезным препаратом, обещая избавить с его помощью человечество чуть ли не от всех болезней. Авантюризм Евлампиева был очевиден Светловой, многим другим крупным специалистам медицины, но не к ним апеллировал автор «препарата века». Письма его достигали самых высоких инстанций, комиссия следовала за комиссией, одно неприятное объяснение за другим.

По всему этому Светлова приняла Андрея и Степана довольно холодно. Подробно рассмотрела ученую записку и сразу нашла в ней слабые, не продуманные авторами места.

Когда же Степан попытался надавить, так сказать, на чувство патриотизма, вкрадчиво заговорил о приоритете, подсунув Светловой злополучный журнал с портретом американского ученого, тут и вовсе худо получилось.

— Доктор Бернстайн! — Светлова хлопнула журналом по столу и поднялась, рывком сняв очки. Поднялись со стульев и Андрей со Степаном. — Потому что доктор Бернстайн не мальчишка, а ученый!.. — Светлова толкнула створки окна и вернулась к столу. — У Бернстайна более пятидесяти известных работ. Признанный метод лечения глаукомы... Ничего удивительного, если на такую рабочую лошадку и поставят!

— Но-о...— рука Степана осторожно потянулась к лежащей рядом с журналом рукописи.

— А мне под что ставить?

Степан отдернул руку.

— Под ваш недолговечный энтузиазм? Было! И не раз!.. Где ваше исследование по вторичной катаракте, Степан Петрович?

Степан развел руками.

— А что с работой по использованию мощных ксенонов? — повернулась Светлова к Андрею.

— Вы же знаете, что работа оказалась бесперспективной!

— В который раз?.. И сколько восторгов было поначалу! И, заметьте,— Светлова постучала дужкой очков по рукописи,— та же аргументация: современно! актуально!.. На базе последних достижений!..

— Все-таки обидно,— Степан печально покачал головой,— если американец нас обскачет.

— Наука — не скачки!.. А уж если и скачки, то с препятствиями. А вас вышибает из седла у первого барьера!

Светлова протянула Степану журнал, Андрею — рукопись.

...Они почти дошли до дверей, когда она вдруг спросила:

— А кто ж будет вести больных доктора Вихрова?

— Я! — обрадовался Степан и раскинул руки.— Ну конечно же, я! Надежда Петровна!

— Прекратите, Степан! — И к Андрею: — Заявление!

4

На стене комнаты Андрея висел пришпиленный тремя кнопками странный портрет. Почти карикатура на Андрея: утрированно выпячен подбородок, вытаращены глаза. И все-таки чувствуется: руку художника вела доброта. Вот под этим портретом Степан и утрамбовывал коленом небольшой чемодан.

Андрей, закусив губу, торопливо перебирал бумаги на столе.

— О! — Степан настороженно приподнял коротко надписанный конверт, посмотрел сквозь него на свет.— Дыганову С. Н. И никаких тебе титулов!

— Говорят, они в одной школе учились.

— Представляю! — Степан покачал головой. — Представляю, каково теперь в этой школе пацанам. «Из наших стен вышло два академика! А один академик всем академикам...» Нет, Андрей, такое письмо не для чемодана. Чемоданы еще не утратили магического свойства иногда исчезать. Давай карман!

Вместе с письмом Степан попытался сунуть и деньги.

— Ну зачем?!

— Н-не будь кретином!.. Не Третьяковку едешь смотреть! Может, в «Арагви» посидеть придется!

— Ну да!

— А ты как думал? И не смотри волком на людей! Учись быть обаятельным.

Андрей смущенно улыбнулся.

— Во-во!.. Можешь и шире — не простудишься. И поменьше трепал! Раз идея носится в воздухе — возможен перехват. Скажешь — нужно минимальное излучение, а зачем... Наше дело, понял?

Степан выглянул в окно.

Под грибком детской площадки вокруг бледного гитариста толпилась дворовая молодежь. В конце двора, под сенью могучего каштана, стояла Галя.

Отошел от окна Степан, нервно потоптался на одном месте.

— На аэродром, извини, не поеду. Завтра две операции.

— Понятно.

— Присели?

Андрей опустился на диван. Степан плюхнулся на стул, уставился на уснувший посреди комнаты тапочек...

После ухода Степана Андрей подошел к подоконнику. Из окна он увидел, как от ствола платана отделилась Галя, пошла навстречу Степану. Потом они оба оглянулись, взмахнули руками. И сразу неуверенно тренькнул звонок в передней.

На площадке стояла смущенная Нина. Сияли ее большие н, это не вызывало сомнений, зрячие глаза.

— Не ждали, Андрей Михайлович?

— Нет... почему же... — Андрей неуверенно развел руками. — И очень хорошо. — И тут же сорвался от тревоги чуть не на крик: — Но кто тебя выпустил? Кто сегодня дежурит?

— Марь Степанна.

— Вот я Марь Степанне завтра задам!

— А завтра вы улетите! — В Нининых глазах полыхало столько счастья, такой праздник, ни с чем не сравнимый праздник прозрения угадывался в ее душе, что Андрею ничего не оставалось, как присоединиться к нему, сразу отбросив и тревогу перед трудной, еще не ясной до конца дорогой, и вспыхнувшее было возмущение попустительством старшей медсестры Марьи Степановны. Да и можно ли, действительно, придумать больший праздник для врача, чем исцеление почти безнадежного больного!

Вот она стоит перед тобой, твоя победа, в лучезарном облике молодой, сразу ставшей красивой девушки, и глаза ее, еще несколько дней назад удручавшие своей тусклой беспомощностью, эти глаза светятся, как открытые тобой звезды, как новые миры, перенаселенные благодарностью и любовью.

— Ну проходи ты, чего стоишь! — Строгости уже не получалось. Андрей протянул руки к Нине, и та сразу же с торжествующей улыбкой отдала ему довольно объемный сверток, оказавшийся таким тяжелым, что Андрей от неожиданности чуть не уронил его, — хорошо, Нина успела подхватить.

«Люстра, что ли? — подумал Андрей, ощутив под бумагой жесткость и причудливую конфигурацию металла. — О женщина! Не успела прозреть — сразу по магазинам!» — Он засунул сверток под вешалку в тесной прихожей, выпрямился и счастливо рассмеялся.

— Проходи! Сейчас чай будем пить!

Когда через несколько минут Андрей с чашками в руках появился в комнате, Нина, настороженно и просяще улыбаясь, стояла у его старого круглого стола, на котором никелево снял электрический самовар. Сначала он ничего не понял. Но когда Нина выдохнула: «Вот... Это вам», — чашки в руках Андрея жалобно звякнули, подпрыгнув на блюдцах, и он чуть не швырнул их на стол.

— Ну зачѐм ты все испортила?

Дрогнули губы Нины. Она умоляюще прижала ладони к груди.

— Да не сердчайте вы так! Отец ведь наказал. Деньги прислал телеграфом и наказал.

— Темный у тебя отец!

— И не темный вовсе! Охотник он. За этот год одних соболей взял дюжину.

Андрей метался по комнате: «И обидеть не хочется, и... черт знает, что получается!» — Он рванулся к стенному шкафу, торопливо раскидал рубашки и обернулся к Нине уже успокоенно улыбающийся, с небольшим транзистором в руках.

— Тогда уж так! Чтоб и у тебя память обо мне была.

— Она и так навек будет.

— Помолчи! — Андрей быстро крутил шкалу настройки. В заполнившуюся предвечерними сумерками комнату врывались, тут же исчезая, хрипловатые обрывки музыки и разноязыкой речи. — Батарейку заменишь — и порядок. Держи! — Андрей протянул приемничек Нине.

Она несмело взяла, осторожно, одной рукой обтягивая подол платья, опустилась на стул. Только теперь Андрей заметил, что платье сильно укорочено. Видимо, совсем недавно и торопливо отхватила Нина ножницами подол, еще недавно надежно прикрывавший округлые белые колени больших крепких ног. Пряча улыбку, Андрей отвернулся.

— Та-ак!.. Ну что ж... Самовар так самовар. — Он поднялся, хлопнув руками, легко подхватил самовар, понес в кухню.

Когда Андрей возвратился, Нина торопливо отошла от портрета, висевшего на стене, помогла расставить на столе чашки.

— Кто это вас так изуродовал?

Андрей не сразу ответил. Нарезал зачерствевшую булку.

— Почему изуродовал?

— Да уже не знаю... Разве дружеский шарж такой?

— Пей, пока горячий!

Нина послушно пригубила.

— Это нарисовал, — Андрей кивнул на портрет, — один мальчишка. Мой больной... Он ни разу меня не видел. Только трогал руками. Трогал-трогал, и вот...

Дрогнула чашка в руках Нины.

— Вы... вылечили его?

— Нет. — Андрей долил себе чаю.

Нина посмотрела на Андрея с тревогой.

— Спрятали бы! Тяжело, небось.

— Пусть висит! Чтоб не слишком радоваться, когда удача. Вот как с тобой.

— Я — удача?

— Конечно.

Нина хотела поставить чашку на стол, да уронила.

— Ой!..

— Это к счастью!

— Дак не разбилось!

Они одновременно нагнулись, и совсем близко оказались их лица... Медленно выпрямились. Отвели друг от друга глаза.

— Значит, удача... Хорошо-то как...

Она выпрямилась, закинула руки за голову, счастливо улыбаясь, подошла к распахнутому окну.

Звенела за окном гитара. Зажигались звезды.

— Красивое у вас небо. Густое! — Нина смотрела в окно. — И звезды большие.

— Хочешь, пойдем с тобой...

— Нет! — почти крикнула Нина. Она медленно поднялась и отчаянно, словно в омут, бросилась к Андрею, прильнула к нему, обхватила шею сильными белыми руками.

Андрей осторожно гладил ее плечи, чувствуя, как невольно напрягаются и чуть дрожат его руки.

Резко зазвонил телефон, и это стряхнуло с обоих ощущение.

Ослабли руки Нины, отпустили Андрея.

— Не поднимай, — сказал Андрей и отошел к подоконнику.

Гитары внизу уже не было. Никого не было. Ворчливо бродил ветер в темной кроне каштана.

И разрывался телефон... Нина смотрела на него почти с ненавистью. И под ее взглядом он захлебнулся и замолчал.

Андрей пружинисто оттолкнулся от подоконника, прошелся по комнате и включил свет.

Нина прикрыла ладонью глаза.

Сел Андрей на диван, закурил, зачем-то сказал:

— А ведь я в прошлом году чуть было не махнул к вам, в Сибирь.

Нина вскинула разгорающиеся надеждой глаза.

— А может... Не улетите завтра?

— Нет, Нина. Надо лететь. И давай-ка я тебя провожу!

Нина негромко вздохнула.

Но Андрей смотрел на нее уже спокойно и ясно, как и подобает смотреть удачливому врачу на исцеленную пациентку.

Выспаться в самолете, на что так надеялся поднявшийся до зари Андрей, не удалось. То ли зачаровала снежная, облитая близким солнцем равнина облаков под крылом, то ли мешало волнение, — почти весь полет проигрывалась и проигрывалась в уме предстоящая встреча с Дыгановым: искались нужные убедительные слова, даже манера держаться — «главное, понравиться старику!» — сон не приходил. Это раздражало. Андрей боялся прилететь в Москву расслабленным, не готовым к немедленным и решительным действиям. Тем не менее, когда огромное колесо, — Андрей сидел рядом с иллюминатором, чуть впереди стреловидного крыла, — пружинисто ударив по бетонке, бешено закрутилось, отбрасывая назад снопы золотистых искр и сизоватый конус пыли, Андрей почувствовал такой прилив подогретых нетерпением сил, что сразу поверил — и первый столичный день принесет удачу!

Переполненный этим завидным предчувствием, он решил звонить сразу из аэропортовского автомата.

Разговор по телефону вроде бы должен был насторожить Андрея, поубавить решимости разыскать Дыганова сразу, вот так вот, чтоб из аэропорта да к нему на прием. На том конце провода долго и терпеливо расспрашивали — кто, откуда, по какому вопросу, — не спеша ответить по существу. Только вовремя упомянутое Андреем имя Светловой внесло в разговор некоторый желанный перелом. После затянувшегося молчания, неразборчивых переговоров с кем-то ответили: «Станислав Нилыч сейчас на торжественном заседании, и неизвестно, будет ли сегодня в институте».

— Где идет заседание?

Трубку на этот раз повесили. Но тут сработала память. Вчера, уже засыпая, слышал Андрей в «Последних известиях» сообщение о круглом юбилее известного института, подарившего стране целую плеяду знаменитых ученых.

Стремительный промельк за окнами такси по-весеннему зеленого подмосковного леса и не менее стремительные щелчки счетчика, быстро перевалившего за три рубля (Степан знал, что делал, когда всучал деньги!), калейдоскоп столичных улиц с бесчисленными и, как

назло, вспыхивающими только красным светофорами, и шофер лихо затормозил у роскошного подъезда института-юбилея.

Когда Андрей деловито и торопливо пересек празднично убранный вестибюль, взлетел вверх по мраморной лестнице и толкнул высокую массивную дверь актового зала, мощным крещендо прогремел и затих под сводами последний аккорд оркестра.

Люди, гремя откидными сиденьями, стали торопливо растекаться к многочисленным выходам... Андрей рванулся вперед, к быстро пустевшей сцене.

Некоторое время он еще видел Дыганова за кумачовым углом президиума. И вдруг Дыганов исчез. Андрей негромко вскрикнул. Человек, с которым Дыганов только что разговаривал, все еще топтался у края стола, а сам Дыганов как сквозь сцену провалился!

Андрей остервенело заработал локтями...

— Товарищ!.. — пожилая дежурная бросилась Андрею наперерез, но он успел ворваться в едва приметную дверь у самой сцены.

Дыганов и рядом с ним человек атлетического сложения подходили к еще одной двери в глубине просторной комнаты.

Андрей побежал за ними.

Спутник Дыганова через плечо оглянулся и, пропустив Дыганова в дверь, прикрыл ее, повернулся к Андрею.

— В чем дело, товарищ?

— Мне... Дыганова...

— Одну минутку! — Атлет ослепительно улыбнулся. — Сейчас он выйдет. — Дружески подмигнув Андрею, он скрылся за дверью.

Дважды по диагонали измерил шагами Андрей опустевшую комнату. Дыганов не появлялся. Андрей осторожно толкнул дверь... Навалился плечом. Дверь не открывалась.

Метнувшись к большому окну, Андрей увидел, как Дыганов и его спутник пересекают пустынный двор.

В первой машине, куда наугад заглянул Андрей, ему белозубо улыбнулся огромный негр. В другой машине на заднем сиденье целовались. И когда над ними нависла сопящая голова Андрея, женщина взвизгнула.

— Извините!..

Андрей вдруг почувствовал необоримую усталость и склонился к парапету завязать шнурок ботинка. И тогда увидел Дыганова...

Шофер повернул ключ зажигания, когда в проеме заднего окна с опущенным стеклом возник Андрей.

Дыганов посмотрел на него строго и удивленно.

— Здравсте... Станислав... Нилыч!

Пулей выскочил из машины спутник Дыганова.

— Подождите! — почти закричал Дыганов, когда атлет недобро надвинулся на Андрея, и предостерегающе поднял руку. — Я вас слушаю, товарищ.

Андрей поспешно кивнул.

— Я из Одессы!.. Вам привет и письмо от Светловый.

Атлет вопрошающе посмотрел на Дыганова.

Дыганов кивнул и открыл дверцу, приглашая Андрея сесть рядом с собой.

6

Калитка подавалась под рукой легко и певуче. Стекло — хрустел под подошвами гравий. Желтым аквариумом надвигалась освещенная веранда... Из открытых дверей доносился, постепенно усиливаясь, монотонно-пронзительный звук.

Андрей невольно замедлил шаги...

Человек в белой рубашке стоял перед небольшим зеркалом и яростно тер щеки электробритвой. Не оборачиваясь, крикнул:

— Ты, Юрка?

— Нет... Я — Андрей.

Человек вырвал шнур электробритвы, повернулся.

— Кто вы?

— Я Вихров... Вы — Деркач?

— Деркач.

— Вот!.. Записка вам от Дыганова.

Принимая записку, Деркач недоверчиво спросил:

— Это вы с ним подъехали?

Андрей кивнул.

— Он со мной полдня сегодня толковал. Потом пообедали. — Почувствовав, что невольно расхвастался, Андрей смутился, сразу заговорил о другом. — А о вас мне еще Виктор Крамаренко рассказывал. Вы помните Крамаренко?

— Ну как же! — Деркач оторвался от письма. — Как он там, в Новосибирске? Не мерзнет?

— Он в Одессе. Там тепло.

— А?.. Ну да, ну да! — Деркач снова уткнулся в письмо и тут же оторвался. — А Дыганов... Откуда вас Дыганов знает?

— Он знает директора моего института Светлову! Вы слышали о ней?

— Ну как же! — опять воскликнул Деркач, но чувствовалось, что он совсем запутался. Пытаясь что-то для себя уяснить, Деркач метался по веранде, прятал бритву в кожаный футляр, бил себя по щекам наодеколоненной ладонью, с интересом поглядывал на Андрея.

— Ну-с... Значит, лазер. Значит, генерирование предельно малых величин... Собственно, почему предельно?

Андрей пожал плечами. Деркач махнул рукой, приглашая за собой в глубину дачи.

В небольшой комнате две стены занимали стеллажи с книгами.

— Меня больше интересует, что будет с дистанционной эмиссией у заданной точки. Я понятно говорю?

— Да. То есть... нет.

— Почему? Вы физик?

— Нет.

— Инженер?

— Я врач.

Деркач сел, запустил пальцы в тронутую сединой шевелюру.

— А зачем вам лазер?

— Понимаете, наш глаз...

— Лазером в глаз?!

— Да вы сейчас все поймете! — ладони Андрея изобразили подобие сферы. — Глаз почти прозрачная среда. А за ним — сетчатка. Если она отстала — человек слепнет. Наш луч проникает сквозь зрачок...

— Сварка?

— Я говорил — поймете!

Деркач усмехнулся, подошел к стеллажам.

— Сейчас и вы поймете... что все это.. Вы не физик, но, надеюсь, и не шизик? — он испытующе посмотрел на Андрея. — Вы хоть видели когда-нибудь лазер?

— Нет! — буркнул Андрей. — Я же из глубинки!

— Только давай не обижаться! Идет?

— Давай, как хочешь! — Андрей скользил взглядом по корешкам книг. — Только чтоб сразу за дело. У меня времени мало.

— Однако напор! — Деркача распирало от смеха, и он отвернулся к стеллажам.

Одна книга ложилась на другую, и уже выросла довольно внушительная стопка, когда, вздохнув, словно извиняясь, Андрей тихо сказал:

— И Миякава я читал.

— Ну, тогда не знаю! — Деркач раздраженно стал заталкивать книги на полку. Настороженно взглянув на поникшего Андрея, подошел к письменному столу и выдвинул ящик. — Есть тут один рефератик... По части малых генераций.

Андрей взял протянутую Деркачем брошюру, сразу раскрыл.

— Понимаешь, дело в том, — Деркач одел пиджак, поиграл крутыми плечами, — что сфокусированный поток, натываясь на преграду, не обязательно аннигилируется.

— Я знаю, — Андрей, не поднимая головы от реферата, сел на стул.

— Гм... Слушай, может, завтра прочтешь, а?

Андрей, наконец, поднял голову, посмотрел на Деркача отчужденно, непонимающе.

— Ну, некогда мне сегодня! В город надо. А дать тебе реферат с собой я не могу. Грифик видел?

— Понятно... А можно, я... можно, я тут, — Андрей постучал ногой по дощатому полу, — почитаю, пока ты не вернешься?

Деркач так растерялся от такой просьбы, что отвернулся от Андрея, несколько раз дернул рукой за туго затянутый галстук. Повернулся и зло, словно выругался:

— Ну, валяй! Читай здесь, раз уж так приспичило.

Андрей благодарно улыбнулся и снова ушел в реферат.

Деркач растерянно потоптался на месте, сказал с затихающей ворчливостью:

— Там на веранде холодильник. Можешь подзаправиться.

Андрей не поднял головы, даже когда Деркач, выходя, довольно внушительно хлопнул дверью. Впрочем, он вскоре вернулся.

— Послушай-ка! — с порога начал хозяин дачи.

— Это то, что мне надо! — Андрей восторженно потряс рефератом.

— Да очнись ты, ей-богу!.. Вот ведь какое дело... Может, я вернусь не один.

— Да, да! — Андрей кивнул и перевернул страницу.

— Так ты уж будь... Сообрази соответственно! Рефератик на место, а сам исчезни. Идет?

— Конечно.

— Да ты слышал, что я сказал?

— Слышал, слышал! — Андрей перевернул еще страницу.

Деркач покачал головой и вышел.

7

Негромко и таинственно шумел вокруг дачи подмосковный лес. Андрей бродил по нему, блаженно улыбаясь, иногда задевал ногой притаившиеся в темноте коряги, спотыкался и снова шел, раздвигая низкие ветви орешника. Вспугнул тяжело поднявшуюся в лет птицу. Неяркие северные созвездия висели над головой и, когда Андрей взглядывал на них, одобряюще подмигивали. Конечно, одобряюще!.. Как может быть иначе? Если в первый день сразу такая удача! И Дыганов, и Деркач... Интересный, видимо, мужик! Вот если бы его увлечь... Правильно Степан говорил: «Учись быть обаятельным!» Подружиться — дело будет. Приказать ему никто не может. Даже Дыганов. Так и сказал: «Не давите на Деркача слишком. У него сейчас очень трудный, очень ответственный опыт... Но он человек с сердцем!»

Вскрикнула резко и обиженно птица. Может, та самая, что спугнул Андрей. Вскрикнула и теперь сама вспугнула радужное настроение. «Размечтался! «Обаяние»! «Подружиться»! Работать надо! Самому как следует вникнуть!» — Андрей торопливо вернулся к желтому аквариуму веранды, прошел в комнату дачи.

Сказалась, однако, перегрузка долгого, начавшегося еще до рассвета в Одессе, предельно уплотненного событиями дня. Оглядев торопливо набросанную им схему лазерного генератора, Андрей вдруг почувствовал совершенно неодолимое желание ну вот на минуту — даже на полминуты! — опустить голову на стол — просто посидеть чуть-чуть с закрытыми глазами...

Сон это был или обморок? Андрей не видел, как ударили по окну сдвоенные лучи автомобильных фар, не слышал, как, сердито поурчав, затих мотор и тяжело заскрипели под ногами Деркача половицы на веранде.

Артур Иванович Деркач остановился на пороге комнаты, опершись рукой о косяк двери, несколько секунд пристально глядел на спящего за столом Андрея. И не было в его взгляде ни иронии, ни досады. Скорее виноватость какую-то, что ли, можно было прочесть в зеленовато-серых усталых глазах Артура Ивановича. Впрочем, такое созерцание уснувшего энтузиаста длилось недолго. Привычная, почти никогда не сходявшая с его крупного с тяжелыми, но удивительно правильными чертами породистого лица улыбка искривила губы. Деркач негромко хмыкнул и вернулся на веранду.

Очнулся Андрей, услышав, как стукнула дверца холодильника. Звук этот был не таким уж и громким, хотя и резким. Просто, видимо, хватило молодому здоровому организму тех нескольких минут глубокого забытья, чтобы восстановить жизненные силы, вернуть подвижническую готовность действовать — и немедленно, идти к цели — и безостановочно.

Едва Деркач с надкусанным яблоком в руках возник в проеме двери, Андрей пружинисто поднялся, потягиваясь, улыбнулся ему как старому доброму другу.

— Выспался уже? — удивился Деркач.

— Я не спал, Артур!.. Кажется, у нас все получится. Я вон тут набросал, очень схематично, конечно...

Похрустывая яблоком, Деркач приблизился к столу, небрежно глянул на чертеж. Ничего не сказал, только коротко вздохнул и зашвырнул огрызок яблока в открытую форточку.

— Ночь, брат, не для работы. Ночь — пора отдохновенья и любви.

— Ты один? — спохватился, наконец, Андрей.

— Нет, я с дамой-невидимкой. Сейчас она невидимой рукой поправляет невидимую прическу. — Деркач раздраженно стянул пиджак и швырнул его на диван.

— Поссорились?

— Просто не пришла.

— Может... что-то случилось?

Деркач пожал плечами.

— Что-нибудь благотворительное. Завтра в институте узнаю.

- Вместе работаете?
- Угу. Слава богу, в разных лабораториях. Пошли спать!
- Ты расстроился?
- Запнулся о порог Деркач, повернулся к Андрею.
- С чего бы это?
- Съездил бы да узнал. А я тут...
- Привет! Это, знаешь, куда?
- У тебя машина.

Деркач лениво поморщился, но потом в его усталых глазах появилась неожиданная улыбка. Он как-то очень добро и внимательно посмотрел на Андрея. Рука его потянулась к пиджаку. И вдруг он хлопнул им по столу, так что чертеж Андрея слетел на пол.

— А есть в этом нечто! Есть... Давай, Эверест-Галуа! Мой шею — едем к тете!

— Я-то зачем? — испугался Андрей.

— Нет уж нет! Публика требует автора.

8

Устойчиво, словно мчась над шоссе вместе со светом, металась перед фарами мошкara. Летело навстречу свинцовое полотно дороги с бесконечной белой полосой посредине.

Порыв Деркача, видимо, иссяк. Он сидел за рулем нахохлившись, как само воплощение досады.

Андрей видел эту перемену в настроении Деркача и испуганно ждал развязки.

Когда, гроыхнув, промчался слишком близко автофургон, Деркача прорвало.

— Взялся ты на мою голову! Придумал черт-те что на ночь глядя!

— Я думал, ты ее любишь.

Машина вильнула — Деркач с трудом выровнял.

— Конечно, люблю! — Он покосился на Андрея, усмехнулся. — У нас, понимаешь ли, все выверено с помощью последних достижений науки и техники.

— Как это?

— А запросто! — Деркач чуть повеселел. — Озадачили в прошлом году БЭСМ-4. Отработали перфокарты всех претендентов и претенденток и озадачили. Я оказался в числе ее трех кандидатов, она — в числе пяти моих.

— А почему у тебя пять, а у нее...

— Почему, почему!.. — Деркач сбросил газ. Впереди вспыхнул красным первый на их пути светофор. — Потому что, обращаясь к машине, врать нет смысла. Машина — не человек. Хочешь, чтоб помогла, — давай все исходные начистоту!

У белой надписи «Стоп!» Деркач остановил машину.

— Елена пяти поклонников не насчитала. А может... Короче — с ней у нас самый оптимальный вариант. Вообще-то начали эти вычисления дурачась. Однако... Похоже, машина оказалась права!

Вспыхнул зеленый свет...

Потом они остановились у тускло освещенного подъезда одинокого, как случайно уцелевшая башня поверженной крепости, высотного дома. Вокруг стили в лунном свете пустыри. И хотя суть их выражала само созидание — то там, то тут уже громоздились бетонные блоки будущих зданий, — Андрей по каким-то признакам угадал еще недавно лепившиеся здесь друг к другу приземистые домишки, старые, но обжитые, согретые дыханием не одного поколения, и от этого опять почему-то стало тревожно на душе.

Открыла им молодая стройная женщина с прямыми желто-золотистыми волосами, водопадно ниспадавшими от четкого пробора. В ее широко поставленных больших и пронзительно синих глазах прочитывался явный испуг. И цветы она просто вырвала из рук Деркача, словно именно они были так встревожившей ее недоброй приметой.

— Уезжаешь на полигон?

— Никуда не уезжаю.

Только тогда Елена разглядела Андрея.

— Знакомься! Это — Вихров, — Деркач перешагнул порог, потянул за собой Андрея. — Великий эскулап! Будет пересаживать сердце, печенки и со временем мозги!

— Понятно. И начал он с тебя! — она протянула Андрею руку. — Елена... За гвоздики спасибо. Это мои любимые цветы.

— Но позволь! — чуть не взрычал Деркач. — Цветы преподнес я?

— А надоумил доктор. Или пересадил мозги. Магда! Не засыпай! — Елена пошла в комнату, небрежно помахивая букетом. Деркач по-хозяйски уверенно двинулся за ней, увлекая за собой Андрея.

Магда оказалась полноватой блондинкой в халате явно с Елениного плеча. Круглое лицо молодой женщины поблескивало — Андрей догадался: только что то-ропливо сняла Магда крем.

— Здравствуйте, Артур! — пухлую ручку Магда протягивала Андрею.

— Здравствуйте. Только я... Андрей.

Вздрогнули припухшие веки Магды.

— О господи! Ну конечно!.. Это я со сна.

— Два раза знакомила! — рассмеялась Елена. — А Деркач убежден, что он яркая личность! — И к Андрею: — Магда час как с поезда. Но она еще разойдется! — Елена, что-то коротко шепнув Магде, быстро увела ее в другую комнату, прикрыла за собой дверь. Мужчины остались одни.

— Красивая, — тихо сказал Андрей.

— Корова сонная! — Деркач смял опустевшую пачку от сигарет, швырнул в открытое окно.

— Кто?

— Да эта... ее кузина.

— Я про твою Елену!

— А-а! — Деркач улыбнулся. — Елена чудесная!

Через несколько минут Елена вывела вроде бы совсем другую Магду — скромное, какое-то очень девчоночье платье, лицо слегка припудрено. Магда взглянула на Андрея смущенно, словно извиняясь за свой недавний вид при знакомстве. Впрочем, едва сели за стол, она действительно «разошлась», прямо с первой рюмки. Тараторила без умолку, так что Андрей не успевал отвечать на ее реплики, да как-то и не заметил, что Магда оседлала уже вопросы семьи и пола.

— Он мне говорит, — руки Магды ни на секунду не находили покоя, — брак, мол, это отжившая категория! Потомки, говорит, будут смеяться над моногамией, как над последней формой рабства. А утром... Утром я его и спрашиваю: милый, мол!.. Что ж ты, бедный, будешь делать с полигамией? А он как подхватится — и ходу! — Магда всплеснула дебелыми руками. Раскатисто захохотал Деркач.

Сверху в потолок постучали. Тоненько тявкнула собака.

Елена с тревогой взглянула на Андрея. Он смутился под ее взглядом и машинально, как воду, выпил водку.

— Магда!.. Съешь-ка хлеба с маслом! Ты уже... тепленькая.— Елена протягивала бутерброд.— Не пей больше, Маг!

— А ну тебя с маслом! И так распирает. Лучше я вам спою!

— Вот это дело! — Обрадовалась Елена и, грациозно перегнувшись, сама откинула крышку небольшого пианино, стоявшего у стены.

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану.
Я к друзьям обращаюсь,
Не сочтите, что это в бреду...

Голос у Магды оказался довольно сильным и приятным. Пальцы уверенно находили клавиши точных аккордов.

Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье повесьте
Упавшую с неба звезду.

Тихо подпевала Елена. Деркач глухо рокотал, видимо, не зная слов.

В потолок снова постучали. Заливалась лаем собака.

— Проклятая крупнопанельная цивилизация! — Магда хлопнула крышкой пианино.— В пампасы! Хочу в пампасы!..— Магда уронила голову на руки.

— Ну, Маг! Давай хоть сегодня без истерик! — взмолилась Елена.

Стук прекратился, но собака не унималась.

Деркач решительно направился к двери.

— Ты с ума сошел! — всполошилась Елена.— Я ее совершенно не знаю. Слышала — дама с собачкой...

— Дама — это хорошо!

— Давай сюда даму! — подняла голову Магда.— Мы с ней еще схлестнемся из-за доктора и... съедем ее собаку!

Деркач вышел.

Елена улыбнулась Андрею и наполнила его рюмку.

— Не сердитесь. Так редко удается подурачиться! Магда вас перебила, а я...

Андрей обрадованно встрепенулся:

— Понимаете... Лазер и глаз — это... только видимость парадокса!

— Парадоксы — предтеча открытий! — кивнула Елена, поощряя Андрея к рассказу.

Но в передней щелкнул замок, и Магда ударила туш. Елена торопливо поправила прическу.

Андрей привстал.

С торжественно-каменным лицом Деркач шагнул в сторону от дверей, и порог переступила смело подкрашенная старушка с болонкой на руках.

Магда застыла с приоткрытым ртом, но через секунду остервенело обрушилась на клавиши, и грянул «собачий вальс». Радостно залаяла собачка.

Появление старушки, а не ожидавшейся всеми, видимо, от прочно сложившегося представления по чеховскому рассказу, молодой скучающей дамы, было столь неожиданным, что, после явного замешательства, — к величайшему удовольствию застывшего у дверей со скрещенными на груди руками автора сюрприза, — все кинулись к полунощной гостье, усаживая ее за стол, наперебой предлагая закуски, одаривая умилением и щедротами стола ее собачонку, как выяснилось вскоре, с опереточным именем Пепита.

Удалось заставить выпить рюмку водки с бальзамом и саму хозяйку Пепиты Дарью Семеновну. И веселая кутерьма закрутилась с новой силой. На какое-то время это странное бездумное веселье захватило и Андрея. Сказались, видимо, те несколько рюмок, выпитых почти без закуски в надежде растопить непроходившее почти весь вечер напряжение.

И вдруг, в одну секунду, — как тогда, после короткого сна-забытья за столом на даче Деркача, — и хмель, и усталость, и скованность разом отпустили, и Андрей увидел все происходящее как бы со стороны, и осудил всех сразу и себя главным образом.

Елена первой заметила недоброе протрезвление Андрея. Она улучила момент и, нагнувшись к нему, шепнула, обдав лицо тонким ароматом духов и хорошего вина:

— Не дуйтесь! Побесимся уже сегодня, а завтра подумаем, как вам помочь.

Андрей кивнул. Но если первое извинение Елены — «так редко удастся подурачиться!», — ее готовность выслушать суть дела действительно успокоили Андрея и даже подключили в какой-то мере к общему настроению, то теперь его кивок ничего не означал, кроме разведготовности все стерпеть в силу явной зависимости его

дела от доброй воли этих, видимо, недобрых людей. «Беситесь с жиру, черт бы вас всех побрал!» — вот что или нечто подобное читалось в карих с внезапно сузившимися зрачками глазах Андрея даже тогда, когда он, поддавшись увещеваниям Магды, схватил ее пухлую розовую ладошку и закружился в хороводе вокруг напряженно топтавшейся на задних лапках повизгивающей Пепиты.

Вскоре трезвое отчуждение Андрея почувствовал и Деркач. Когда Андрей, устало присев за журнальным столиком, машинально перевернул страницу какого-то французского издания, Артур Иванович подошел к нему с бокалом минеральной воды, навис могучей скалой, потом хлопнул по плечу.

— Что скис так быстро, великий исцелитель?

— Ничего я не скис.

— А что, собственно, случилось?

Андрей отшвырнул журнал и порывисто встал. Посмотрел на Деркача с вызовом.

— Кешку увезли, вот что!

Именно в эту минуту в комнате задержалась относительная тишина, и все услышали несуразный выкрик Андрея, удивленно посмотрели на него. Первой отреагировала Магда:

— Какого Кешку? Куда увезли?

Видимо, хмель не до конца отпустил Андрея, потому что, смутно угадывая неуместность грустного рассказа, он все же повел странную сбивчивую речь.

— Лечил я одного... Мальчишка шести лет из Пензы... Терпеливый такой. Художником хотел стать... Меня вот наощупь нарисовал. Похоже! Честное слово, похоже...— Руки Андрея взлетели и бессильно упали.— Не смог. Ни черта не смог мальчишке сделать, Отслоение сетчатки... В районе желтого пятна.

Магда всхлипнула, вскочила, вылетела в другую комнату.

Деркач повел ей вслед вывернутой вверх ладонью и укоризненно посмотрел на Андрея, словно спрашивая: «Добился? Доволен?..»

Обиженно заскулила собачонка.

— Все! — Деркач хлопнул ладонями.— Ночной бал окончен. Отбой!

— Правильно! — подхватила Елена.— Завтра рабочий день.

— Я не хотел никого обидеть,— не очень искренне буркнул Андрей.

— Успокойся! — Деркач предостерегающе поднял ладони.— Обидеть нас трудно. А выспаться тебе надо — это уж точно!

Устроить Андрея с ночлегом любезно согласилась хозяйка Пепиты, объявив о свободной комнате сына, уехавшего на курорт.

Деркач собрался было спать в машине, но Елена молча опустила спинку диван-кровати, тряхнула чистой простыней.

— Ни к чему твое спартанство, Артур. Всем места хватит.

Проснулся Андрей от того, что его внушительно потрянул за плечо Деркач. Болонка, стоя на задних лапках, передними опиралась о постель Андрея, с выжидательным любопытством поглядывая на гостя.

Прежде чем сойти к машине, осторожно,— Деркач открыл дверь ключом,— вошли в маленькую кухню Елениной квартиры. Молча выпили кем-то приготовленный кофе. Деркач держался великолепно: ни словом, ни взглядом не корил Андрея, заботливо подвигал ему то хлеб, то колбасу, и от этого молчаливо подчеркнутого великодушия Андрею хотелось провалиться сквозь все семь этажей высотного дома.

Молча вышли — Деркач закрыл дверь почти бесшумно, замок вроде и щелкнуть не посмел. Лифт еще не работал — долго спускались по пушечно гулким маршам лестницы.

В машине, на пустынном, вбирающем отблеск зари, широком шоссе, Андрей не выдержал.

— Артур!

— Ум?

— Ты прости меня, пожалуйста! И Елену я попрошу... Испортил компанию! Видно, перебрал все же.

Деркач вздохнул.

— Ничего ты не перебрал!.. И нечего извиняться. Одержимость идеей для ученого — первое условие. Так что все правильно.

— И Елена так думает?

Деркач не ответил. Не остановившись на красный свет равнодушного светофора, сказал, когда проскочили перекресток:

— Только не думай, что одержимость всех ученых должна фокусироваться именно на твоём лазере! Ученый обязан смотреть на вещи широко.

9

Человек в белом халате не без усилия поднял и установил на стенде толстую стальную плиту.

С коротким стуком, а потом бесшумно, и это придавало происходящему особую зловещность, в плиту уперся красноватый луч. И сталь начала плавиться, стекая от луча кипящими красными каплями...

Деркач глянул на совершенно ошеломленного Андрея, усмехнулся и отпустил на пульте красную кнопку.

Исчез луч. Но еще долго шипел расплавленный металл.

— Понятно,— Андрей, облизнув пересохшие губы, обрел дар речи.— Будем считать, что мощь лазера ты продемонстрировал. Теперь...

— Какую мощь? Если хочешь знать, это наш минимум!

И тут вошла Елена. Едва взглянув на остывающую, почти разрезанную плиту, она сразу поняла, что сейчас произошло. Молча кивнув Андрею, как бы между прочим предложила:

— А если... модулировать излучения по гамма-квантам?

Андрей посмотрел на Елену с надеждой, но тут же насторожился. Это была незнакомая Елена. И дело не в белом халате. Прочлась в ее взгляде какая-то отчужденность. «Ну вот, обиделась за вчерашнее!» — с тоской подумалось Андрею.

— Попробовать газовую фокусировку? — снова спросила Елена.

Деркач покачал головой.

— Большое рассеивание пучка. Хотя... нужно подумать!

— Когда?

Деркач взглянул на Елену и увидел, что она смотрит на Андрея. И он тогда посмотрел на него.

— Ты, наверное, забыл, какое сегодня число,— между тем сказала Елена.— Так вот, тебя вызывает Дыганов. Напомнит.

Деркач коротко вздохнул и стал торопливо стягивать

халат, стараясь не замечать совершенно растерянного лица Андрея.

— Но... Дыганов и мне обещал,— робко вставил Андрей.

Ничего не ответив, Деркач зашагал к выходу.

— Обещать легко! — Елена проводила взглядом уходящего Деркача.— А с него снимут голову, если он через неделю...

— Вы тоже обещали! — с обидой и отчаяньем вырвалось у Андрея.

Вспыхнула Елена.

— Я просто... неточно представила! — Нотки вины в собственном голосе, видимо, раздражали Елену, и она старалась их заглушить.— А вы совсем не представляете!.. Впрочем, это естественно. Совсем не представляете, чем тут занимаются! Вы решили вернуть зрение ста, пусть тысяче слепых. А Деркач, если хотите... Его работа спасет, может быть, миллионы жизней! Правильно я говорю, Кирилл?

Лаборант вздохнул, кашлянул в кулак.

— Тут такое дело, что, конечно, надо взвесить, что важнее.

— Для кого?

— Для человечества,— совершенно серьезно ответил Кирилл и поднял на Елену полные наивной голубизны глаза.

Елена хмыкнула и поспешила к выходу.

Уже приоткрыв дверь, она снова оглянулась и увидела почти застывший от горя профиль Андрея.

Что-то вроде раскаяния мелькнуло в ее глазах, дрогнули губы. Если б Андрей смотрел на нее, ему б могло повериться: вот сейчас Елена вернется, опять пообещает ему помощь Деркача. Нет. Она вышла, крепко припечатав дверь.

Кирилл подбросил и поймал отвертку.

— Ясенько? Не будет Деркач этим заниматься. И то сказать — наверно, уже дырку на пиджаке просверлил.

— Какую дырку?

— Под медаль лауреатскую. А может... орден дадут.— И опять у Кирилла взлетела отвертка.

День прошел совершенно бесполезно. К Дыганову прорваться не удалось. Да и Деркач умудрился покинуть институт, не зайдя в лабораторию. Оставалась надежда на вечер. Там, на даче, наедине с Деркачем, он снова

сумеет увлечь Артура своей идеей. И уж, конечно, больше не присоветует ехать к Елене!

Андрей тихо подходил к веранде, не сразу узнав ее, потому что сегодня она не светилась желтым аквариумом. Пошарив под ковриком, он извлек из-под него ключ. Дверь открылась в темноту... Спичек в кармане не оказалось, Андрей долго искал выключатель.

«Уехал на полигон. Буду четверг». Слова «на полигон» зачеркнуты, но небрежно. Андрей бросил записку на стол, потянул за узел галстука и выключил свет. Упал, не раздевшись, на топчан.

В окно смотрели те же звезды. Андрею показалось, смотрели грустно, как глаза родственников на безнадежного больного.

10

— Отойди-ка от щита! — Кирилл протолкнул руку с оголенным концом провода за панель с приборами. Слепила короткая вспышка — и сразу придавила темнота. Только и свету, что из двух окон. Зеленоватый свет вечерней улицы — дрожащий отблеск незаконченного рекламного призыва: «ХРАНИТЕ СВОИ ДЕН...».

— Та-ак, — крикнул Кирилл. — Для начала закоротили.

Стремительно ширилась полоса света, и в желтом дверном проеме четко обрисовался силуэт Елены.

— Смотрите, не спалите всю установку!

— Ну что вы, Елена Николаевна! — отозвался Кирилл. Под окнами промчался, шурша шинами, троллейбус, и Андрей негромко пробурчал:

— А надо бы!..

Елена услышала.

— Не озлобляйтесь. Это первый признак неудачника.

— Неудачника!.. — повторил Андрей. Луч от аварийного фонарика скользнул по его лицу. — Откуда вам знать, что такое неудачник?

И тут всныхнул свет.

Андрей смотрел на Елену в упор.

— Небось, в школе все пятерки? В институт с медалью, а диплом с отличием? И будьте любезны — в аспирантуру?

— Разве это плохо?

— Это восхитительно! — подхватил Андрей, не замечая испуганного взгляда застывшего у щита Кирилла. — У вас не было корреспондентов из «Комсомолки»?

— У меня была, кстати, одна четверка. За поведение. Я побила физиономию одному грубияну.

Кирилл чуть не рухнул со стремянки у щита.

— Ну, это просто блеск! — Андрей вскинул руки. — Какая оригинальная девчонка! Какое чувство собственного достоинства! Отхлестала по щекам лопухого грубияна.

Елена неожиданно улыбнулась.

— Фонька и правда был лопухим! Как вы... догадались?

— Разумеется!.. Он был лопухим и бездарным. И он стал неудачником. А девочка рванула вперед. Изыщный спринт по укатанной дорожке.

Кирилл осторожно дернул Андрея за рукав, но тот вроде и не почувствовал.

— Финиша нет! Только нарастают овации на трибунах. И цветы под ноги. Под красивые ноги.

Кирилл невольно взглянул на ноги Елены.

Она быстро села, одернув подол юбки.

— Будущее выверено! С помощью электроники определен оптимальный вариант личного счастья.

— Откуда вы знаете?..

— Он тоже удачливый спринтер! Бежим вместе, не ведая сомнений. Над нами солнце. И черт с ним, что не все его видят! «Трагедия горбуна не может быть всемирной трагедией!» — Гете сказал, не кто-нибудь. Не может! Что поделаешь, если старая, как мир, медицина не сумела помочь отдельным несчастливцам?! Мы мыслим глобально. Мы надежда человечества. И мы его любим!..

Елена порывисто поднялась и вышла.

Андрей тяжело опустился на табурет.

— Ну, все! — Кирилл сокрушенно взмахнул паяльником. — Теперь Деркач тебя выгонит. Она его, знаешь, как... — И он схватил себя пальцами за горло.

А на следующий день прямо на летном поле около распластанного ИЛ-18 стояли две черные машины и светлая «Волга».

В овальном бортовом проеме показалась голова Деркача и сразу исчезла.

Первым на трап ступил Дыганов. Сразу за его спиной выросла атлетическая фигура постоянного спутника.

Дыганов коротко взмахнул рукой и сдержанно поклонился. Елена ответила ему смущенной улыбкой.

— Это уже вполне самостоятельно! — Деркач поцеловал Елену и протянул букет розовых пышных цветов. — Альпийские пионы! Шестьсот тридцать шесть метров над уровнем моря.

В машине на пути к городу Елена спросила:

— Деркач, какие у тебя отметки в школе были?

— Ты... чего?

— Ну... ты был отличником?

— Конечно! — И Деркач скосил на Елену совершенно изумленные глаза, потом вздохнул: — Никогда не могу угадать, каким вопросом ты меня встретишь.

11

Андрей осторожно приоткрыл дверь в лабораторию и увидел Деркача, склонившегося над столом с логарифмичкой. Тот поднял глаза на Андрея и, словно не заметив никого, снова склонился над линейкой.

Андрей молча прошел в дальний угол, забрал большой чемодан. От порога глянул на Деркача. Вышел, хлопнув дверью.

В вестибюле института вислоусый дядька в форме бойца военизированной охраны ничего не хотел слушать.

— Понимаю, сынок, что твой чемодан, а только у нас НИИ, ящик, значит. Пропуск надо на любой чемодан, хоть твой, хогь самого Дыгана.

— От кого пропуск?

— А вот тебе бланочек по всей форме! — Вахтер протянул Андрею бумагу с красной полосой. — Работаете у Деркача? Вот Артур Иванович пусть и подпишет.

Андрей поднял чемодан и тут же опустил его.

— Подпишу и назад — пусть постоит, ладно?

Вахтер вздыхает.

— Непорядок, конечно, да уж ладно! Лифт поломанный. Инженеры кругом, лауреаты, а лифт справить нет сообразительности... Хай стоит!

Деркач подмахнул пропуск не глядя.

— До свиданья, — хрипло сказал Андрей.

Деркач что-то буркнул в ответ.

Андрей подошел к двери, взялся за ручку.
— Все правильно! Понял?
Андрей застыл, медленно повернулся.
Деркач торжествующе потряс испещренным листком.
— Кажется, я тебе доведу интенсивность до такого минимума — крестом вышивать будешь!..
Андрей обессиленно прислонился к дверному косяку.
— Ну, чего стоишь? У меня всего три дня просвета.
Андрей медленно приближался к Деркачу и вдруг кинулся на него, облапил, но, отброшенный резким движением, приложился спиной к стене.
— А ты отличный парень, Артур! — заорал он и тут же сморщился, стал потирать рукой спину.
— А ты — законченный псих!.. — тихо ответил Деркач и громко хлопнул ладонью по столу. — Где этот Кирилл? Неделя меня не было — и все расплзлись, как тараканы!

12

— Елена Николаевна! — Вахтер, разведя руками, кивнул на чемодан. — Пошел ваш этот... лаборант новенький, за пропуском, и нет его. А чемодан на посту — не порядок.

Елена подхватила чемодан, пошла с ним к лестнице.

— Да куда ж вам, Елена Николаевна! И лифт стоит...

— Ничего! — Елена одолела несколько ступенек. — Он говорит, что я спринтер!..

Вахтер задумался над замысловатым пояснением, потом крикнул Елене вдогонку:

— Это уж точно! Симпатичные вы, дай бог!..

Толкнув ногой двери лаборатории, Елена переступила порог и сразу увидела Андрея и Деркача, склонившихся над чертежом. Над ними торчала голова Кирилла. Услышала и рокошующий от еле сдерживаемого торжества голос Деркача: «...и тогда избыточная интенсивность будет поглощаться».

Чемодан опустился с внушительным стуком.

Андрей и Кирилл увидели Елену, а Деркач все еще смотрел в свой чертеж.

Елена отвернулась и сразу вышла.

— Да куда ты смотришь? — возмутился Деркач, заметив, что взгляд Андрея прикован к двери. — А это что? Кира, что за гроб в лаборатории?

Кирилл молча прошел к двери, поднял чемодан и отнес его в дальний угол.

— Смотри! — нетерпеливо дернул Андрея за рукав Деркач и ударил карандашом по чертежу...

Они проработали неделю почти без перерыва. Спали по три-четыре часа. Теперь гнал Деркач. Его по-настоящему увлекла идея управляемого снижения мощности лазерного луча.

Когда в воскресный день Андрей, быстро пройдя по коридору тихого, словно вымершего, института, толкнул дверь деркачевской лаборатории, его оглушил неожиданный рев толпы. «А-а-а-а!» — слилось воедино неистовство стадиона и крик сердца комментатора. — Ая-я-яй-я-яй! Упустить такую возможность! Сабо буквально вышел один на один с вратарем! Ну, в каких-нибудь пяти метрах...»

«Спидола», выхлестнув тонкий прут антенны, стояла на верстаке рядом с лазерной установкой. Кирилл, зажав голову руками, сокрушался вместе с комментатором.

Деркач, кроша мел, торопливо что-то считал на огромной черной доске. Ни он, ни Кирилл Андрея не замечали.

Андрей одним движением натянул на себя халат, подошел к верстаку.

«Угловой удар! Почти вся дина...» — Андрей выключил «Спидолу».

— Ну чего ты? — обиделся Кирилл.

— Давай работать, Кира.

Кирилл развел руками, кивнул на Деркача — не во мне, мол, дело.

— Где был-то?

— В институте Гельмгольца, — Андрей ответил шепотом. — Слышал о таком?

— Не-а.

— Ну и не знай лучше.

— Что случилось? — Деркач повернулся к ним с перекосенным лицом.

— Что? — Кира часто заморгал. — Ну, разговариваем.

— Я не об этом! — Деркач топнул ногой. — Только что был фон. Постоянного контура фон!

Андрей и Кирилл переглянулись.

— А! — обрадовался Кира. — Репортаж! — Он потянулся к «Спидоле».

— Не надо! — остановил Деркач. Он несколько се-

кунд постоял, уставясь в одну точку, круто повернулся к доске и опять застучал мелом...

— Слышь, Андрей,— Кирилл тоже перешел на шепот, но это ему трудно давалось.— Шеф мне все-таки путевочку выбил.

— Молодец!

— Кто?

— Деркач... Подержи-ка кончик... Спасибо.

— Вежливый ты. Все врачи вежливые?

— Должны быть все.

— Все! — Деркач положил мел, вытер платком руки.— Давайте попробуем.

И снова ударили три коротких, как выстрелы, удара, и на матовой пластинке трижды вспыхнула красная точка.

Медленно, словно опасаясь беды, Андрей подошел к щиту. Рывком, как повязку с больного места, снял контрольную пластинку. Сразу бросились в глаза три аккуратных дырочки в пластинке.

— Ну и что? — Деркач передал пластинку Кириллу.— Это ж непрозрачный конибий! А глаз, ты говоришь, прозрачный.

— Глаз!..— Кирилл вскинул пластинку. Свет от лампы пробивался сквозь отверстия, светился на Кирином лице тремя золотистыми мушками.— Такими ударами башку просверлить можно!

— Мне уже просверлили! — глухо проворчал Деркач.— Хватит на сегодня! — Он снял халат, потянулся.

Андрей смотрел на Деркача уничтожающе, но тот делал вид, что не замечает его взгляда.

— А ведь я, кажется, дорубал! — Кирилл хлопнул в ладоши.— Что мне за это будет, Артур Иванович?

— Нобелевская премия.

— Нет, правда!..— Кирилл повернулся к Андрею.— Надо всю систему,— он обвел рукой хитросплетение проводов и блоков на стене,— переиначить на понижение исходного.

— Да! — обрадовался Андрей.

— Да? — Ноздри Деркача раздулись.— А как я буду свой опыт ставить? Или это уже никого не интересует? — Он повернулся к Андрею.— Ты хоть газеты читаешь?

Кирилл почесал отверткой затылок.

— Тут, конечно, надо решить, что важней.

— Кому? — повернулся к нему Деркач.

— Человечеству.

Деркач хмыкнул. Пошел к шкафчику.

— Сегодня ночью я, наконец, буду спать. Ясно?

Андрей и Кирилл не смотрели на Деркача. Он не дошел до шкафчика, вернулся к Андрею.

— Ну, имей ты совесть! Вчера я когда лег? А позавчера? Всю неделю, Андрей!

— А хочешь... За пять минут сниму всю твою усталость?

— Да иди ты...

Но Андрей успел заметить в глазах Деркача просыпающийся интерес.

— Научу — оживешь! — Андрей сбросил халат. — Знаешь, что такое хатха-йога?

Через несколько минут Деркач лежал на полу. Носки ног разошлись в разные стороны, безжизненно, ладонями вверх вывернуты разметанные руки. Голова чуть свернулась набок, глаза закрыты.

Кирилл стоял над ним, как боксерский рефери над нокаутированным. И монотонно звучал голос Андрея:

— Постарайся представить синее небо. Повторяй про себя: «Синее небо, синее небо!..»

— А правда, что-то светлеет!

— Молча лежи!.. Ты никого не слышишь. Ты видишь синее-синее небо.

Деркач послушно умолк. И тут они услышали вскрик женщины.

Андрей и Кирилл вздрогнули.

Елена с порога бросилась к Деркачу. Тот резко сел, и тогда Елена испуганно отшатнулась.

— Господи! Что здесь происходит?

— Это все он! — Деркач ткнул пальцем в Андрея, пружинисто поднялся. — Он ко всему еще йог! А гвозди можешь глотать?

— С ума сойти! Ну, вот что, йоги и факиры! Не хватит ли на сегодня? У Магды блестящее предложение.

— Видишь? — Деркач развел перед Андреем руками. — Все против тебя!

— Почему против? — сразу насторожилась Елена. — Завтра мы...

— Завтра я уезжаю с Дыгановым.

Елена решительно положила на подоконник сумочку.

— Тогда будем работать.

— Тогда не стойте над душой! — Деркач петушино взмахнул руками. — Дайте подумать, подсчитать!.. Мне сейчас, кроме Кирилла, никто не нужен!..

13

Андрей и Елена стояли на перекрестке двух шумных улиц.

— Собственно говоря, куда идти... это не так уж важно, — грустно сказала Елена и пошла. Андрей неуверенно двинулся за ней.

Сначала она молча шла в толпе. В густой и бесконечной толпе, над которой вспыхивали первые фонари, подрагивали неоновые рекламы и светилося медленно угасавшее небо. Шли долго. И, кажется, не замечали, как редет и редет людской поток, приглушенной становится шум города. Андрей очнулся первым, поразившись почти космическому безмолвию вокруг.

И пейзаж казался инопланетным. Пока не удалось рассмотреть, что причудливые скальные нагромождения на стылом горизонте — это всего лишь строительные блоки и камень будущих фундаментов. А циклопически высокие ажурные конструкции — бездействующие башенные краны. Грустно хрустела щебенка под ногами, потом Елена сказала:

— О, скамейка!

Среди нежилого хаоса чистая садовая скамейка выглядела чудом.

— Что-то я напутала! Окраина, да... не так! — Елена опустилась на скамейку, весело покосилась на присевшего на самый край Андрея.

Андрей украдкой глянул на часы.

— Хочется вам послать меня к черту?

— Нет. — Андрей покачал головой, спокойно посмотрел в насмешливые глаза Елены. — Хочется вас поблагодарить.

— Не надо! — Смешинки исчезли. Она отвела глаза. — Какой открытый горизонт! — Быстро повернулась к Андрею. — Ваш любимый цвет? Какой?

— Синий.

— Какой синий?

— Цвет неба.

— Голубой.

Андрей подумал.

— Нет, синий.

— Как сейчас?

— Как над морем.

Елена подумала. Кивнула.

— А я на море укачиваюсь. А вы?

— Я нет.

— А плавали далеко? Вокруг Европы?

— Вокруг Антарктиды.

— Господи, зачем?

— Ходил судовым врачом. С китобоями.

— Ого!.. Трудно жилось?

— Нормально. Как всем.

— А мне... У меня, правда, все как-то легко.

Кивнул Андрей:

— Ну и хорошо. Вовсе не обязательно, чтоб всем над-
рывать.

— Только вы напрасно! Никаких папочкиных протек-
ций. Просто везло!.. Вот и звезда зажглась.

Андрей поднял голову, увидел звезду. И, как несколь-
ко дней назад, снова свет ее показался тревожным и
печальным.

— Я много говорю, да?

— Нет, почему.

— Деркач уверяет — ужасно много! Говорит, ему
иногда хочется стукнуть меня по голове... А я оттого, что
он ничего не видит! Я ему покажу, а он злится. Говорит,
я ему разрушаю восприятие мира в комплексе. Приду-
мал же — мир в комплексе!.. Что вы слушаете?

— Вас.

— И что-то еще!.. Что?

— Не знаю... «Мир в комплексе»! — Андрей усмех-
нулся. — Понимаете... Привыкли мы, что ли, к общим ло-
зунгам. «Все для человека!» И человек становится ка-
ким-то абстрактным. Вообще человек. Вот для кого-то
и все! А если кому-то очень плохо — ну, это частный
случай. Стоит ли отчаиваться! Особенно, когда сам здо-
ров и весел.

— Вы часто болели?

— Я нет. Но я всё время с больными. Говорят, врач
должен привыкнуть. Только не получается у меня.

— И не получится!.. К чему вы прислушиваетесь?

Еле-еле доносился непонятный прерывистый звон.

Они переглянулись. Елена приложила палец к гу-
бам и поднялась. Огляделась... Ни души вокруг. Но

долетали откуда-то из-под земли тонкие металлические звоны. Елена протянула Андрею руку и осторожно шагнула...

Вниз, под основание будущего дома, вело винтовое полукружье уже потертых ступеней.

Андрей спустился и осторожно приоткрыл дверь. В большом подвале горела одна яркая лампа. На стенах поблескивали и рдели багрянцем силуэты парусных фрегатов, изгибались чешуйчатые хвосты русалок. Три человека — старик в сложных афотических очках, средних лет художник с аккуратной бородкой и совсем юный бледный паренек — трудились над листами податливого металла. Весело перестукивались молоточки чеканщиков. Негромко пел забытую песню о старом Хаз-Булате человек с бородкой.

Приход Андрея и Елены первым заметил юноша.

Елена ему кивнула, а юноша потряс головой, словно страхивал наваждение.

Бородатый смолк, и тогда Елена сказала:

— Здравствуйте, люди Алладина!

Молоточки еще раз цокнули и замолчали.

Бородатый взглянул на вошедших неприязненно.

— Как вы сюда попали?

— Мы шли на звук,— Елена кивнула на медный лист.— И песня...

Старый чеканщик снял очки. Сильно щурясь, сказал:

— Говорил, распелся не к добру! Тут только металл петь должен.— И вдруг совсем по-доброму:— Ну, проходи, красавица, коль уж так!

Елена благодарно кивнула и шагнула вперед, потянув за собой Андрея.

Смотрели со стен мастерской медные лики, тоненько стучал молоточек старого чеканщика. Елена и Андрей сделали несколько шагов, и им открылся почти законченный триптих: в центре Прометей, слева — Икар, справа — Марс... Профиль бога войны немного напоминал Деркача. Под взглядом Елены совместились лица настоящего Деркача и медного Марса... Она сначала очень удивилась, потом беззвучно рассмеялась. Хотела поделиться открытием с Андреем, но что-то удержало ее. Елена только приблизилась к Андрею, коснулась его плечом и так стояла...

Звенели за их спинами молоточки. Снова завел негромкую песню бородатый чеканщик.

Теперь Елена смотрела на Икара. Покосилась на Андрея. И он на нее. Оба сразу отвели глаза. Снова Елена взглянула на Икара. Нет... Здесь никаких совмещений.

— Нравится? — голос молодого чеканщика прозвучал за спиной Елены неожиданно. Она вздрогнула и отпрянула от плеча Андрея.

— Кафе здесь будет!.. Кафе будет называться...

— «Алые паруса»! — закончила Елена.

— И нет! — обрадовался молодой ошибке. — «Мечта»!

— С ума сойти, как оригинально! — Елена пошла в сумрачную глубину подвала и почти наткнулась на серую от пыли крышку рояля. Ударила пальцем по шерба-тому клавишу — звука не было. Провела рукой по всей клавиатуре — печально тренькнули три-четыре струны.

Молодой опять оказался рядом. Нравились ему роль гида в этой странной мастерской. Он уже открыл было рот для очередных пояснений, но в это время жалобно позвал старый мастер:

— Петя!.. Где мои очки?

Сухие ладони мастера беспомощно шарили по верстаку.

Елена захлопнула крышку и повернулась на каблучке.

— Рояль немой! Интересно, как он сюда попал?

Старый чеканщик вздохнул:

— Рояль немой, мастер слепой. Зажились оба!..

И Андрею вдруг показалось, что все с укором смотрят на него: и старый мастер, и чеканщик с бородкой, и одноглазые барельефы Прометея, русалок и богатырей.

Издали пробился голос Елены:

— Что с тобой?

— Пойдем скорей, — ответил Андрей и быстро пошел к истертым ступеням, не оглядываясь, ничуть не сомневаясь в том, что Елена бросится за ним. Тревога. Та еще ничем не объяснимая тревога, что возникла при взгляде на первую зажегшуюся над пустырем звезду, выросла вдруг до размеров неодолимого страха. И Андрей ничуть не удивился, получив из рук сочувственно молчаливого вахтера, едва они с Еленой перешагнули порог института, бланк телеграммы. Читал наклеенные ленточки слов, и буквы не прыгали: «Привезли Нину. Вторичное отслоение районе желтого. Поторопись. Степан».

Знакомое чувство собранности стремительно вытеснило растерянность и страх, знобившие Андрея на всем пути в институт.

— Артур!.. Только не кричи сразу — поработаем сегодня до утра? Завтра мне надо в Одессу. Вот. — Андрей протянул телеграмму.

Деркач прочел, молча вернул телеграммный бланк Андрею.

Не дожидаясь его ответа, Елена повернулась на каблуках, бросила через плечо:

— Я пойду сварю кофе.

Деркач тяжело уставился на Андрея.

— Нина кто? Невеста?

Елена чуть задержалась на выходе.

— Моя больная... Месяц назад оперировал. Думал — все с ней в порядке.

— Значит, неудача... Что ж, при научном поиске, — Деркач возился с контрольной шкалой регулятора, — какой-то процент неудач неизбежен. А вообще в медицинском вашем деле, мне кажется, больше на природуматушку полагаться нужно. Вот где-то я читал... — Он выпрямился, глядя мимо Андрея сощуренными глазами, покрутил в пальцах тонкую отвертку. — Не то в Вене, не то в Берне один врач надумал лечить инфаркты новым способом. Больные у него, понимаешь, бегают. Даже прыгают. Правда, большой отсев, но зато уж кто выкарабкивается — тот жилец!

— Ты когда-нибудь умирал? — Андрей спросил зло и сразу пожалел об этом. Ведь зарекался сколько раз — не злить Деркача. Спокойно выслушивать любые сен-тенции, лишь бы не поссориться, не отвратить его от нужного ему, Андрею, эксперимента.

На этот раз Деркач вроде и не заметил вспышки Андрея. Неопределенно пожав плечами, он вдруг быстро прошел к стоящему у окна письменному столу, за которым никогда не сидел. Рывком выдвинул один ящик, другой... С закаменевшим лицом выхватил пачку больших, плотной бумаги, фотоснимков, протянул Андрею.

— Любопытствуй! Это один мой японский коллега не то забыл, не то подарил.

Андрей взглянул на первый снимок и вздрогнул:

лицо и грудь полуобнаженного человека, сидящего на больничной койке, покрывали водянистые волдыри. И страх, и гнев за совершенно дикое надругание над человеческим телом охватывали при взгляде на снимок.

Потрясение Андрея заметил Деркач.

— Смотри, смотри! Чтоб не думал без конца, что все беды мира на койках твоих больных!

Стараясь ничем не выдать волнения, Андрей осторожно отложил снимок и опять ужаснулся. Дети, дети, родившиеся уже после Хиросимы, унаследовали от своих чудом уцелевших родителей невиданные доселе увечья, порожденные адским взрывом. И, не давая укрепиться чуть успокоительной мысли о том, что все это безумие в прошлом, пусть не столь отдаленном, но минувшем времени, на третьем, потрясающем изуверской четкостью, снимке (кто-то наводил резкость!) обвисал привязанный к стволу дерева методично исколотый штыками вьетнамец. И с высокой шнуровкой ботинки интервентов удерживали на спаленной земле рослых, упитанных убийц.

Дальше снова шли снимки жертв атомных бомбардировок, а между ними кадры кровавого фоторепортажа с многострадальных вьетнамских берегов. Андрей, понятно, и раньше видел подобные фотодокументы, но собранные не известным ему японским физиком воедино, они потрясли. И, конечно же, японский ученый не случайно «забыл» их в лаборатории советского физика. «Смотри, — как бы говорил он, не нуждаясь в переводчике, — что делали и делают черные и еще могущественные силы планеты с человеком. Ты, твоя страна должны быть сильнее их, чтоб оградить мир от нового поругания, а может быть, и от самой гибели. А потому — поторопись!»

«А что, что же хотел сказать этими снимками мне, Андрею Вихрову, Артур Деркач? Да он в общем-то и сказал: «Не думай, что все беды мира на койках твоих больных!» Да я так и не думаю, Артур!.. Я понимаю огромность твоей задачи, твоего института, твоих коллег! Ты, конечно, делаешь, может, самое важное дело — стоишь на страже мира. Тебе не то что можно, а надо мыслить глобально... Все правильно! Только не забудь при этом, что за словом человечество стоит не бесплотная абстракция, а живые конкретные люди — и моя несчастная Нина, и Кешка, которого я так и отправил из клиники, не добившись никакого результата, а парень стал забывать цвет неба. И, защищая человечество, не

отвернись от человека — маленького или большого, это неважно! Да и бывают ли маленькие?»

Рой этих мыслей налетел на Андрея ураганно и в то же время четко. Так четко все складывалось в стройную и в общем-то простую систему взгляда на мир, что Андрей почувствовал необходимость сейчас же все это сказать Артуру Деркачу, раз и навсегда устранив видимость противоречия в их отношениях. Однако Деркач опередил его четкой командой Кириллу:

— Всем от щита! Включить установку!

После трех «выстрелов» на контрольной пластинке не было обнаружено никаких повреждений.

— Давай еще! — Не дожидаясь согласия Деркача, Андрей вставил пластинку в рамку перед щитом.

Именно в эту минуту в дверях появилась Елена. На подносе дымились три чашки кофе.

«Бумм-м!..» Едва ударил первый луч, Андрей быстро и бесшумно приблизился к щиту. Прильнувший к прицелу Деркач не заметил этого перемещения.

«Бумм-м!..» Снова на пластинке вспыхнула красная точка и пропала. И тогда левая ладонь Андрея стремительно заслонила контрольную пластинку.

Третья красная точка ударила в ладонь Андрея.

Негромко вскрикнула Елена, и сразу же отпрянул от прицела Деркач.

— Сто-оп!

Кирилл вырубил установку.

Несколько секунд Андрей, глупо улыбаясь, смотрел на свою ладонь. И вдруг начал смеяться. Сначала почти бесшумно, — и тогда Деркач и подошедший Кирилл испуганно переглянулись, — а потом громко расхохотался.

Деркач тоже с трудом сдерживал счастливую улыбку.

— Да, доктор, с тобой не соскучишься!

Он снял с подноса Елены чашку кофе, а свободной рукой хотел обнять Елену за талию, но она, чуть прогнувшись, высвободилась, поставив поднос на подоконник, подошла к Андрею.

— Больно?

— Нет! — почти закричал Андрей и посмотрел на нее совсем счастливыми глазами.

Елена торопливо взяла его руку, стала вглядываться в ладонь. Не выпуская ее, сказала:

— Вы должны быть очень счастливы, Андрей. У вас линия дела совпадает с линией жизни.

Вернувшись в Одессу, Андрей почти две недели не решался зайти в палату Нины. Степану и Гале запретил сообщать о своем возвращении.

— Жестоковато, старик. Каждый день о тебе спрашивает.

— Да? А войти в палату и развести руками: «Извини, Ниночка, ничем пока помочь не можем»,— это как?

Степан только вздохнул.

Работали на монтаже установки без устали. Спали по очереди. Хорошо, Галя, по-бабьи вздыхая при виде явно сдавшего в своем весе Степочки, приносила в двух термосах и судках горячую еду. Какую? Убей Андрея — не скажет, что он сейчас торопливо проглотил. Днем помогал Виктор Крамаренко, вызванный Андреем из отпуска, укативший было на Тендровскую косу сотрудник института связи. Попытку Андрея как-то оплатить труд Виктора (как, он и сам-то еще не очень представлял, хотя Светлова и готова была «пойти на необходимые финансовые нарушения») Крамаренко пресек самым категорическим образом:

— Никаких оплат по соглашению! Мне это,— он кивнул на установку,— безумно интересно. Я бы тебе сам должен приплатить, да нечем! — В синих, увеличенных стеклами очков, глазах Виктора сияла такая увлеченность, что Андрею действительно стало неловко за начатый им разговор об оплате.

— Ты вот мне про Артура поподробней расскажи. Как-никак три последних курса трубили вместе.

Не мог Андрей признаться, что Артур Деркач начисто забыл Крамаренко, перепутав его с кем-то из укативших в Новосибирск. И Андрей врал, не очень-то убедительно, о расспросах и приветях ему, Виктору Крамаренко, со стороны преуспевшего однокурсника. И Виктор верил, растроганно хлюпал носом, покачивал головой.

— Ох, Артур! Я еще тогда знал, что он рванет вверх... Потому что он сплошная устремленность.

— Завидуешь?

Виктор приподнял острые плечи.

— Да как тебе сказать... Целеустремленность, как, впрочем, любое гипертрофированное качество человеческой натуры, имеет ведь и свои минусы... Рассказывали

мне как-то об одном биологе, всю жизнь отдавшему детальному исследованию дождевого червя. Когда ученый дошел до описания центрального сегмента, кто-то из учеников спросил, когда он надеется закончить исследование? Биолог развел руками и ответил: «Червяк длинен, а жизнь коротка!»

Андрей рассмеялся.

— Ну, Деркача к червяку не приклеишь.

— Неважно, к чему приклеиваться! — Виктор черкнул отверткой по воздуху. — По сторонам тоже надо поглядеть, а Артур... Как у него с личной жизнью?

Андрей быстро склонился, поднял со стула тестер, стал зачем-то протирать его полый халата.

— Это я не очень понял.

— Во! — подхватил Виктор. — Не понял и не поймешь. Рядом с ним человеку трудно.

Оттягивая и оттягивая визит в палату Нины, временами начисто забывая о ней за монтажным авралом, Андрей тем не менее ловил себя на том, что почти ежечасно думает о Елене. Нет, нечего себя обманывать, объясняя непроходящие думы о ней естественным желанием располагать помощью столь квалифицированного физика, как Елена Скворцова. Елена возникала в памяти отнюдь не как физик. Звучал ее низкий, всегда как-то согревающий голос, мерцали, снимая усталость, ее зеленоватые, затемненные густыми подрагивающими ресницами глаза.

«Черт знает что!» — Андрей распрямлялся, утирал рукавом халата повлажневший лоб. Елена исчезала, но ненадолго...

К Нине пришлось пойти. Надежда Петровна Светлова, каждый день появлявшаяся в лаборатории с лучезарной, подбадривающей энтузиастов улыбкой, однажды переступила порог с лицом, совершенно отчужденным, едва поздоровавшись, сразу спросила:

— Доктор Вихров, почему вы не смотрите своих больных?

— Я был, Надежда Петровна! Был у...

— Я имею в виду Нину Уфимцеву. — Светлова не дала Андрею возможности увести разговор в сторону. — Неужели вы не понимаете, что она пока что не верит ни в какой лазер. Она верит только вам! Вам, уже исцелившему ее один раз, хоть и на время?

— Действительно! — Неожиданно выпрямился, удивленно уставясь на Андрея поблескивающими стеклами очков, Виктор Крамаренко.

Светлова сокрушенно покачала головой.

— Никогда не думала, что врач, мой врач, заразится этой... технической истерией. Безобразия! — Светлова стремительно вышла.

— Что она имела в виду... под технической истерией? — как-то очень заинтересованно спросил Виктор.

Андрей пожал плечами. Солгал. Он знал, что Светлова имела в виду, пусть и неточно выразилась. Слишком восхищенно заговорил двадцатый век о могуществе машины. Передовая техника — панацея от всех бед. Человек, с его индивидуальностью, с его уникальной, недоступной никакой машине способностью прийти на помощь человеку, слишком поспешно стал оттесняться, не без помощи лихих футурологов, куда-то на обочину жизни. Андрей сам смеялся над этим, не раз восставал против подобных концепций, кем бы они ни высказывались, — и вот на тебе!.. Глупо, конечно! Можно подумать: едва смонтируем — потащим Нину под луч. Когда-то это будет! Если будет вообще... Уже за стенами лаборатории, пока негромко, правда, но все явственней, — Степан держит ухо востро, — гудят противники лазерной хирургии. Светлова не с ними, но...

Сняв спецовку, Андрей потянулся к сиротливо висевшему последние дни белому халату.

— Пошли, Степан...

У самого порога палаты Андрей вдруг остановился, и Степан вошел первым.

Плотная бинокулярная повязка закрывала глаза Нины. Она вся напряглась, только губы дрогнули.

— Здравствуй, Нина! — Андрей старался придать голосу максимум бодрости.

Рука Нины чуть приподнялась и застыла. Андрей осторожно пожал кончики пальцев Нины.

Рука несколько секунд повисела в воздухе и плавно опустилась на одеяло.

— Сейчас я тебя... посмотрю. — В голосе Андрея появилась хрипотца, и он поспешно кашлянул, присел на край койки. Степан сжал Андрею плечо и осторожно вышел.

Ладонь левой руки легко скользнула под затылок Нины.

Губы ее снова дрогнули. Слезинка скользнула из-под повязки по щеке.

— Ну!.. Что это еще за горячая-бегучая?

— Андрей Платонович!.. — Нина придержала руку Андрея, глотнула ртом воздух. — Скажите... Вы тогда знали, что я опять?..

— Когда?

— Ну... Когда я пришла к вам...

— Да что ты, Нина?

— Не знаю, что говорю.... Простите, Андрей Платонович! Сама виновата ведь. Погналась за подранком, да через овраг...

— Ничего ты не виновата. — Остался последний виток повязки. Руки Андрея застыли. — Не открывай глаза сразу! Я скажу.

— Знаю... Не успела забыть.

Андрей задернул штору. Включил настольную лампу и поднял офтальмоскоп.

— Открой глаза... Так... Посмотри вправо. — Луч от лампы отразился от зеркала офтальмоскопа, скользнул по дрогнувшему зрачку. — Хорошо. Теперь посмотри вверх... Так! Опять вправо... Закрой глаза.

Звякнули кольца раздвигаемой шторы. С болью и какой-то глухой раздражительностью к самому себе отметил Андрей, как осунулось лицо Нины.

— Все! — Андрей потянулся к повязке, но Нина поймала его руку, остановила.

— Не надо!.. Можно, полежу без бинтов?

— Хорошо... Только не открывай глаза.

— А правда, что вы привезли...

— Правда.

— Федора Федоровича вылечите?

— И Федора, и тебя. Не бойшься?

— А что? Страшней не будет. Я тогда, как опять затемнела... поплелась на Гареву гору. Думаю, посижу до вечера, а потом в обрыв головой.

— Эх, Нина, Нина!.. Хоть бы обо мне подумала.

— Подумала... Потому и живая. Темноты стала бояться.

— И темноты не бойся!.. Вот сейчас мы ее прогоним. — Андрей взял откинутую руку Нины, протянул вдоль тела. — Вот лежи так, совсем-совсем расслабленно... Вот-вот! А теперь я тебе объясню, почему не надо бояться лазера.

Лицо Нины немного смягчилось.

Андрей старался говорить тихо, но убежденно, словно проводил с Ниной гипнотический сеанс:

— Не первый раз люди обращаются к световому лучу. Едва они увидели солнце... Помнишь, ты была в нашем театре?

Нина печально вздохнула:

— «Аида».

— Да-да! Именно «Аида»! Представь себе высоченную пирамиду Хеопса. Дело в том, что еще в древнем Египте...

Он своего достиг. Лишенная возможности различать окружающие предметы, Нина вдруг увидела обостренной силой воображения все, о чем говорил Андрей. Ей даже показалось, — она услышала, как ударил гонг. И в неустойчивой синеве возникла египетская пирамида. Она заслоняла солнце, и лучи его веером разбегались от ее вершины. Пирамида была несколько нереальной, может быть, напоминала декорацию из «Аиды». Но по ее крутым ступеням два атлетических воина поднимали спотыкающегося слепца. А на самой вершине, сияя золотыми одеждами, монументально застыл жрец. И все чаще и чаще, словно подгоняя время, гремел гонг.

Воины подвели слепца к жрецу, и бедняга опустил на колени, подняв к небу закрытые глаза. И вознес жрец руки, украшенные перстнями с рубинами. И солнце заиграло в них...

— Открой глаза! — приказал жрец голосом Андрея.

И открыл слепец беспомощно мечущиеся незрячие глаза. И лучи солнца, преломившись в рубинах жреца, ударили красными стрелами в глаза слепого. Он поднял руки, закрыл стертыми ладонями лицо, словно защищаясь от ударов. Но чудо уже свершилось. И когда воины оторвали руки человека от его глаз и тот медленно поднял веки, — он их снова закрыл, испугавшись света, что обрушился на него. А потом из груди исцеленного вырвался крик иступленной радости, заглушаемый гонгом, потому что увидел он серебристую излучину Нила, увидел землю и павших ниц людей, славящих исцелителя...

— Какая.... красивая сказка!

— Это быль, Нина... Жрецы шли от поклонения Солнцу. И ты знаешь — иногда этим темным эмпирикам чертовски везло! — Рука Андрея потянулась к повязке.

Нина поймала руку Андрея.

— Посидите со мной еще. Совсем немного!

Андрей боялся пошевелиться...

В то же утро он зашел в палату стариков.

— Что-то ты больно сияешь? — хмыкнул Федор Федорович.

Андрей присел рядом с его койкой. На соседней полулежал Рамсей, мерно перебирая четки.

— Вы стали лучше видеть, Федор Федорович? — Андрей взял руку Федора Федоровича — вроде бы так, потрепать, а сам нащупывал пульс.

Федор Федорович вырвал руку.

— Вчера замерили — все в норме. Это без тебя... Да и погода ломалась.

— Мистер Вихоров! — Рамсей встряхнул янтарные четки. — Я хочу позволять высказать свой диагноз относительно Теодора.

— Что ж, это интересно! — Андрей вежливо повернулся к Рамсею, словно тот мог это видеть.

— Теодор... все время делит свое одно сердце на весь мир. Кусочек сердца на Кубу, другой кусочек Вьетнам, Африка... И везде своя боль. И Теодор хочет всю боль собрать в своем сердце. Но это не смог даже Иисус Христос. Это кончилось очень для него печально.

— Чуешь? — Федор Федорович встrepенулся, явно готовясь в атаку, но Андрей придержал его рукой за плечо, спросил:

— Разве, мистер Рамсей, вам самому не бывает... больно или стыдно за то, что порой происходит в мире?

Рамсей ответил не сразу. Он достал «Беломор», но, может, вспомнив о Федоре Федоровиче, отложил папиросу.

— Доктор Вихоров. Я должен сказать, меня сразу после войны приглашали визитом вашу страну. Когда мы еще... союзнический дух... Пока...

— Сэр Уинстон Черчилль не выступил в Фултонел — не сдержался Федор Федорович.

Рамсей поднял белую ладонь, укоризненно спросил:

— Мы же договорились, Теодор?

— Эскюз ми. Молчу.

— Я вас слушаю, мистер Рамсей. Вас приглашали к нам, а вы не приняли приглашения?

— Не совсем так... Я все откладывал свой визит.

Я давно не имею больших иллюзий о нашем мире. О человечестве... Но кое-что я видел у вас во время войны. Кое-что слышал. И все время думал. А может быть? Может, вы действительно... Я боялся потерять последний шанс обрести вновь надежду. Пусть иллюзию! И все не ехал, не ехал... Пока не ослеп.

Федор Федорович приоткрыл было рот, но сдержался. Промолчал.

— Что ж, мистер Рамсей,— Андрей встал.— Могу вас заверить, что мы сделаем все, чтобы вы увидели наш мир. Вам только останется выбрать точку зрения.

16

... Они вышли друг на друга неожиданно — чуть не столкнулись на крутом повороте коридора. Степан смутился, торопливо спрятал за спину толстый журнал.

— Что в лаборатории? — Андрей схватил Степана за рукав.

— А-а! — разочарованно протянул Степан.— Как пишут в таких случаях,— царит энтузиазм.

— Ты что, не в духе?

Степан капризно скривился, хлопнул себя по колену журналом.

— С чего быть в духе? Ну ладно, твой Виктор инженер...

— Кандидат технических!

— Ладно, кандидат... А в помощниках у него Филька. Сантехник!

— Ну и что?

— А то, что несерьезно все это!

— Перестань!.. — Андрей укоризненно покачал головой.— Я тоже устал, однако...

— Однако вчера спорил со Светловой.

— Это по поводу работы Захарова? Разве я был не прав?

Степан снова дернулся:

— Прав — не прав!.. Разрешать эксперимент в конце концов будет Светлова. Сейчас не время ссориться с начальством.

Андрей оттолкнул Степана, рассмеялся:

— Слушай, ты правда того... Переутомился. Может, с Галей поссорился? — Андрей потянулся к журналу.— «Медикл ревю»? Дашь потом посмотреть?

Степан торопливо спрятал журнал за спину.

— Вот именно. Потом!

Андрей не понял причины зловещей многозначительности ответа, непроходящего раздражения, проступавшего даже в походке вдруг заспешившего Степана. Долго смотрел в удалявшуюся спину друга, и в глазах густела обида. Степан не оглянулся. И Андрей пошел в лабораторию.

17

У Фильки, о котором так пренебрежительно отозвался Степан, длинные волосы и испуганные глаза, как у кролика, которого он, поглаживая, зажимал металлическими обручами перед прицелом установки.

Дернулась голова кролика и застыла, обхваченная жестким обручем. Только глаза заматались пуще прежнего.

«Ду-мм!» — красная молния ударила в кроличью голову.

Кролик вздрогнул и мертвенно обвис. В клетке у окна заматались еще два — серый и черный.

— Может, — Филька осторожно приблизился к Андрею. — Может, он не умер? Обморок с перепугу?

— Готовьте следующего! — Андрей повернулся к Виктору. — Можно еще уменьшить импульс?

Виктор, пожав плечами, вскрыл панель установки.

— Серого! Серого давайте! — почему-то потребовал Филька.

Вошел Степан. Встал у стены.

Андрей даже не посмотрел в его сторону, хотя и понял, что Степану стыдно за недавнюю слабость.

Забилась, стараясь высвободиться из тисков, кроличья тушка.

— Живой! — завопил Филька.

Степан стал осторожно приближаться к установке.

Еще раз вздрогнув, кролик обвис.

В невыносимой тишине было слышно, как ошалело бьется о прутья клетки третий кролик.

Степан поднял за уши тушку мертвого кролика, посмотрел в его полузакрытые безжизненные глаза.

— М-да!.. Чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь как минимум... лазер.

Андрей не успел взорваться, потому что Степан неожиданно серьезно продолжил:

— Понимаешь, я посмотрел глаза всех наших жертв.... У некоторых и кровоизлияния-то нет. Может, действительно, мрут от шока? А человек не кролик. Глядишь — и не помрет.

— Ну да,— усмехнулся Андрей.— На ком проверим? На тебе?

— Лучше на докторе Гудкове. Разведка доносит — Гудков развивает бурную деятельность против нас.

Андрей покачал головой.

— Сейчас не столь важно, от чего они мрут. Налицо заколдованный круг: уменьшаем импульс — нет прижигания. Увеличиваем — кровоизлияние.

— О друзья мои, друзья! — Виктор Крамаренко в сердцах отбросил чистую ветошь.— Горит мое реноме кандидата технических, но должен сделать горькое для себя заявление: боюсь, что без Артура Деркача нам не обойтись!

— Что ж, попытаемся его вызвать! — Голос остановившейся у порога Светловой прозвучал столь неожиданно, что все вздрогнули. Удрученные очередной неудачей, экспериментаторы и не заметили ее появления. Светлова прошла к установке.— И Деркача вашего вызовем, и подключим физиков из нашего политехнического... Так что не торопитесь носы вешать... И знаете что? Прекратите вы эти ночные авралы. Учтите, что самое тяжелое и неблагодарное дело — это лечить самих врачей.

18

«Самолет идет на посадку. Прошу застегнуть поясные ремни!» Стюардесса улыбалась всем. Но Деркачу казалось — только ему. Он удовлетворенно хмыкнул, отметив тополиную гибкость аэрофлотовской девушки, и улыбнулся ей в ответ.

Стюардесса вспыхнула и отвернулась, засмотрелась в иллюминатор.

Ничего не видно за иллюминатором, кроме клубящейся светло-серой пелены... Снижаясь, самолет подрагивал, словно катился по невидимым ухабам.

Стремительно скользила по черному циферблату белая стрелка вынесенного в салон альтиметра. Боль в ушах от резкой потери высоты заставила Деркача страдальчески поморщиться. Сразу же около него оказалась стюардесса.

— Делайте глотательные движения, вот,— она протянула ему конфету.

Деркач жестом фокусника выхватил из своего кармана «Мишку на севере», протянул стюардессе. Она, смутившись, взяла конфету, быстро прошла в конец салона.

Кипела, клубилась серая пелена, и казалось, что самолет проваливается в дымящийся кратер вулкана. С коротким воем выскочили из-под мотогондол и встали на замки шасси. Деркач взглянул на высотомер. Стрелка на альтиметре уже миновала последнюю сотню метров. И тут снова взвыли шасси — пошли на уборку. Стрелка альтиметра застыла, потом двинулась в обратном направлении — самолет набирал высоту.

— Что?

— Почему не садимся?

— Что случилось? — Головы пассажиров беспокойно закрутились, встревоженные взгляды простреливали стюардессу с застывшей улыбкой.

— Спокойно, товарищи! Сядем, обязательно сядем!

Деркач неторопливо отстегнул ремни, поднялся и похозяйски уверенно двинулся к овальной двери кабины пилотов.

— Товарищ! Туда нельзя! — Стюардесса кинулась за Деркачем, но дверь пилотской кабины уже щелкнула за его плечом...

Второй пилот благоговейно возвратил Деркачу удостоверение.

— Присесть тут негде, товарищ... если хотите... стойте. Только напрасно беспокоитесь, все...

— Я не беспокоюсь,— перебил Деркач.— Просто мне надо знать, как это делается.

Командир корабля, удерживая штурвал, бросил на Деркача через плечо угрюмый взгляд, снова уткнулся в мечущиеся стрелки приборов.

В его наушниках звучали — и это слышал Деркач — координационные команды:

— На линии пути! Высота двести... Сто пятьдесят... Сто... Вписались в глиссаду... Так ... Пятьдесят...

Белесая крутоверть перед фонарем кабины внезапно разверзлась. Почти под самым носом мелькнули влажные плиты бетонки.

— Полоса перед вами! — ободряюще прозвучало по радио.

Пилот-командир мягко потянул штурвал на себя. Колеса шасси чиркнули по бетонке.

— Тормозной! — крикнул командир второму пилоту. Тот рванул на себя рукоять.

А Степан и Андрей стояли у ограды летного поля. Они видели, как за хвостом приземлившегося в тумане самолета вспыхнул белый цветок тормозного парашюта. Самолет резко замедлил пробег, мягко тормозя, стал сворачивать на рулежную дорожку.

— О'кей! — радостно воскликнул Степан и ударил Андрея по плечу. — А ты говорил — не сядут. Техника, брат, у них, не то что у нас с тобой, — в любую погоду!..

У стены аэропорта ежились от промозглости несколько бабок с цветами.

— Купить ему гвоздики? — неуверенно спросил Степан.

— Коньяк у нас есть?

— Вчера организовал бутылочку.

— Вот и отлично.

Пассажиры приземлившегося лайнера сходили по трапу, довольные благополучной посадкой, благодарили стюардессу. Вот уже сошел последний вроде бы пассажир.

Стюардесса несколько минут подождала, пожав плечиками, стала подниматься по трапу в самолет.

— Ну? — Степан теребил Андрея за рукав.

Мимо них проходили последние пассажиры.

— Нет Деркача! — Андрей негромко выругался.

— Что же он — выпал? — Степан вынул из кармана телеграмму. — Ясно сказано: рейс номер...

Андрей ничего не ответил, но и уходить не спешил. Решил про себя: «Подождем экипаж. Спрошу у стюардессы...»

А оба пилота сидели на своих местах. Деркач приспособился на сиденье радиста. В овальном проеме кабины прислонилась к косяку стюардесса.

— Сколь ни быстры радиокоманды, — чуть повернув голову к Деркачу, пояснял командир корабля, — слишком много параметров надо сообщать ежесекундно. А высота теряется быстро.... В этом вся сложность. Можно не успеть.

— Дошло! — Глаза Деркача загорелись. — А знаете ли вы, дорогой мой пилот, сколько информации можно заложить в один импульс лазера?

— Лазера? — удивляется второй пилот.
— Вот именно! — тихо, но с явно торжествующей ноткой ответил Деркач.

Андрей и Степан остались почти одни.

— Пошли! — махнул рукой Степан. — Понимаешь — его могли и посадить. Такая погода. Рисковать крупным ученым...

Они не сделали и десяти шагов, когда Андрей все же оглянулся.

— Стой!..

Медленно в синем эскорте экипажа по летному полю шел Деркач.

— Артур! — закричал Андрей, но Деркач не услышал. Он неторопливо вышагивал рядом со стюардессой. И вид у него возбужденный, сияющий.

Андрей, перемахнув с разбега через ограду, побежал по летному полю навстречу Деркачу...

Когда усаживались в светловскую «Волгу», пилоты стояли рядом. Тронулась машина. В ответ на взмах руки Деркача стюардесса подарила отъезжающим великолепную улыбку...

Деркач работал всю ночь и последующий день. Когда где-то часам к пяти вечера Филька освободил от креплений второго за день сохранившего душу кролика, Артур Иванович решительно снял халат. Так продолжалось два дня. Ровно в пять Деркач покидал лабораторию...

На этот раз Андрей, Степан, Виктор — все в белых халатах — медленно шли по центральной аллее к воротам клиники, провожая Деркача. За ними плелся Филька, поглаживая ладонью вздрагивающего кролика.

— Ну, не знаю, что ты от меня еще хочешь! — рокотал Артур Иванович, косясь на Андрея. — Из трех кроликов дохнет только один! Один к трем! Разве плохое соотношение?

— Для кроликов — терпимо. А как... перейдем на людей?

— А ты не спеши. — Деркач остановился. Взглянул на часы. — Защитись пока на кроликах!

— От кого защищаться-то?

Деркач не расслышал или не понял иронии. Заметив приближающееся такси, он лихо, по-мальчишески свистнул. Такси остановилось.

— Завтра попробую еще один вариант! — бросил Деркач через плечо и побежал к машине.

— Однако! — Виктор покачал головой. — Третий вечер подряд... Хоть часы по нему проверяй!

Андрей промолчал. А Степан, улыбнувшись, негромко пропел:

О стюардесс,
О стюардесс!..

— Придумаешь! — махнул рукой Андрей.

— Спорить могу! — Степан рубанул воздух ладонью. — Жизнь людей продолжается, доктор Вихров, несмотря на тридцатипроцентную смертность кроликов!

— Андрей Платоныч! — испуганно закричал Филька. — Он не бежит!..

Филька согнулся, раскинув руки над опущенным на траву кроликом. Тот неуверенно тыкался мордочкой в разные стороны, припадал на передние лапы.

— И этот кончится?

Андрей поднял кролика за уши, заглянул в почти застывшие глаза.

— Он ослеп... — И пошел с кроликом на руках назад, к лаборатории.

Первым за Андреем энергично двинулся Степан. Вздохнув и покачав головой, пошел Виктор. Замыкал грустное шествие Филька.

На следующий день Деркач в институт не пришел. Это не слишком встревожило. Ринувшегося было к телефону Степана Андрей остановил.

— Не надо!.. Пусть отдохнет. Все-таки главное он нам сделал.

Действительно, рассчитанный и отлаженный столичным физиком лазерный удар кролики переносили почти благополучно. И Андрей, и Виктор надеялись самостоятельно найти нужный оптимальный вариант. Но прошло два дня, а Деркача не было. Тут уж просто забеспокоились. Позвонили в гостиницу. Ответили, что в номере нет. Да и не видели с самого дня приезда.

— Дела-а... — Андрей взволновался не на шутку. — Сказать Светловой?

Как-то смущенно закрутился Степан. Выпалил совсем неожиданно:

— Вообще-то он мне оставил один телефончик.

— Ты даешь! — Андрей хлопнул себя ладонями по бокам. — Чего ж молчал?

Степан заговорщически подмигнул:

— Доверил только мне. Сказал: «Андрей — псих. А ты человек рассудительный. Вот тебе телефон на крайний случай». Сейчас разве крайний?

— Давай телефон!

Уже на выходе Андрей обернулся, спросил Степана:

— Странный какой-то телефон. Семизначный. Ты ничего не напутал?

— Я ни при чем. Это рука Деркача.

Да, теперь и Андрей угадал в узких, резко выписанных цифрах почерк Артура Ивановича. На какую-то секунду память возвратила широкую черную доску в московской лаборатории, энергичный, так что крошился мел, расчет только что родившегося в голове Деркача варианта.

— Дежурный по части капитан Милашкин! — раздался в трубке приглушенный расстоянием голос после набора седьмой цифры, и Андрей уже хотел повесить трубку, решив, что ошибся номером. Все же неуверенно спросил:

— Товарища Деркача... Артура Ивановича можно?

— Минутку! — совершенно спокойно, словно давно ждали этого вызова, ответили на другом конце провода. Андрей услышал несколько щелчков, комариный писк зуммера, кажется, кто-то произнес слово «старт», и вдруг неожиданно громко, как из мощного динамика, обрушился знакомый нетерпеливый голос:

— Слушает Деркач!

— Это я, Андрей... Здравствуй, Артур...

— Хорошо, что позвонил! — громоподобно перебил Деркач. — Я только что сам собирался. Слушай внимательно. Завтра утром прилетает Елена. А я тут завяз с товарищами военными. Родилась одна мысль. Надо проверить... Встретишь завтра Елену. Я тоже постараюсь, но, может, и не получится... Записывай!..

Андрей ничего не записал. После слов «завтра утром прилетает Елена» голос Деркача, хотя и гремел по-прежнему, породив на секунду правильную догадку о радиотелефоне, доходил до Андрея почти бессмысленным нагромождением слов, словно тот заговорил на каком-то малопонятном языке.

«Прилетает Елена!» Андрей вдруг почувствовал, что ноги его стали ватными, и он тихо опустился на стул.

Если бы кто-нибудь находился в это время в ординаторской,— очень бы удивился растерянной улыбке на почти всегда сосредоточенном и чаще всего грустном лице кандидата медицинских наук доктора Вихрова.

19

Еще издали море поразило Елену. Едва вышли к отрадинскому склону, оно полыхнуло искрящейся синевой от края до края, заметной выгнутостью горизонта подчеркивая свою глобальную величину.

— Ой! — вырвалось у Елены, и она остановилась, прижав руки к груди.

— Никогда не видела моря?

— Видела... Но не такое. Как-то очень неожиданно и широко оно тут открылось.

Он повел ее сразу к морю, памятуя наказ Деркача: «Не садитесь на нее сразу верхом. Я дня через четыре вырвусь отсюда — все доделаем. Пусть Елена покупается, отдохнет...» Это, пожалуй, все, что запомнилось из телефонного монолога после слов «завтра утром прилетает Елена». Даже номер рейса забыл — хорошо, что утром из Москвы по расписанию прилетал только один самолет.

Однако купаться Елена не стала. Когда спустились к пляжу, море исчезло за лесом бронзовых, обугленно-красных и редко пронзительно белых тел. Над водой висел ни на секунду не затихающий тысячеустый гул голосов. Установленный на башне спасательной станции репродуктор обрушил на весь этот вселенский гам хриплую заезженную мелодию.

— Неужели ты здесь купаешься?

— Нет. Да я в это лето и не купался еще.

— Понятно. Пойдем отсюда.

Они шли по приморской, тянувшейся по-над пляжами, дороге, обсаженной с двух сторон акациями и пирамидальными тополями. Тени от деревьев почти не было. Солнце поднялось высоко и лупило лучами вдоль дороги. Пахло нагретым асфальтом. Несколько приглушенной доносились сюда голоса неистовых пляжников. А потом и вовсе стало тихо. Дорога, свернув к морю, вдруг оборвалась, и они пошли меж кустов по заскорузлому от жажды суглинку. По склону сбегала вниз, к «дикому»,

не тронутому курортной цивилизацией, затерявшемуся меж двух рыжих скал участку побережья, довольно крутая тропинка. Андрей в нерешительности остановился. Но Елена, мгновенно скинув туфли, взяла их в одну руку, а другую протянула Андрею.

— Вот это — пляж! — Елена решительно расстелила оказавшийся в ее объемной сумке с надписью «Аэрофлот» кусок застиранного байкового одеяла, судя по одному из краев, отхваченному ножницами, аккуратно поставила носками к морю туфли и стала стягивать через голову платье. Ослепительно блеснули стройные белые ноги.

Андрей торопливо отвернулся, пошел, скрипя подошвами по песку, к морю. Пляж, как назвала этот забытый людьми кусочек укрытого скалами побережья Елена, действительно был пустынным. Стоя по колено в воде на притаившемся под водой камне, удил бычков на леску, намотанную на палец, пожилой, обожженный до черноты, рыболов в выгоревших до непонятного цвета трусах. Да в самом центре желто-бурого песочного полукружья устроилась под огромным цветастым зонтом молодая, правда, сильно располневшая мама с совершенно раздетой девочкой лет шести. Девочка ровного шоколадного цвета все время норовила выскочить из синего теневого круга на солнце, но мать удерживала ее за запястье. Девочка негромко канючила.

Взглянув под ноги, Андрей понял, что не только скалы да крутой спуск избавляли этот участок берега от любителей купанья. Под прозрачным слоем воды просматривались обросшие изумрудной зеленью камни. Их бархатистые одежды часто скрывали еще не обкатанные прибоем выбоины и углы.

Он не столько услышал, как почувствовал, как сзади подошла Елена. От ее тела веяло прохладной свежестью. «Как странно, — подумалось Андрею, — столько шли по солнцу, а она не нагрелась».

— Купаться-то тут не очень. Ты побьешь ноги.

— Так и будет, — вздохнула Елена и вдруг беззвучно рассмеялась. — Я забыла, что мои ноги предмет твоего особого внимания. «И только цветы под красивые ноги!» — очень похоже симитировала она фразу из полузабытого Андреем его московского монолога. Не дав смутившемуся Андрею ничего ответить, Елена хлопнула его ладонью по спине и решительно вошла в воду.

Андрей стал торопливо раздеваться. Когда он дважды, как осторожно ни переставлял ноги, больно ударившись о камни, достиг поясной глубины и осторожно поплыл, Елена была уже далеко. Сделав несколько резких взмахов, перейдя на когда-то легко дававшийся ему «кроль», Андрей значительно приблизился к Елене, однако не без досады почувствовал прерывистую судорожность дыхания, понял, что долго так плыть не сможет. «Вот черт! Совсем вышел из формы...» Досада на самого себя постепенно переходила на Елену. «Рвет себе вперед, а потом тащи ее к берегу!» Елена словно услышала его: взмахнув руками, откинувшись на спину и так, распластавшись на некрутой волне, осталась лежать, поджидая Андрея.

Андрей перешел на спокойный, размеренный брасс — дыхание постепенно выравнивалось. Вскоре он неторопливо стал кружить около блаженно улыбавшейся под солнцем Елены. Она опять взмахнула руками, неторопливо отгребая воду, подплыла совсем близко к Андрею, затрясла поднятой над водою головой.

— Хорошо, правда?

Андрей кивнул.

Елена, сощурившись, поглядела в простиравшуюся впереди синюю даль, будто раздумывая, стоит ли плыть еще дальше, но вдруг вздохнула:

— Ты — моряк. Хорошо плаваешь. А я боюсь большой глубины.

И поплыла к берегу.

После ее слов Андрею ничего не оставалось, как плыть рядом с ней, демонстрируя безукоризненный, хотя и неторопливый «кроль», и странно — дыхание оставалось ровным и спокойным. Более того, Андрею хотелось, чтобы берег приближался как можно медленнее. Особенно когда он, глотнув воздух, опускал под гребок голову и видел в прозрачной воде голубовато-серебристые ноги Елены, плавно, как в замедленном танце, перебиравшие прозрачную синеву.

Потом они долго лежали рядом на песке. Блаженное умиротворение накатило на Андрея. Дрожали, расходясь и расходясь за прикрытыми веками, радужные сполохи. Он почти ощущал волну ласковой неги, идущей от лежавшей рядом Елены. «Забыть, забыть все! Хоть на один день — разве это уж так невозможно?» Елена лежала так тихо, что не слышно было даже ее дыха-

ния. Он чуть приоткрыл и скосил в сторону Елены глаза и очень удивился — она не лежала. Подтянув под самый подбородок колени, обхватив ноги руками, она сидела и зачарованно смотрела на грациозно танцевавшую в пене прибоя, вырвавшуюся, наконец, из мамино-го плена, девочку.

«Почему у вас нет детей?» — чуть не сорвавшийся вопрос испугал Андрея своей бестактностью, едва возникнув. Но, видимо, существовала уже такая редкая и необъяснимая степень взаимопроникновения в мысли и чувства друг друга, что Елена слышала его. Потому что то, что она сказала полминуты спустя, было почти ответом на не произнесенные вслух слова.

— Все гонка и гонка, — вздохнула Елена. — Идеи умирают или перекрываются новыми, не успев окрепнуть. И если кто-то долго не выдает новой, о таком говорят — выдохся. Потому — никакой личной жизни. А дети — это вообще невообразимо.

— Ну уж!..

— Так думают многие.

— А ты?

Елена не ответила. Андрей приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее, задумчивую и грустную.

— Помнишь Магду? — вдруг спросила Елена.

— Помню. — Андрей снова откинулся на спину. — Довольно экзальтированная особа.

— Это она стала такой... Она была женой одного ученого. Он не хотел ребенка. А она возьми и роди. Они разошлись. Потом ребенок умер.

— Идиот!

— Кто? — насторожилась Елена.

— Тот ученый. — Андрей снова приподнялся на локте. — Ну и что же он? Гений? Опроверг теорию относительности? Открыл новую планету?

— Ничего он пока не открыл.

Андрей злорадно засмеялся.

— Какая спекуляция вокруг алтаря науки! Бросят на этот самый алтарь полуплагиацкую кроху некой сен-тенции и освобождают себя от самого существенного, человеческого. Освобождают? Грабят сами себя! Время, вперед, поток информации по экспоненте!..

— Но времени действительно нет.

— Да брось ты верить в эту чепуху. — Андрей вдруг резко поднялся, стал собирать вещи. — Поток информа-

ции! Ах, мы несчастненькие. А Ломоносову, скажем, или Пушкину для того, чтобы добраться отсюда в город, хотя бы к месту нашего института,— понадобилось бы полчаса, а то и больше. А мы с тобой выйдем на дорогу, остановим такси и через пять минут на месте. Это не учитывается?

Елена рассмеялась.

— Ну и арифметика!.. Разве дело в этом? — Она тоже стала собирать вещи.— Дело в том, дорогой мой, что еще десять минут назад ты был переполнен ощущением... покоя, может быть, внезапно охватившего тебя блаженства. А сейчас подсчитываешь, как быстро доберемся мы до института. Значит, времени на счастье нет и у тебя.

Андрей, с брюками и рубашкой под рукой шагнувший было в сторону скалы, остановился:

— Мое время — время врача. Со времен Гиппократу у него особый счет.

— Ну конечно,— совершенно спокойно согласилась Елена и тоже поднялась.— Значит, в институт?

— Да. Только, пожалуй, сначала пообедаем.

— Я еще не хочу есть.

— После института тем более не захочешь. Пообедаем сейчас.

20

Хорошо, что они плотно пообедали в «Приморском», потому что не ушли из института до позднего вечера...

Два маленьких шахматиста подняли глаза на звук открывшейся двери. Глаза! У них был один глаз на двоих. Мальчишка, у которого оба глаза закрывала бинокулярная повязка, растопыренными пальцами рук ощупывал острые вершины расставленных фигур, восстанавливая в памяти позицию.

Еще несколько детей с повязками на глазах лежали в постелях.

— Вы новый доктор? — спросил Елену мальчик с видящим глазом.

Елена покачала головой.

Мальчишка сразу утратил к ней интерес и, закусив губу, отстранился, когда Елена пыталась погладить ему голову.

Все объяснил другой, с бинокулярной повязкой.

— А говорили, придет секретный атомный доктор.

И всех вылечит,—мальчишка взмахнул рукой, сжимавшей ферзя.—Атомом!..

— Спать! — сказал Андрей и поднял доску с фигурами.— Доиграете утром.

Перед палатой, в которой лежала Нина, Андрей остановился, словно решая: стоит ли заходить. Елена, мягко обогнув его, сама открыла дверь.

— Это Елена Николаевна. Помнишь?..

— Я знаю! — перебила Нина.— Я даже знала, что вы сегодня зайдете еще раз вместе с красивой женщиной.— Нина была непривычно возбуждена. И Андрей смотрел на нее с настороженностью.

— Да! — Нина притянула Елену за руку, пальцами чуть коснулась ее лица.— Я не ошиблась. Вы красивая.

— Вот когда Андрей вас вылечит...

— Вы знаете, Елена Николаевна,— волна возбуждения не опадала, несла Нину на своем гребне.— Вы знаете, у меня вместо зрения теперь... Не знаю, как это по-научному, но... Я все начинаю угадывать.— Она не отпускала руки Елены.— Правда, правда! Вот и сейчас... Я чувствую. Вы сердитесь... На Андрея Платоновича?

— Нет, Нина. Вы не угадали. Я злюсь на себя.

Нина вздохнула, отпустила руку Елены.

— Это только говорится так. Самого-то себя всегда больше жалеют.

Андрей, подняв стакан на свет, беззвучно отсчитывал капли, падавшие из небольшого пузырька.

— Может быть, Нина,— ответила, помолчав немного, Елена.— Но я себя больше жалеть не буду.

Андрей вложил стакан в руку Нины, осторожно, просунув руку под ее спину, заставил приподняться.

— Вот, выпей это.

Нина понюхала, капризно поморщилась.

— Опять валерьянка?

— Опять.

Нина, вздохнув, выпила. Андрей осторожно опустил ее на подушку.

— Теперь постарайся уснуть. Спокойной ночи.

На выходе из палаты Елена взглянула на лицо Андрея, но ничего не прочла в нем, кроме досады и усталости.

В палату Рамсея и Федора Федоровича Андрей заходить не собирался, однако его остановил гул доносившихся из-за двери возбужденных голосов. Андрей

остановился, осторожно приоткрыл дверь. Потом помянул к себе Елену. Она передернула плечами, мол, неудобно вроде, но все же приблизилась к дверному косяку.

— Ты плохо себя чувствуешь, Теодор, потому что не можешь меня бить.— Рамсей сидел рядом с койкой Федора Федоровича, сжимая в руке свернутый «Медикл ревью», как дубинку.— Когда ты меня бил, ты очень хорошо себя чувствовал. Теперь я могу тебя немножко бить.— Рамсей потряс журналом.

— Валяй, валяй!..

— Тебя бьет не я, а этот печальный факт! Через неделю я флант Балтимора, и меня будут лечить готовый лазер. Придумал твой ученик, доктор Вихоров, а там сделают, кажется, быстрее.

— Андрей говорит, что в этом самом «Ревью», которым ты потрясаешь, уже дважды сообщалось о победе над раком. Но, допустим, на сей раз — не дурница. А кто будет лечить меня?

— Если тебя, Теодор, отпустят, я бы, наверное, мог...

— Спасибо. А кто будет лечить Нину? Оксану Петренко?

— Кто это — Петренко?.. На всех людей я не могу...

— О! — Федор Федорович сразу ожил.— Ты сам все поставил на свои места. Твоим балтиморским лазером будут лечить только толстосумов. Вроде тебя!

— Не очень так, Теодор! Не очень. Через год такой аппарат будет и в больнице для бедных людей.

— А мы через месяц будем лечить всех!

Френсис Рамсей покачал сединой:

— Не уверен. Мистер Виктор — большой инженер, друг доктора Вихоров. И он работает вместо свой отпуск. Разве это хорошо?

— Это прекрасно! Неужели ты не понимаешь?

— Нет... Чтобы все понимать, мне надо все видеть. И я лечу Балтимора.

— Что ж!.. Попрощаемся.

— Еще не сегодня.

Андрей осторожно прикрыл дверь. Пройдя несколько шагов по коридору, остановился, дождался Елену.

— Вот такие пирожки, как говорит мой друг Степа Зацепин.— Он достал сигарету, протянул пачку Елене.

— Тут же, наверное, нельзя?

Андрей спрятал пачку.

— Может, завтра, наконец, объявится Деркач?
— Может быть.— Елена отвела глаза и спросила:—
А в мою помощь ты совсем не веришь?
— Ну что ты, Лена! Конечно!..— Андрей потянулся к ней, и она торопливо шагнула ему навстречу. Смущенно прижав голову к его плечу, торопливо заговорила:
— Тогда отвези меня поскорее домой... в гостиницу.
А завтра рано-рано...
— Рано-рано,— почему-то шепотом повторил Андрей.

21

Главный противник лазерного новшества в хирургии, обладатель идеальной лысины, доктор Николай Николаевич Гудков, еще не переступив порога служебного хода, ведущего из лабораторий главного корпуса во двор, услышал ликующие клики и недоуменно вскинул голову.

Из распахнутых дверей временной лаборатории Андрея явно захмелевшие (только каким образом!) люди выносили на руках отчаянно дергающего длинными ногами инженера Виктора Крамаренко, Степана и самого Андрея Вихрова, тут же, правда, вырвавшегося из цепких рук энтузиастов лазерного эксперимента.

Спотыкаясь, выбежал сантехник Филька с целой охапкой живых кроликов. Деловито направился к главному корпусу.

— Сразу в гистологию! — крикнул вслед ему Андрей. Филька тряхнул патлатой головой.

— Что там происходит? — услышал за своей спиной доктор Гудков. Один из сотрудников его лаборатории торопливо протирал очки.

Гудков приподнял плечи.

— Кажется, вывели, наконец, огнеупорную породу кроликов. Во всяком случае, они теперь недохнут сразу, на месте преступления.

Подошел Филька и остановился, не решаясь беспокоить сразу двух докторов, загородивших вход в главный корпус.

Гудков неожиданно резко качнулся и выхватил за уши серого кролика из рук Фильки. Кролик весело сучил лапами, мигал явно зрячими глазами.

Доктор Гудков молча возвратил кролика Фильке и неторопливо двинулся к лаборатории Андрея, из черного дверного проема которой выходили, то ли улыбаясь,

то ли щурясь от яркого солнца, Светлова, Елена и профессор Коротич.

— Спасибо вам, Елена Николаевна! — Светлова мягко обняла улыбающуюся Елену.

Профессор Коротич, смущенно приглаживая клинышек бородки, едва Светлова отпустила Елену, подошел к ней, галантно поцеловал руку.

Склонил свою голову, не то поздравляя, не то просто здороваясь, и подошедший Гудков. Правда, и будучи склоненным, сияющий шар гудковской головы покачивался из стороны в сторону, словно доктор пытался стряхнуть некое наваждение.

— Спасибо, Андрей, Степан... — Светлова оглянулась, отыскивая взглядом отбежавшего в сторону Виктора Крамаренко, но позвать его не успела. Андрей с ходу ринулся в атаку.

— Так что, Надежда Петровна, будем готовить к операции Федора Федоровича?

Светлова всплеснула руками.

— Ну, ну! Сразу и к операции?! — Она вздохнула, заговорила совершенно серьезно. — Вот вам все нетерпелось обскакать доктора Бернштейна. А знаете ли вы, что из пяти больных, на которых он испробовал свой лазер, двое ослепли окончательно?

Гудков сокрушенно зацокал языком.

— Что ж, — Андрей вздохнул. — Два из пяти... Определенный процент неудач при научном поиске...

— Вы что, доктор Вихров? — Светлова посмотрела на Андрея с какой-то болью и растерянностью, голос ее чуть дрогнул. — Надеюсь... это не ваши слова.

Андрей взглянул на Елену, словно ища у нее поддержки. И вдруг Елена грустно улыбнулась и сказала с отчетливым, чуть веселым злорадством:

— Это слова Деркача.

— Это вообще не слова для врача! — Реплика доктора Гудкова обнаружила всю его взвинченную агрессивность и словно перечеркнула праздничность момента. К тому же косматое, никем не замеченное облако стремительно перекрыло солнце, и сразу поблекли, словно оказались не в фокусе, веселые цвета южного лета.

Над заброшенным участком институтского парка повисла тревожная тишина. Только слышался шелест рано опавших листьев под подошвами заспешившего к главному корпусу доктора Гудкова.

— Нет, нет, нет, товарищи! — Степан первым осознал необходимость разрядить обстановку. — Не надо так сразу усложнять! — Он умоляюще поднял вверх обе ладони. — Дело не в этом, Надежда Петровна, процент удачи-неудачи, — но готовить кого-то надо. А Федор Федорович сам рвется в бой. Положение у него безнадежное, а человек он отважный. Бывший летчик...

— Будь он даже бывшим камикадзе, — перебила Светлова, — подождем результатов исследований. Подготовьтесь-ка лучше сами. К ученому совету.

— Ну разумеется! — Степан снова вскинул руки. — Документация будет в полном ажуре!

— Надеюсь, и аргументация несколько иного плана, чем «бывший летчик» и «сам рвется»! — Светлова улыбнулась Елене и медленно пошла к главному корпусу.

— Значит так! — Андрей хлопком соединил ладони и потер их одна об одну, собираясь распределить между собой и Степаном необходимые перед ученым советом дела по завершению эксперимента. Жест был совершенно деркачевский — Елена сразу подумала об этом и потому смотрела на Андрея с грустной улыбкой. Галя же, неотступной тенью стоявшая за спиной Степана, узрела в этом Еленином взгляде нечто иное и сурово поджала губы.

— Гудкова я беру на себя! — Степан опять вскинул свои ладони.

— Да бог с ним, с этим Гудковым! Ты вот что...

Когда Андрей закончил деловой разговор со Степаном и оглянулся, он увидел, как белая фигурка Елены уже скрывается в черном прямоугольнике служебного входа, и вдруг с тоской вспомнил, что в радостной суматохе пришедшего, наконец, успеха он, пожалуй, единственный, кто не сказал Елене ни одного доброго слова. Вообще ничего не сказал, восприняв и самоотверженную работу Елены, и ту радость, которую он ощущал от самого ее присутствия, как должное и непроходящее.

Андрей кинулся было вслед за Еленой, но тут его решительно остановила Галя:

— Андрей Платонович! Вы просили напомнить, что на 15 часов назначен осмотр больных Рутковского и Рамсея.

Андрей остановился:

— Да, да... Сейчас пойдем.

По-разному закончился этот радостный и суматошный день у ожидающих чуда от доктора Вихрова больных, у него самого, у его друзей и помощников.

Федор Федорович Рутковский едва не пел, торжествуя победу над скептицизмом сэра Френсиса Рамсея, добивая его бесчисленными воспоминаниями из школьной жизни его ученика Андрея Вихрова, уже тогда явно свидетельствовавшего свою неоспоримую талантливость.

Степан Зацепин пригласил доктора Гудкова «малость перекусить» в ресторане «Море». К удивлению и радости Степана «главный оппонент» легко согласился. Однако после второй рюмки доктор Гудков начисто отказался вести профессиональные разговоры: «Посидим, как люди, черт возьми! Учитесь иногда от всего отрешаться!»

Степан поспешно согласился «отрешиться», добавил к своему заказу коньяк и кофе. Но и после коньяка Николай Николаевич Гудков не пожелал свернуть на осторожно предложенный Степаном путь деловых разговоров, а потребовал от миловидной певички джаза, к ее и руководителя ансамбля вящему удивлению, чтобы она исполнила старую студенческую песню: «Гуадеамус сигетур!..»

Тем не менее, едва отбуксировав Николая Николаевича домой, сдав его с рук на руки изумленной супруге, Степан кинулся к первому же автомату, дабы сообщить своему другу Андрею Вихрову о том, что «Гудков наш!».

Дозвониться ему не удалось. Потому что телефон Андрея все время отвечал короткими частыми гудками. Андрей через каждые пять-десять минут звонил в номер Елены, но там никто не поднимал трубки. Щемящая тоска все глубже и глубже охватывала Андрея после безответного звонка.

Но, пожалуй, грустней всех закончился этот день в палате Нины. Рассказывая ей об удаче Андрея и Степана, медсестра Галя по-бабьи не удержалась от того, чтобы не рассказать о пристальном и грустном внимании Елены к доктору Вихрову.

— Зачем ты мне это говоришь? — вроде бы безразлично спросила Нина, но пальцы рук, лежавших поверх одеяла, чуть дрогнули.

— А потому что... нечего ей! — Галя подвела опустошенным шприцом категорическую линию.

— Андрей... Платонович рад небось? — скрытая улыбка тронула губы Нины.

— А чего больно радоваться? Степан говорит, может, и не дадут им на людях пробовать. Теперь все зависит от Светловой.

— Галя!.. А цветы на окне шибко завяли?

Заходящее солнце золотило на подоконнике пушистые головки хризантем.

— А что им! Воду я сменила.

— Спасибо. Знаешь... Возьми их... Передай Андрею Платоновичу.

— Дело! — оценила Галя. Выхватила из банки букет, встряхнула корешки. — Правильно решила. Ты не смотри, что она красивая.

— Мне смотреть нечем.

Галя судорожно прижала букет к груди, прикусила губу. Наклонилась над Ниной, горячо зашептала:

— Хочешь, я с Андреем поговорю? Или подобью Степана? Он на семейную жизнь смотрит реалистично. Жена должна быть женой, а не лауреаткой.

— Не надо... Существует врачебная этика.

— Чего-о?

— Спать хочу.

Галя обиженно хмыкнула и вышла.

Из-под повязки Нины выкатилась слезинка.

22

У края пустынной бетонки военного аэродрома сидели на раскладных стульчиках Деркач, некто в штатском и двое военных. Тонким прутиком покачивалась на ветру антенна переносной радиостанции. Рядом с ней темнели контуры непонятного прибора.

А со стороны горизонта на другой конец бетонки заходил на посадку самолет.

Густели сумерки, но огни вдоль посадочной полосы не горели. Не слышно было гула мотора, привычных аэропортовских шумов и, может быть, поэтому вся картина показалась Елене нереальной. Она остановилась в нескольких шагах за спиной Деркача, не окликая его.

Один из военных беспокойно заерзал, показал рукой на садящийся самолет.

— Но ведь пока... он явно не дотягивает!

— Импульс! — скомандовал Деркач.

Человек в штатском повернул тумблер, и от прибора туда, в сторону планирующего самолета, ушла с коротким затухающим звоном красная молния.

И чуть приподнялся нос самолета, долетел гул активно заработавших турбин. Военный торопливо поднял микрофон:

— Ноль пять! Немедленно переходите на ручное управление!..

И сразу праздничными гирляндами вспыхнули огни по обе стороны бетонки.

Самолет коснулся колесами бетонки, покатился по ней, все увеличиваясь в размерах.

Деркач раздосадованно хлопнул ладонью по колену. Встал. Отошел в сторону, задумался.

Тогда Елена сделала несколько шагов и постучала рукой в спину Деркача, как в закрытую дверь.

Деркач оглянулся. Губы его дрогнули, изумление в глазах сожгла вспышка искренней радости, и, наконец, все лицо осветилось редкой и, может, поэтому особенно трогательной улыбкой.

Самолет закончил пробег и теперь рулил, октавно бая турбинами. И в этом грохоте на фоне надвигающегося самолета и пустынного степного горизонта Деркач притянул Елену к себе.

— Ленча! Наконец-то! — Он хотел ее поцеловать, но она выскользнула из его объятий, круто повернувшись к поднявшимся с раскладных стульев военным. Человек в штатском остался сидеть, только обеими ладонями торопливо приглаживал непокорные вихры волос, вздыбленных на голове степным ветром. Елена, улыбаясь, шагнула к незнакомцам. Военные, один из них был полковником, вскинули ладони к козырькам летных фуражек. Приземлившийся самолет рулил мимо них на стоянку, и знакомство сопровождалось сатанинским клекотом его турбин.

Зато потом Елена и Деркач шли в степной тишине. Даже сверчков не было слышно. Она рассказала, как помогла Вихрову в регулировке лазерного аппарата.

— Тогда я взяла два высоких модуля и один низкий, — как ни странно, они дали искомый импульс. Вернее, он стал управляемым.

— Молодец!.. Как все гениальное просто! Когда вернемся в Москву, не забудь дать заявку. Это большая находка. И пригодится она не только эскулапам — вот увидишь!

— Почему ты все-таки сбежал от них, Артур?

Деркач быстро нагнулся, сорвал какой-то цветок. Поднес к глазам — не одобрил, отбросил.

— К этим товарищам, — он кивнул на оставшихся далеко за их спинами военных, — я тоже должен был захватить. Дыганов с тем и отпустил: помочь твоему Вихрову, а заодно поработать с летчиками по давнему договору. И потом всегда надо помнить о коэффициенте полезности. Видишь ли... Все, что ты рассказала, — очень трогательно. И этот мальчишка!.. И я безумно хочу, чтобы он прозрел. Но это все-таки... Один, пусть сто частных случаев. А один прозревший в тумане перед посадкой самолет — это сто прозревших!.. Прозревают сто самолетов — это тысяча спасенных жизней!

— Прозревает миллион самолетов — прозревает человечество! — на деркачевской патетике подхватила Елена.

Деркач остановился, обиженно посмотрел на Елену.

— Не прозреет, Артур, человечество от твоих открытий. Человеку нужней всего одно открытие — открытие доброты.

— Причем обязательно моей?! Готов!.. Готов выдавать доброту в любом количестве. И заметь: не ради всего человечества, а ради одной тебя! Годится?

— Годится! Завтра у них научный совет.

— Вот именно завтра не могу.

— Но...

— Опять взревели турбины. А чей-то голос, усиленный микрофоном, прозвучал над летным полем:

— Артур Иванович, сейчас дадут второй старт!

Деркач заспешил, увлекая за собой Елену. И все ее слова тонули в нарастающем грохоте турбин.

Появился четвертый стул — не раскладной, обычный. Его поставили позади трех раскладных. Полковник жестом предложил Елене присесть. Она кивнула, но не села — стояла рядом со стулом, барабаня кончиками пальцев по его спинке.

Самолет еще только рулил вдалеке к стартовой линии. Вполне возможно было разговаривать. Но все молчали, уставясь в одну точку — далеко руливший самолет, — словно и сама рулежка была частью эксперимента. Елена поняла, что Артур Деркач уже «отключился». От ее рассказа и просьбы приехать завтра к ребятам на ученый совет, от нее самой. Он это умел — собраться, от-

бросить все, что не имеет отношения к его сииминутным занятиям.

«Так будет всегда,— подумала Елена.— Всегда я буду статистом в его делах, в его жизни... Вот если не оглянется на счете «тридцать», я уйду и уеду».

Она досчитала до пятидесяти. Деркач не оборачивался. Елена повернулась и пошла. Сначала она шла медленно, еще надеясь, что Деркач вот-вот оглянется, окликнет ее. Потом почти побежала, твердо решив не останавливаться, даже если ее попытаются вернуть.

У будки КПП стоял зеленый бензовоз. Стоя на подножке, молодой водитель в лихо заломленной пилотке приветливо смотрел на приближающуюся Елену.

— Вы на станцию? — спросила Елена.

— Можем завернуть и на станцию,— он галантно распахнул перед Еленой дверцу кабины.

В пути солдат вдруг с улыбкой спросил:

— В магазинчик? За коньячком для шефа?

Елена кивнула.

— Правильно. А то у нас тут сухой закон.

«Господи,— подумала Елена,— как быстро становятся всеобщими новости в отдаленном гарнизоне! Уже всем ясно: кто я и кто мой шеф!» И еще она подумала, что Артура Деркача, наверно, вполне устроило бы, чтобы ее роль здесь свелась к доставке коньяка в авиагарнизон. На станции она, поблагодарив водителя, сошла, взяла билет и стала дожидаться электрички.

23

— У подопытных животных не обнаружено никаких изменений в организме.— Руки Светловой перебирали черные квадраты рентгено снимков на заседании членов совета, молча приглашая к началу дискуссии.

Член ученого совета профессор Коротич поскреб клиншек бородки.

Доктор Гудков приподнял плечи, взглядом поискал сочувствия у Коротича, но профессор опустил глаза... Тогда Гудков посмотрел на Елену. Она ответила долгим, чуть ироничным взглядом. Гудков обратился к большому портрету В. П. Филатова. Полированная лысина Гудкова мерно покачивалась, что означало крайнее недоумение: «Что делается, что делается!..»

— Разумеется, все материалы как самого эксперимента, так и сегодняшнего обсуждения будут направ-

лены в министерство, — продолжила Светлова. — Думаю, что метод наших кандидатов Вихрова и Зацепина получит одобрение.

— Он так и будет называться — Вихрова — Зацепина? — спросил Гудков.

— Не будем сейчас спорить о названии метода! — Светлова постучала по столу дужкой очков. — Тем более что в работе приняли участие наши коллеги из института Гельмгольца, да и... — благодарная улыбка Елене, — ...многие товарищи нам помогли. Речь о более существенном... Доктор Вихров настаивает на проведении операции на больном... — Светлова раскрыла папку. — Рутковский Федор Федорович... Шестьдесят пять лет. Вторичное отслоение сетчатки правого глаза. Левый удален после пулевого ранения. Инвалид Отечественной войны.

— Простите, Надежда Петровна! — Гудков не смотрел на Андрея. — Доктор Вихров, скажите, пожалуйста, больной Рутковский ваш дядя?

— Никакой он н-не дядя! Просто мой учитель.

— Ах, да! Вспомнил, вспомнил... Вы как-то говорили — он вам заменил отца.

— Не понимаю вас, Николай Николаевич! — Светлова надела очки. — К чему эти генеалогические изыскания?

— Тогда разрешите! — Гудков поднялся, ожесточенно потер ладонью лысину. — Я далек, далек невероятно, — Гудкову почему-то не удавалось только это слово, все уже привыкли, что он произносит «невероятно», — от мысли, что больной Рутковский подвергся психологической обработке. Нет!.. На беспримерный риск ради прогресса нашей науки Федора Федоровича толкнула вся его прекрасная жизнь. Коммунист. Кстати, неутомимый пропагандист. Боюсь, что в этом отношении он немного перебарщивает. И не исключено, что сэр Френсис Рамсей уезжает в Америку, не завершив у нас лечения, именно потому, что устал от его пропаганды.

Светлова улыбнулась и сделала пометку в блокноте.

— Это, разумеется, спорный вопрос, к тому же я несколько отвлекся. Да! Так вот, Федор Федорович Рутковский, искренне желая помочь не только своему... усыновленному ученику достичь успеха, но и двинуть вперед отечественную науку...

Стили под стеклом на огромном стенде бесчисленные сувениры — дары клинике от исцеленных людей со всех концов света. И над ними набирал пафос голос Гудкова:

— Рутковский рискует единственным глазом, заранее ограждая доктора Вихрова от всякой ответственности. Федор Федорович сам сказал, что в случае неудачи — с его стороны никаких претензий.

— Глаз у Федора Федоровича все равно обречен! — перебил Степан.

— Это не аргумент!.. Если идти по этому пути, можно скольких людей экспериментами укокошить?! Но самое главное, самое главное! — Гудков высоко поднял подрагивающий палец, бросил обиженный взгляд на откровенно зевнувшую Елену. — Самое главное, товарищи, что ни нам, ни первооткрывателям лазера, прежде всего, как грозного оружия, — поворот и легкий поклон в сторону Елены, — ученым физикам до сих пор неизвестно, не окажется ли губительным для человека воздействие лазерного излучения через год или, скажем, через пять лет?

— Вернуть Федору Федоровичу зрение даже на пять лет... — успела вставить Елена.

— Я ухожу от частного случая, как вы понимаете, Елена Николаевна! Позвольте всем напомнить, что на заре атомной энергии люди, получившие определенную дозу радиации, умирали, увы, не сразу. Смерть наступала их порой через несколько лет. Кстати, мне кажется, мы не случайно не видим на сегодняшнем совете Артура Ивановича Деркача. Я не хочу умалить... — Гудков, подыскивая слова, снова поклонился Елене.

— Спасибо, — спокойно кивнула Елена, освобождая Николая Николаевича Гудкова от необходимости подбирать извинительные слова. Еще в начале ученого совета Елена решила не выступать — в конце концов она не медик. Если нужно, даст техническую характеристику аппарата — и все. Но слушая доктора Гудкова, заметив, как магически подействовали на некоторых участников заседания его устрашающие слова, аналогия с ожогами от атомного излучения, чувствуя, что Андрей вот-вот сорвется и, может быть, все испортит, Елена поняла, что слово физика сейчас, возможно, будет иметь решающее значение. Она поднялась. Однако и Гудков не сядил. Елена вопрошающе посмотрела в упор на доктора Гудкова.

— Николай Николаевич, насколько я поняла, главный аргумент ваших возражений против применения лазерной терапии сводится к опасениям нежелательных последствий, связанных с малоизученностью физической природы лазерных лучей?

— Примерно так, — согласился Гудков.

Светлова удовлетворенно кивнула.

— Самое время послушать мнение физика. Кстати, для тех, кто не знает нашу гостью... Вернее, одного из активных создателей нашей лазерной установки... Елена Николаевна Скворцова — доктор физико-математических наук. Прошу вас, Елена Николаевна.

Гудкову ничего не оставалось, как сесть.

— До того, как лазер вошел в нашу технику, сведения о нем поступали в основном со страниц приключенческих романов. И конечно же там он всегда оказывался грозным испепеляющим оружием. Слово лазер стало синонимом оружия... Что ж, разумеется, возможна и такая его функция. Впрочем, так же, как у обыкновенного ножа, как у скальпеля хирурга... Все зависит от того, в чьих он руках. — Елена говорила негромко, низким грудным голосом, и волна доброжелательного спокойствия невольно накатывалась на всех присутствующих, разве что минуя Гудкова, непрерывно ерзавшего на стуле. — Так вот, лазер давно уже не оружие. Вернее, не только оружие. Луч лазера широко применяется в металлорежущих станках, в приборах. Луч лазера способен передать огромный поток информации. Вот как раз Артур Иванович Деркач сегодня не смог присутствовать здесь потому, что у него в самом разгаре эксперимент по передаче с помощью лазера необходимой информации на борт садящегося вслепую самолета.

Гул почтительного удивления, как шелест листьев при внезапном порыве ветра, вспыхнул и тут же стих над столом участников ученого совета.

— Квантовое излучение не следует отождествлять с ядерным. Если можно так выразиться, по сравнению с атомным излучением, квантовое — доброе излучение. В определенной дозировке, разумеется. Должна вам сказать, что в процессе работ с лазером в нашем институте всякое бывало. Случались и ожоги... Ничего. Все заживало, как после обычного бытового ожога. Да вот, — Елена улыбнулась, — доктор Вихров, торопясь проверить безопасность достигнутого минимума излучения, подставил как-то под лазерный луч свою ладонь.

Все, кроме Светловой, Степана и Гудкова, как по команде, повернули головы к Андрею, уставились на его спокойно лежавшие на зеленом сукне руки. Андрей кашлянул, смутившись, спрятал руки под стол.

После Елены выступал профессор Коротич. Речь его сопровождалась жестами, неопределенными, округлыми, как и его фразы:

— Данные исследований весьма... обнадеживают. Конечно, не всегда перенос эксперимента с животного на человека вполне... гм, благополучен. С другой стороны... не очень ясен дальнейший ход эксперимента... Может быть, поговорить на более широком форуме? Может быть, подождать приезда наших коллег...

— Совершенно верно! — подхватил Гудков. — Товарищам, понятно, не терпится...

— Нет, неверно! — Не спрашивая разрешения, поднялся Степан. А Коротич поспешил сесть. Даже, казалось, обрадовался такой возможности.

— Дело не в нашем нетерпении, — продолжал Степан. — Оно ничего не значит по сравнению с ожиданием больных! Десятки из них могут стать зрячими буквально завтра!

— О! — сокрушенно воскликнул Гудков. Светлова встревоженно вскинула голову и увидела застывшую в дверях секретаршу.

— Клавдия Васильевна! Я же просила!..

Клавдия Васильевна тихо всхлипнула:

— Федору Федоровичу очень плохо!

Андрей сорвался с места и бросился к двери...

24

Такова уж, наверно, специфика всех приинститутских клиник, на койках которых подолгу лежат страждущие. Сначала исследования, потом подготовка к операции, а после нее длительный, как правило, послеоперационный период. И так получается, что события, происходящие в институте, становятся известны больным, вселяя в них то надежду, то тревогу.

Федора Федоровича, к тому же, знали и любили многие. Старик, несмотря на занятное соседство с мистером Рамсеем, случалось, вечерами уходил «в разведку», расхаживал по палатам, подолгу застревая в детском крыле, теща малышей и подростков увлекательными, чаще всего веселыми рассказами.

Все вроде обошлось. Приступ сердечной недостаточ-

ности удалось остановить. Сердце билось ровно, поднялось и давление, когда Андрей, наконец, решил покинуть Федора Федоровича, попросив лорда Рамсея категорически выпроваживать любых посетителей.

Несколько минут старики лежали молча. За синим окном полыхнула молния, глухо пророкотало. Федор Федорович повернулся на бок, лицом к койке Рамсея.

— Почему не засыпаешь, Теодор?

— Не засыпается.

Опять помолчали. Потом Федор Федорович сказал:

— Слышал твой разговор с Андреем. Не ожидал такого поворота, честное слово.

Вместо ответа Рамсей спросил:

— Это не будет очень плохо, если я закурю?

— Давай!.. Я тоже. Только не говори Андрею.

Рамсей щелкнул зажигалкой, протянул огонек Федору Федоровичу. Поставил свою подушку вертикально, откинулся и с наслаждением выдохнул облачко дыма.

— Не пожалеешь? — спросил Федор Федорович.

Рамсей молчал.

— Чего вдруг решил остаться?

— Я уже был в Штатах. Еще когда мог смотреть.

— Насмотрелся, значит?.. Теперь недолго! — заверил Федор Федорович. — Светлова послезавтра полетит в Москву. А мы с тобой первые на очереди.

— Мы с тобой первые не только к доктору Вихорову, но и к апостолу Павлу.

— Ну уж! Еще поборемся. Я тебе должен столько показать!

— Только не думай, что будет совсем восторг, когда я разгляжу все.

— Что ж... Восторги — это удел молодых. С тебя хватит объективности.

Рамсей приподнялся:

— Знаешь что, Теодор? Я решаю ускорить финиш этой истории. Ты не должен держать обиду. Я твой дублер. Завтра я предложу доктору Вихорову свой глаз, и дам письменный гарантий — вот!

— Боюсь, твой порыв не будет оценен.

— Почему?

— Как тебе объяснить, чтоб не обидеть?.. Ты все-таки гость. В отношении твоего глаза уместна особая осторожность.

Рамсей щелкнул переключателем транзисторного при-

емника. Сквозь треск помех английский диктор вещал о новых ядерных испытаниях в штате Невада.

— Странно все же.

— Что именно?

— Такая осторожность над одним глазом, когда рушится мир.

— Понимаешь... мы не считаем, что мир рушится. И чем больше людей прозреет, тем лучше для мира.

За окном снова полыхнуло. Гром прогремел близко.

Недобрый призрак тревоги витал и в тишине другой палаты, хотя Галя и ничего не рассказала Нине о сердечном приступе Федора Федоровича. Может, подступившая к городу гроза, наэлектризовав синий вечерний воздух, вселяла в людей, лишенных возможности видеть ее еще дальние молнии, чувство неуверенности и необъяснимого беспокойства. Нина металась в постели, стремительно перекатывалась с боку на бок, прерывисто вздыхала. То требовала Галину руку и, задержав ее в своей, начинала другой рукой гладить теплое запястье медсестры, то вдруг рывком натягивала под самый подбородок одеяло и в десятый раз требовала, чтобы Галя пересказала все перипетии ученого совета.

— Да все, что слыхала от Степана, сказала уж, хоть и не должна болтать.

— Так что ж решили-то?

— Да ничего и не решили толком. Не успели... Ты кончай психовать, а то укол вкачу, сразу заснешь.

— Не надо!

— Не буду, если успокоишься.— Галя поднялась, посмотрела на вроде притихшую Нину.— Во! Так и лежи... А для полного успокоения есть для тебя и хорошая новость. Эта самая красавица лауреатка завтра, кажется, улетает.— Галя торжествующе причмокнула и вышла.

Нина выпростала руки из-под одеяла, протянула их вдоль, вывернув ладошками вверх.

— Синее небо, синее небо! — тихо шептали ее губы. Но не приходила синева. Дрожала под плотной повязкой густая опостылевшая чернота, изредка растекаясь лиловыми пятнами. Нина слышала, как медленно и грустно, словно устало, стучит ее сердце.

— Галя! — крикнула Нина и, резко сев на постели, рывком сорвала с глаз повязку. Свет в палате горел, и Нина невольно сразу зажмурилась, утерла повязкой

обильно выступившие слезы. А когда осторожно открыла глаза снова — поразились забытой четкости контуров окружавших ее предметов. Вот прямоугольно белеет впереди дверь. Застилавший глаза туман исчез. Странно... Неужели?.. Нина осторожно повернула голову. Почти резко обозначилась картина на стене... Цветы на подоконнике...

И тогда она встала. Накинув халат, она, чуть качнувшись, шагнула к двери, осторожно открыла ее и переступила порог...

Андрей и Елена сидели в это время в опустевшей ординаторской.

В комнате горела только настольная лампа. В желтом кругу ее света рука Андрея чертила на бумаге лысых чертей, отдаленно напоминавших Гудкова. Руки Елены белели совсем рядом. Они настороженно подрагивали, словно хотели коснуться руки Андрея и никак не решались.

— Все станет значительно проще, — тихо и убежденно говорила Елена. — Столица есть столица. Можно попробовать подключить Дыганова... Пойдешь в конце концов в ЦК! — рука Елены коснулась руки Андрея. — И потом в Москве...

— Деркач? — хрипло спросил Андрей.

Елена отдернула руку.

Скрипнула дверь.

— Нина? — Андрей растерянно вытянулся над столом. — Зачем ты встала?

Нина осторожно шагнула. Ее глаза мерцали лихорадочным блеском.

Елена отошла к распахнутому окну. Широкая молния выхватила ее лицо, полное смутения. Ворчливо шумели в темноте деревья.

Андрей осторожно усадил Нину на стул.

— Ну и ну! А повязка где?

— Не могу я больше, Андрей Платонович! Домой поеду!

— Не рано ли? — Андрей спросил зло. — Давайте, разбегайтесь все! Пусть торжествует Гудков. Будем лечить кроликов.

Нина всхлипнула и вдруг озабоченно сказала:

— У вас халат порвался... Под мышкой.

Андрей почти машинально поднял руку да так и застыл.

— Как это ты... разглядела?

— А вот поднялась и... вижу вроде.

— Выдумщица ты, ей-богу!

Елена удивленно смотрела на Нину.

Андрей, вздохнув, вынул из кармана офтальмоскоп... Едва посмотрел глаз, отпрянул. Торопливо поправил свет и опять поднял офтальмоскоп. Смотрел долго.

— Чертовщина какая-то!

У Нины перехватило дыхание.

— Что это вы, Андрей Платоныч? Может, правда?

— Не знаю! Может... от того, что резко поднялась?

— Ну?

Елена приблизилась к ним.

— У нее сетчатка... плотно прилегла. Поэтому она...

— Так и ладно тогда! — Нина поднялась.

— Не двигайся! Это неустойчивое прилегание! Каждую секунду она может снова отойти.

Нина хотела сесть.

— Нет! Теперь стой. Никаких движений!

Совсем близко ударил гром, и Нина вздрогнула.

— Не двигайся, говорю!..

— Мне стоять трудно. Вот беда-то... Отвыкла.

— Елена, поддержи Нину.

— Не надо. Не упаду.

Но Елена встала за Ниной, готовая обхватить ее плечи. Не спуская глаз с Нины, Андрей попятился к столу, набрал номер.

— Степан?.. Приезжай в институт. Немедленно!

26

Нина лежала на носилках. Стоя на коленях, Степан долго смотрел в подрагивающий глаз. Развел руками.

— Невероятно! Такой случай... — Степан тревожно глянул на Андрея. — Что там Светлова?

— Не отвечает! — Андрей зло бросил трубку на рычаг. — Тронули, что ли?

— Подожди! — Степан торопливо подошел к телефону. — У меня, может, рука легче. — Губы его дрожали.

Гудки, продолжительные гудки жалобно бились в трубке. И вдруг мужской голос:

— Алло?

Степан облегченно вздохнул.

— Добрый вечер!... Можно попросить к телефону Надежду Петровну?.. Очень... Что?.. Как не будет до утра? На этот вопрос Степану не ответили.

А он стучал по рычагу, кричал «алло, алло», хотя трубка отвечала только гудками, и пугался все больше.

Первой это заметила Елена.

— Положите трубку, Степан.

— Да, но... Андрей! — Степан отходил, увлекая за собой Андрея в дальний угол ординаторской. А в ушах звучал заклиняющий шепот Галины: «Светлова квартиру обещала. Ты уж постарайся, Степа!» Степан повернулся к Андрею, облизал пересохшие губы.

— Квартира — это ерунда, понял?

Андрей покачал головой.

— Ничего не понял. Какая квартира?

— Дело в том... Дело в том, что мы... Мы с тобой можем лишиться сразу всего! Научной работы, всего, что добились... Дипломов, наконец! — Степан пытался положить руку на плечо Андрея, но тот стряхнул ее.

— Значит, ты действительно не веришь? Как же ты мог? Как же ты мог на научном совете орать на Гудкова? Не верить и защищать?

— Ну, почему не верю? Почему не верю! — торопливо забормотал Степан. — Ты знаешь, как я верю. Но, сам пойми, без санкции Светловой...

Андрей отвернулся от него и пошел к носилкам. Не оборачиваясь, зло спросил:

— Помочь донести ты можешь без санкции?

— Донести? — Степан торопливо закивал, но с места не сдвинулся.

— Не надо! — строго и спокойно сказала Елена и пригнулась к носилкам.

Андрей и Елена осторожно поднимали носилки и с этой секунды услышали, как торопится Время. Оно стучало метрономом в их сердцах, ускоряя и ускоряя свой бег.

Они медленно пронесли Нину ночным коридором... На повороте лестницы их проводил немигающим взглядом бронзовый бюст основателя института.

Качнулась и кончилась лестница. И вновь стало слышно, как внутри них самих заторопились четкие секунды.

Потом носилки медленно поплыли ночным садом. Впереди шла Елена. Метнулся ей под ноги и тут же отпрянул серый комок. Елена ойкнула и остановилась:

— Заяц!

— Заяц на дороге — плохо! — подала голос Нина.
— Кролик это, а не заяц! — строго перебил Андрей.—
Филька одного так и не поймал.

— Кролик — это просто отличная примета! — бодро подхватила Елена и осторожно шагнула вперед.

Ближние молнии все чаще выхватывали из темноты медленную и молчаливую процессию...

Зажатое стальными полукружьями лицо Нины поразило Андрея своей отрешенностью. Метроном в груди все убыстрял и убыстрял удары, словно напоминая о быстротекучести Времени.

Андрей приник к прицелу... Перекрестие, проникнув через Нинин зрачок, замерло на пульсирующей желтизне сетчатки. Стук секунд слился воедино и оборвался неправдоподобно громким выстрелом. Красная молния ударила в голову Нины. И сразу стало до страшного тихо. Слышно было, как бьется о стекло окна заплутавший мотылек.

— Все? — тихо и удивленно спросила Нина. И тревога сразу исчезла. И Время перестало напоминать о себе частыми и гулкими ударами метронома.

— Нет! — Голос Андрея звучал уверенно и спокойно.— Подними глаза! Вверх, вверх смотри!..

И глаза Нины устремились к небу. Так на картинах старых мастеров ждали люди ниспослания чуда.

И Андрей снова приникает к прицелу.

Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. И три красных молнии бьют в голову человека. И только чуть подрагивают у него губы, вот-вот готовые ответить благодарной улыбкой другому человеку, доброму огневержцу, властелину красных молний.

И уже грохочет за окном настоящая гроза. В синих вспышках, в громовых раскатах проносится она над городом, над бульваром, неистовствует над институтским садом. Молнии выхватывают из темноты кипящие под ветром деревья.

И бежит Степан. Бежит под проливным дождем, жадно хватая воздух... Потом останавливается. Озирается... И, коротко всхлипнув, поворачивает назад. Снова бежит. По лужам, не замечая, что дождь уже кончился.

У входа в сад клиники он чуть не сталкивается с Андреем и Еленой, стоит, тяжело дыша, опустив голову.

— Хорошо, что вернулся, — спокойно, словно ничего не случилось, говорит Андрей.— Она уснула. Посидишь

в палате. Я кончился совсем.— Андрей, качнувшись, как пьяный, уходит за ворота.

— Куда ты в халате-то?

Остановился Андрей, сдернул халат, бросил его на руки Степану. Когда он прошел несколько шагов, Елена кинула на руки Степана свой халат и догнала Андрея.

Степан долго смотрел им вслед.

А утром мимо Степана, почти не взглянув на него, быстро прошли к Нининой палате Светлова и профессор Коротич.

Дух чрезвычайного происшествия царил в людном коридоре. Перешептывались ходячие больные. Метеорно проносились люди в белых халатах... В холле первого этажа укоризненно покачивался шар на плечах Гудкова.

Светлова вошла в палату. С испугом посмотрела на нее Галя.

Медленно поднималась на койке улыбающаяся Нина.

— Лежите!

Светлова смотрела глаз долго. Отдыхала, поглаживая Нинину руку, и снова смотрела.

— Посмотрите теперь вы, Игнатий Викторович! — Светлова распрямилась, передала офтальмоскоп Коротичу.

Тихо приоткрылась дверь. Степан, не дыша, остановился на пороге.

— Прекрасно, прекрасно, — голос профессора Коротича журчал, вибрируя где-то в его большом носу, и Нина с трудом сдерживала смех. — Но ведь это, — Коротич опустил офтальмоскоп, — простите... здоровый глаз?

— Нет! — закричала Нина и порывисто села. — Больной! Был больной!

Степан шумно вздохнул, резко оттолкнувшись от дверного косяка, чуть не упал на безмолвно стоявшего за ним доктора Гудкова.

— Ой, простите!..

Гудков ничего не ответил. Как-то растерянно потоптавшись на месте, он развел руками и так и пошел по коридору — руки в стороны, втянутая в плечи голова.

— Все-таки наберись терпения, Нина, и лежи еще малость, — ласково сказала Светлова и мягко положила ее голову на подушку. — Галя, наложите повязку. И найдите же, наконец, Андрея Платоновича!

Светлова — профессор Коротич следом — столь стре-

мительно вышла из палаты, что Степан не успел даже отойти от двери. Он стоял набычившись, глядя на оставившуюся, с трудом сдерживающую улыбку Светлову с такой дерзкой решимостью, что трудно сказать, какие слова могли бы вот-вот прозвучать в полумраке коридора, если б Светлова не заговорила первой.

— Ну что ж, доктор Зацепин... Конечно, все совершенно против правил.

Профессор Коротич торопливо закивал.

— Однако, боюсь, ни один настоящий врач не упустил бы такого случая. Самоприлежание сетчатки — подумать только!..

И снова Коротич затряс клинышком бородки.

— Так что выше голову, Степан! Победителей не судят, а если и судят, то судом праведным и милосердным.— Она протянула руку и чуть коснулась ею влажного вихра на Степановой голове. Степан вздрогнул и несколько раз судорожно глотнул воздух. Этого Светлова уже не видела. Она быстро уходила с профессором Коротичем в сторону своего кабинета.

Когда Галя нагнулась к Нине, та цепко перехватила ее руку с бинтом.

— Подожди!.. Я бы только в окно...

Галя укоризненно вздохнула, однако помогла Нине встать, повела к распахнутому настежь окну.

— Осторожней топай! Распрыгалась.

И увидела Нина промытый ночным дождем сад. Сквозь притихшую в задумчивости листву пробивались лучи солнца и теплели на земле добрыми веселыми бликами. Поражали четкостью своего затейливого рисунка литые чугунные ворота, широко распахнутые вовнутрь сада. И входили в них, касаясь друг друга опущенными руками, Андрей и Елена.

Нина вздрогнула и прикусила губу. Галя проследила за направлением ее взгляда и чуть не в крик:

— Дура! Куда ты смотришь?.. Ты на небо смотри, на небо! Посмотри, какое оно синее!

Но Нина смотрела на Елену, неотразимо красивую от светящегося на лице счастья.

Впрочем, если б Нина знала Артура Ивановича Деркача, она бы наверняка обратила внимание на въехавшую в ворота зеленую машину с военным номером.

Из машины вышел Деркач и решительно зашагал по тропинке центральной аллеи вслед за Еленой и Андреем...



РАССКАЗЫ

С нынешним штурманом своим, лейтенантом Тюриным, Нефедов подружился еще в «первоначалке». Так потом, уже в боевом училище, называли летчики не без нотки пренебрежения школу пилотов первоначального обучения.

В один из осенних вечеров появился в бараке «карантина» шустрый паренек в солдатской форме при медали «За отвагу» и с желтой ленточкой — знаком ранения, — нашитой над карманом гимнастерки. Ленточку эту Тюрин как-то после вечерней поверки стал осторожно спарывать тяжелым трофейным ножом.

— Это ты зачем? — удивился Нефедов. На карантинных нарах их звеневшие соломой матрасы лежали рядом.

Тюрин приложил палец к губам:

— Завтра медкомиссия! Говорят, к раненым — жуть придираются!

— А ты куда ранен?

— Военная тайна. — И, нагнувшись к Нефедову: — Контуженный я был. Только об этом молчок, понял?

Медкомиссию Тюрин прошел без сучка, без задоринки. А вот Нефедова чуть не «зарубили».

— Не нравится мне эта грудь, Юлий Максимович!.. Какой-то систалический шумок... — На бледном удлинённом лице женщины-врача тускло мерцали, словно затуманенные обидой, серые и, как тогда показалось Нефедову, недобрые глаза. — Да послушайте сами! — Она устало протянула стетоскоп сутулому невысокому человеку.

Халат на Юлии Максимовиче был расстегнут — грозно топорщился ряд плохо начищенных пуговиц морского кителя. Вспомнил Нефедов, как перед началом работы комиссии именно этот Юлий Максимович прошелся в сопровождении начальника карантина перед строем новичков. Тогда на его кители узко белели погоны подполковника медслужбы. Подполковник смотрел на кандидатов в школу морских летчиков хмуро и озабоченно. Чем-то не нравились ему будущие соколы...

Протянутого стетоскопа Юлий Максимович вроде и не заметил, а выхватил из нагрудного кармана халата коричневую с облупившимся раструбом трубку. Ткнул трубкой в грудь Нефедова и сразу принял к раструбу

большим красным ухом. Трубку Юлий Максимович прижимал сильно. Багровый ободок его уха стал мертвенно белеть, словно умирая.

— Дыши!.. Не дыши. Совсем не дыши!..

Потом подполковник заставил Нефедова приседать и снова приставил трубку к груди. Склонив голову, видел Нефедов, как под ударами сердца дергается трубка, будто стремясь оттолкнуть шарообразную голову с короткими жесткими завитками седых волос, и боялся, что Юлий Максимович сейчас на него рассердится...

Что-то буркнув себе под нос, подполковник выпрямился, воткнул трубку в оттопыренный карман халата и поднял со стола медицинскую книжку Нефедова. Отшвырнув несколько листов, стал читать самую первую страничку, где и не было-то ничего, кроме фамилии, года рождения...

— Ленинградец? — вдруг обрадованно, словно земляка встретил, закричал подполковник.

— Ленинградец! — еще не поняв, что к чему, повеселел и Нефедов.

— В блокаде был?

«Вот оно что!» Теперь Нефедов понял, что сейчас его как раз и «зарубят».

— Был или не был, я спрашиваю?

— Почти не был.

— Как это «почти»? Когда вывезли?

— В феврале.

— Сорок второго? Через Ладогу?

Только теперь Нефедов заметил, что усталая женщина, призвавшая на его беду этого коротышку подполковника, уже не сидит, а стоит перед ним, сжимая стетоскоп поднятыми к груди руками, и смотрит на него очень странно, словно узнала и боится сказать об этом.

— Все ясно! Вот вам, Марья Кирилловна, и миокардиодистрофия в юности! — Подполковник сердито засопел и быстро пошел к выходу. Уже рванув на себя белые двери, остановился, наклонил голову, словно к чему-то прислушиваясь. — Впрочем... Возможно, это остаточные явления после общей дистрофии? Курсантов все же лучше кормят, чем в аэродромной роте... Хм... Может... Может, рискнем? Все равно у них полгода теоретический курс. А там, перед полетами, снова послушаем. Парень-то молодой...

— Спасибо, Юлий Максимович! Конечно!..

Он вышел, не дослушав, громко стукнув дверь.

Марья Кирилловна, все еще сжимая стетоскоп, повернулась к дверям и смотрела на них, пока не смолкли в коридоре удаляющиеся шаги. Потом она повернулась к Нефедову.

— Ой, что же это я! Вы одевайтесь, пожалуйста, одевайтесь!..— Марья Кирилловна положила стетоскоп на стол, провела узкими ладонями по лицу и, когда опустила руки, удивила Нефедова почти веселой улыбкой.

— Все у вас будет хорошо,— нараспев приговаривала она, быстро заполняя страничку в медицинской книжке.— Вы только хорошо... кушайте. Вкусно, не вкусно — обязательно все съедайте.

Нефедов послушно кивнул, а про себя усмехнулся. Видела бы Марья Кирилловна, как вчера, в наряде по камбузу, подмели они с Пашкой Тюриным по неписанному закону камбузного наряда остатки от обеда. На нос пришлось по три борща, по три вторых и по четыре компота. Хлеба смолотили с буханку. И еще б могли! «Обязательно все съедайте». Вот смешнячка!

— И спорт... Конечно, спорт,— продолжала, уже перечитывая написанное, Марья Кирилловна.— Вы спортом занимаетесь?

— Да-да...— неуверенности в ответе Марья Кирилловна не заметила.

— Только не чересчур! — Она назидательно потрясла над столом синей ученической ручкой.— Нагрузку на ваше сердце надо увеличивать постепенно... Очень постепенно! Обещаете мне?

— Конечно!

— Ну вот...— Она аккуратно промокнула написанное, закрыла мягкую, из серой бумаги, медкнижку, но почему-то не отдавала ее Нефедову. Отвернувшись к незашторенному окну, за которым курсант в перемазанном краской комбинезоне уныло белил самодельной кисточкой кирпичи вокруг чахлого побега, Марья Кирилловна настороженно спросила: — Где вы жили в Ленинграде?

— На Петроградской... Большая Зеленина. Знаете?

Она поспешно закивала.

— Ладно! Идите. И помните, о чем я вас просила. Сладкого побольше, по возможности!..

Прошло месяца полтора. Уже чуть отрасли еще в карантине остриженные волосы, и теперь можно было

перед увольнением, предварительно смочив голову, даже наметить нечто вроде косого пробора. Как-то вечером старшина сверхсрочник Литвин, заложив руки за спину и перекачиваясь с ноги на ногу, словно мерил он своими шагами беспокойную палубу крейсера, а не драенный-передраенный в штрафных нарядах дощатый пол курсантской казармы, дважды прошелся вдоль замершего синеглазого строя и, остановившись точно на середине его, глядя куда-то поверх курсантских голов, строго спросил:

— Кто мою хванеру на клынья попылял?

Строй ответил сдержанным, хотя и довольно явственным смехом. Нефедов, улыбаясь, взглянул на старшину и тут же счел за благо обрести самое что ни на есть серьезное выражение лица, ибо именно серьезность невозмутимо сохраняло аскетически сухоощавое, как всегда идеально выбритое лицо старшины первой курсантской роты: Василия Васильевича Литвина, видимо, мало беспокоила форма заданного вопроса. Он ждал четкого и честного ответа по существу: кто из курсантов стащил из каптерки два листа отличной фанеры, припасенных старшиной в точности неизвестно для каких, но уж, конечно, для ротных, а не личных нужд? Кто стащил эту дефицитную по военному времени фанеру с явно злоумышленной целью: вырезать из фанерных листов трапециевидные клинья и после отбоя натянуть на них смоченные штанины казенных брюк, дабы придать оным расширенную книзу форму, то есть породить давно осужденный на флоте клеш — признак пижонства и разболтанности?

Раздавшийся смех, разумеется, не мог считаться ответом по существу. И потому старшина Литвин, легко игнорировав несколько обидную реакцию строя и ничуть не заботясь о лексической стороне дела, стал негромко покашливать, дожидаясь установления полной тишины.

— Та-ак... Вдруге пытаю: кто мою хванеру на клынья попылял?

На этот раз смеха не было. Не было, однако, и ответа. И через минуту напряженной тишины прозвучал старшинский приговор:

— Отмечаю нечестность и трусость первой роты. Ганьба! Увольнения сегодня не будэ... Курсанту Нефедову зайти до меня в каптерку.

В пахнувшей залежавшимся сукном и ружейным маслом комнатухе старшина Литвин первым делом бесцеремонно оглядел брюки Нефедова. Нет, круглые, с наметившимися над коленями вздутостями дудочки нефедовских брюк, хотя и не являли собой образец морской формы, никаких тенденций к расклеиванию не имели. Старшина Литвин вздохнул и извлек из ротного журнала серенький бланк увольнительной записки.

— Кто вам будэ капитан Курзенкова?

— Не знаю никакой Курзенковой.

— Ну як же? — Старшина укоризненно покачал головой. — Капитан медицинской службы Курзенкова лично обратилась к старшему лейтенанту Гурскому с просьбой отпустить вас до них.

— Марья Кирилловна?

— Мабуть, для кого и Марья Кирилловна, а старший лейтенант Гурский приказали направить вас к капитану медслужбы Курзенковой. Ось вам увольнительная. До ноля часов...

От Марьи Кирилловны Нефедов возвратился с огромным пакетом. Дневальный и еще двое не успевших уснуть курсантов, наверное, с полчаса хрустели на всю казарму домашним печеньем, мыча от удовольствия и закатывая глаза.

— Стоп, ребята! Тюрину оставим малость.

— Нёчего! Уснул — все.

Нефедов все же отнял у явно зарвавшегося дневального кулек с остатками печенья.

Утром Тюрин оценил и кондитерские способности капитана медслужбы Марьи Кирилловны Курзенковой, и самоотверженность своего верного кореша Юрки Нефедова, сумевшего отстоять для него немалую толику печенья.

— Мог бы и разбудить по такому случаю, — вздохнул Тюрин, стряхивая крошки с растопыренных пальцев.

— Да жалко было.

— Пряников?

— Тебя, дурака. Сопел больно сладко.

Недели две спустя Тюрин осторожно спросил:

— А чего ж ты Марью Кирилловну не проведаешь? Или помоложе найти хочешь? У молодайки-то пирогами не разживешься.

Нефедов нахмурился.

— Да ладно тебе! Совсем шуток не принимаешь...

Я к тому, что и неудобно вроде. Раз сходил, пряников натрескался, еще мешок с собой приволок — и все. Будь здорова, тетя! Невежливо получается.

— Не могу я к ней идти.

— Что так?

— Она все... про Ленинград спрашивает.

— Ну так и правильно. Земляки ведь!

— Погибли у нее все там.

...Нефедов долго молчал, когда Марья Кирилловна, напоив чаем с домашними, непонятно из чего сделанными, но вкусными, взрывчато распадавшимися во рту сухариками, ублаженная его, Нефедова, сытостью, присела против гостя за стол, подперев щеку сложенными ладонь к ладони руками, и осторожно попросила:

— Теперь расскажите... Все расскажите, как там это было.

Ну что было ей рассказывать?

...Дальних зениток и даже неблизких бомбовых разрывов бабушка уже не слышала. Когда грохало рядом, так что звенела посуда в буфете и начинал раскачиваться зеленый, теперь сильно поблекший от пыли абажур, из соседней комнаты, где лежала, не вставая, бабушка, раздавался ее хриплый, но все еще сильный голос:

— Юрка!.. Окаянный! Не ленись — спускайся в убежище! Ведь не жил еще... Убью-ут!..

«Ну и пусть!» — с каким-то злорадным равнодушием думалось Нефедову, но перед бабкиной заботой было стыдно, и он кричал:

— Уже пролетели, бабушка! Отбой уже!..

— О господи! — она громко вздыхала и затихала, успокоенная его обманом.

Через минуту-другую абажур снова швыряло, сыпалась потолочная штукатурка — все повторялось сначала: «Юрка! Окаянный...»

Так и умирали они с бабушкой. Ничего героического. Даже страшно не было. Просто противно. И утром бы не вставал, да надо. А то — ни бабкин хлеб не получишь, ни свой не съешь. Умываться неохота. Потом и воды не стало. Сначала обрадовался — вот и не надо еще одного усилия: умываться. Потом понял: новая забота — воду приносить из Невки, застывшей в грязных торосах,

с намертво вмерзшими в нее и полуразобранными на дрова баржами.

Бабушки вскоре не стало. Вытащили ее, умолкшую, из комнаты, завернув в одеяло, два чужих опухших дядьки. Нефедов хотел пойти с ними — один отшвырнул его от порога.

— Не качайся под ногами, шкет!

Кинуться на него не было сил. А тут второй подошел.

— Не ходи... Под подушкой гостинец бабка тебе оставила.— Тихо сказал, так чтоб не слышал первый.

В серой от ранних сумерок бабушкиной комнате дышалось холодно и тяжело. Под большой в цветастой наволочке подушкой Нефедов обнаружил два тряпочных мешочка. Смоченным чернильным карандашом коряво на одном было написано: «Юрику!.. Он сирота...» На другом: «Тем, кто хоронить будет». Нефедов упал на бабушкину постель и заплакал...

Однажды во время налета, когда Юрка, скрючась под двумя одеялами, бездумно смотрел, как, словно под ветром, качается абажур, распахнулись — обе створки вразлет — двери и на пороге возник сосед по площадке Андренч. В негнущихся валенках он как-то ходульно, но быстро однако подошел к нефедовской кровати, трясущейся узловатой рукой вцепился в одеяла, дернул на себя сильно, чуть не упал.

— А ну, вставай!

— Не встану! Не трогайте меня! — вдруг завопил самому себе противным голосом Нефедов.

— Ах ты, мерзавец! — Андреич смотрел на него побелевшими от злости глазами.— Отец, значит, на фронте сына своего, город свой защищает... Мы... из цехов неделями не вылезаем... А он, дрянь такая, смерть тут свою торопит! С бомбами судьбу шутит. Герой, думаешь? Дурак ты хлипкий, вот кто!..

Минут через двадцать сидел Нефедов на мягком узле с подушками Александровых — семьи Андреича — в бомбоубежище. Сидел бок о бок со сверстницей своей Ниной, тихой, словно все время к чему-то прислушивающейся, дочкой Андреича.

А потом и его, и Нину, и еще многих, молчаливых и медлительных в движениях, кутанных-перекутанных детей посадили в холодные коробки автомашин и повезли через Ладогу в таинственно, как спасительное заклина-

ние, звучащее Жихарево — бессонный приемный пункт Большой земли.

Об этом, что ли, рассказывать Марье Кирилловне?

— Понимаешь, не могу я об этом! Мне все забыть хочется, забыть...

Тюрин шмыгал коротким носом и приподнимал плечи с голубыми квадратиками курсантских погон.

Все же еще раз пришел Нефедов в трехэтажный дом комсостава, где в большой, с длинным коридором, коммунальной квартире занимала Марья Кирилловна маленькую, чистую, как лазаретная палата, комнату.

— А я как знала, что вы придете! — Марья Кирилловна сложила тонкие и длинные ладони на манер индийского факира, прикрыла синими веками улыбавшиеся и все равно еще грустные глаза. — А ну! Втяните воздух носом! Какие запахи тревожат ваше острое пилотское обоняние?..

В комнате стоял нежный и сладостный дух домашнего печенья.

— Напрасно вы, Марья Кирилловна! Мне неудобно.

— Перестаньте! И не смейте думать об этом!.. Если бы вы знали, какая для меня это радость. Знаете, до войны я пекла почти каждый день. Муж смеялся — гены великих кондитеров не хотят умирать в груди неизвестного терапевта... Будем сегодня пировать! Впрочем, вот что... Давайте-ка я вас послушаю... Да, да, да!.. Раздевайтесь. Учтите: перед полетами снова будет комиссия. И нам надо знать, как там наше сердечко!..

Ее мягкие пальцы, даже пластмассовый кружок стетоскопа казались Нефедову теплыми и добрыми. Сердце стучало в грудную клетку мерно и сдержанно. Еще не слыша заключения Марьи Кирилловны, Нефедов уже знал, что у него все в порядке.

— Просто удивительно! — Марья Кирилловна теребила в руках гибкие шланги стетоскопа и смотрела на Нефедова, как на неожиданный подарок. — Вот что такое молодость! Молодчина вы!... Одевайтесь...

Уже хлопоча за столом, вдруг застыла с поднятым над своим стаканом белым чайником.

— Если бы удалось вывезти всех молодых... Ну, хотя бы детей и подростков... — Крышечка, не удержавшись на замершем в крутом наклоне чайнике, соскользнула, ударила ребром по стакану Марьи Кирилловны. — Ах!..

Нефедов вскочил, растерянно закрутил голову, ища, чем бы вытереть пол под столом.

— Ну и растяпа! — Марья Кирилловна деланно засмеялась, выбежала из комнаты. Нефедов собирал в ладонь влажные и теплые осколки вокруг переполненного янтарной жидкостью блюдца.

И опять были вкусные сухарики, не хватать которые один за одним, а брать степенно, отдаляя секунду, когда дрогнувшей руке вроде бы уже и прилично потянуться к благоухающей вазочке с печеньем, было настоящей тренировки воли. И опять была та страшная минута, когда Марья Кирилловна отвела глаза и попросила робко и упрямо:

— Рассказали бы вы, Юра, хоть что-то... Вы уж простите. Мне, понимаете, кажется, если буду знать, если пойму все...

Запинаясь, сбиваясь от слышанных от Андреича деталей к газетным сообщениям, читанным уже на Большой земле, Нефедов рассказывал, как ремонтировали танки в развороченном бомбами цеху.

Марья Кирилловна слушала сначала внимательно, потом отвернулась, стала вглядываться в синее незаметно подступившим вечером окно.

— Кажется, я об этом читала.

— Да, да... Об этом писали. Это как раз... про бригаду Андреича.

— Он сейчас жив?

— Не знаю.

И опять удивительно громко в спящей казарме хрустели печеньем не ожидавший такого форта дневальный и только что в пятый раз отшвабривший дощатый крашенный пол Пашка Тюрин. Злополучная «хванера», попиленная на клинья, обнаружена была старшиной Литвиным именно у него. Приговор был кратким и не слишком суровым: «Пять нарядов вне очереди!..» Возможно, флотское сердце старшины тронул шикарный вид курсанта Тюрина в расходящихся от пояса к носкам широченных брючинах, на каждой из которых острота наведенной (без утюга!) стрелки могла смело соперничать с форштевнями быстроходных эсминцев.

За четкими квадратами казарменных окон уже остро пахло весной. Без грязи, без особой распутицы исчезал снег. Но именно исчезая, оседая ноздреватой потемнев-

шей коростой, снег вдруг заявил о своем запахе. Пронзительная свежесть висела в синем воздухе, будоража до оглушительного чиха курсантские носы в перерывах между уроками, когда все выскакивали без шинелей на улицу. Даже крепкая горечь махорочных дымков не могла перебить запаха снега, а, может быть, запаха пробуждающейся земли.

На один из таких перекуров обрушился громом с ясно-го неба трубный глас скорбного и торжественного Шопена: «Та-а... та-та-там!..»

Еще не получив подтверждений своей заставившей сжаться сердце догадке, Нефедов, тяжело переставляя ноги, вышел из сразу притихшей толпы курсантов и двинулся навстречу медленно приближавшимся венкам и невесомо плывущему над обнаженными головами красному гробу.

Марью Кирилловну хоронил почти весь офицерский состав школы. Были женщины и дети. Много не знакомых Нефедову людей. Он стоял с ними у желтого, бесшумно осыпающегося края могилы, видел, как падают и падают на красную крышку гроба бурые комья земли. Поднятый им комок рассыпался в руке, ушел вниз короткой беззвучной струйкой. Он и о салюте догадался только по метнувшимся над черными ветвями галкам. Как закричали птицы, Нефедов услышал. А потом грянул «Интернационал». И сразу что-то внутри напряглось до предела и тут же отпустило. И слезы, слезы хлынули из глаз, до этого сухих и только саднивших.

«Простите меня, Марья Кирилловна... Простите...»

Он сошел с быстро таявшего под ним желто-бурого бруствера, побрел к стоявшей неподалеку березе и прислонился лбом к ее прохладному стволу.

Звучали за спиной Нефедова голоса. Начштаба школы негромко давал какие-то распоряжения.

«Нале-во!» — послышалась приглушенная команда. Опустив медные зевы труб к земле, прошел мимо Нефедова отыгравший свое музвзвод. Нефедов отошел еще дальше. Теперь курсант стоял, скрытый от расходившихся с кладбища людей высокими влажными кустами, у старой поржавевшей ограды заброшенной могилы. Тихо стало. Совсем тихо. И тогда Нефедов услышал неторопливые приближающиеся шаги. Обернулся.

— Пойдем, курсант! Пойдем!.. Ее не вернешь, а сам наверняка простудишься.— Тот самый подполковник,

Юлий Максимович... Офицерская фуражка сидела на его голове оплывшим блином. «Нет внутри проволочного каркаса», — зачем-то отметил про себя Нефедов. Шел Юлий Максимович совсем не по-военному, переваливаясь с ноги на ногу, засунув короткие руки в карманы шинели.

Когда благополучно шагнули под полосатый шлагбаум, за которым начинался военный городок, мимо пораженного нѣстроявым видом курсанта (без шинели, без бескозырки) часового, Нефедов почувствовал, что замерз. Он прибавил шагу и тут же остановился — Юлий Максимович за ним не поспевал.

— Ничего, курсант, сейчас придем.

Юлий Максимович завел Нефедова в санчасть. В небольшой, уставленной белыми шкафами комнате усадил на круглый стул. Кряхтя, стянул шинель. Повесил ее на гвоздь, вбитый в стену между шкафами, и зябко потер красные короткопалые руки.

«Неужели сейчас сердце будет проверять?» — подумалось с испугом и внезапной неприязнью к Юлию Максимовичу. Неуклюже потоптавшись, Юлий Максимович повернулся к низкому шкафчику и, присев, извлек на свет банку с прозрачно плеснувшей внутри жидкостью.

Нефедов только потом, после жадного глотка, понял: это был спирт. Перехватило дыхание, и глаза, подталкиваемые слезами, ринулись из орбит.

— Молодец!.. — Юлий Максимович легонько постучал ладонью по закаменевшей спине Нефедова, зачерпнул из эмалированного ведра с полстакана воды. Воду Нефедов пригубил с опаской. Но сразу стало легче, и он допил в два глотка.

— Закусить нечем... Скоро у вас ужин. На чай приналяг. Хоть и без сахара, а лишний стакан горячего попроси. Понял?

Нефедов кивнул.

Себе Юлий Максимович налил из банки четверть стакана и выпил спокойно, как воду. Сразу полез в карман за папиросой.

— Отчего она умерла? — спросил Нефедов.

— Стенокардия... Из двух приступов вытащил, а тут... — Юлий Максимович закашлялся, но криво тлеющей папиросы не бросил. — Воли к жизни у нее не было!.. Не смогла горя преодолеть. Все у нее погибли в

Ленинграде. Муж, сын, мать, сестра — все!.. — Юлий Максимович рубанул воздух все еще красной ладонью, вздохнув, встал. Подошел, скрипя половицами, к закрытому белыми занавесками окну, привстав на носки, открыл форточку и выбросил в нее окуроч.

— А ты выжил! — сказал, еще стоя у окна. Сказал без укора, наоборот, с какой-то ободряющей интонацией, вроде: «вон, мол, какой ты молодец!». И сразу: — Представляешь, как тебе надо жить? Ох, красиво тебе жить надо, курсант!

Нефедов промолчал. О том, как дальше жить надо, он не задумывался. Размеренная курсантская служба представлялась ему спокойной и доброй. Холодный ужас блокады отодвигался все дальше и дальше. Даже в снах перестал хватать за сердце. Главная душевная досада была в том, что война, по всей видимости, идет к победному концу, и не придется ему, морскому летчику Нефедову, посчитаться ни за сверстников — ребят, угасших под холодным блокадным небом, ни за Андреевичеву Нинку, умершую уже на Большой земле, ни за бабушку, ни за вот добрую, как мать, Марью Кирилловну и ее безвестное Нефедову семейство.

Словно угадав его мысли, Юлий Максимович махнул короткой рукой.

— Человека в себе расти, человека!

И опять промолчал Нефедов. Потому что в тайниках души своей ощущал, что человек в нем пока некрасив. Почему он так нехотя шел каждый раз к Марье Кирилловне? Угощенья смущался? Боялся ввести ее в трудный по военному времени расход? Ерунда все это! Это он для себя придумал. Самого себя жалел, вот в чем дело! Потому что больно и трудно было ему тревожить память, рассказывать Марье Кирилловне ленинградские блокадные были. А может, они ей нужны были больше любых лекарств? Может, ожесточила бы она свое сердце и выстояла? От новых сил, рожденных ненавистью. Может быть, нужна ей была его сыновья привязанность, может...

Тюрин его сразу раскусил. Вечером, после проверки, на которой старшина Литвин сделал вид, что ничего знать не знает о самовольном уходе курсанта Нефедова с занятий, Тюрин, ожесточенно колотя набитую соломой подушку, печально протянул:

— Да-а... Не есть нам печенья больше.

Нефедов круто повернулся к нему, но Тюрин, зло сощурясь, не дал ему и рта раскрыть:

— А ты помолчи! Слушал бы меня, может быть, иначе все повернулось. Может, ей и радость-то одна была: тебя, дурака, сухариками кормить.

Вешним днем, когда заходила под ветром переливчатыми волнами приаэродромная степь и возликовали над ней неистовые трели жаворонка, насобирал Нефедов цветов — разных, больше всего неброских, блекнувших в руке сразу, только перерви тонкий, режущий пальцы стебелек. Отнес букет на могилу. Постоял минут пять перед фанерным с уже поблекшей краснотой коническим столбиком с жестяной звездой наверху, почувствовал, как влажнеют глаза, тихо пообещал: «Я еще приду!»

И не пришел. Встретилась ему вскоре другая Марья. И что из того, что звали ее Татьяной? Все имена сошлись тогда в ней, одной и единственной. И все оправдывалось ее любовью. И его короткая память, и безрассудная неумность ласк. Впрочем, временами память брала свое. Звучал иногда то в трудные, то в радостные моменты его, летчика ВВС Нефедова, жизни приглушенный хрипотцой голос. Вот и сейчас, услышав сквозь шум работающих моторов в наушниках шлемофона нетерпеливый вопрос штурмана Тюрина: «Ну что? Поехали, что ли?», торжественно звучащую команду старта: «Витязь-4! Вам взлет!», — Нефедов увидел, как стремительной чередой зачем-то промелькнули перед плексигласом кабины почти прозрачные на фоне голубого зовущего неба лица Андреича и его Нинки, Марьи Кирилловны и Юлия Максимовича. И совсем не удивился, когда в ревернувших машину на взлет моторов он все же расслышал чуть хриловатый голос подполковника медслужбы: «Ох, как жить тебе надо, курсant!..»

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Традиционного сбора не получилось. Не собрались довоенные ученики пятьдесят шестой ленинградской школы! Странно, но я вдруг почувствовал не досаду, а скорее какое-то облегчение. Хватит встречи с Кешкой и Юркой. Когда встречаешься со школьными друзьями спустя

четверть века, все не так просто и радостно. Сегодня я не спрашивал ни о чем ни Кешку, ни Юрку, но, едва взглянув на них, сразу понял, что и они вздохнули свободней.

По-настоящему удручена была срывом только Ирочка Козлова. Она прощалась с нами, и у нее подрагивала от обиды верхняя, все еще пухленькая губа — первопричина ее школьного прозвища Зайчиха. Нас она оставила в покое только под честное слово, что вечером — мы обязательно у нее.

— Мама наготовила человек на двадцать, представляете?

Ах, Ирочка, Ирочка!.. И сорока пяти ей никак не дашь, и мама у нее жива и может приготовить на двадцать человек! Ну, и хорошо!.. Ирка добрая. Это ведь все она затеяла по простоте душевной... Побывала, наверное, в ТЮЗе на розовском спектакле — загорелась: «И мы так соберемся. Будет здорово!» Однако нетрудно было, чуть подумав, прийти к невеселому выводу: у нас «традиционного сбора» не получится. Ну, хорошо, Петька Заклонный, конечно, свинья: именно в феврале, хоть и знал заранее, отхватил себе путевку в санаторий. Алка Ковалева, допустим, зазналась. Не сочла нужным рвануть самолетом из своего академгородка. Ну, еще три-четыре фамилии могли мы назвать и укорить в забвении школьной дружбы. А остальные? Поди созови их! Попробуй поднять из-под плит и холмов, раскиданных по всей Европе. Найди хоть приблизительно место на Пискаревском кладбище, где можно постоять над их могилой. Эх, Ирка-Ирище — Зайчиха! Вряд ли мы осилим — уж ты не обессудь — приготовленный твоей мамой стол на двадцать человек! Да и водку, пожалуй, не допьем. Раньше бы нам собраться: пока никто из нас не знал, что валидол стоит одиннадцать копеек — самый дешевый валидол в мире!

— Да ты, Ира, не переживай, справимся! — заверил ее Кешка.

Ирочка сразу повеселела. Покачала перед нами ладошкой в цветастой шерстяной рукавичке и пошла, ловко балансируя на неочищенных ото льда плитах тротуара.

Я с улыбкой смотрел ей вслед, и Юрка, лишь бы что-то сказать, притворно вздохнул:

— Все! Погиб поэт!..

И тогда Кешка неожиданно серьезно продолжил:

...невольник чести,
пал, оклеветанный молвой,
с свинцом в груди и жаждой мести,
поникнув гордой головой.

— Помнишь? Все?..— радостно насторожился Юрка.
Кешка кивнул.

— Понимаешь, я тогда пришел домой, открыл хрестоматию, а учить и не надо.

И опять кивнул Кешка. И тогда они оба посмотрели на меня.

— Да,— сказал я.— Я тоже.

— А не съездить ли нам туда? — Юрка не стал дожидаться ответа и лихо, по-разбойничьи свистнул поравнявшемуся с нами такси с зеленым глазком. Такси и хода не сбавило. Зато, вздрогнув, остановилась пожилая женщина, перевела дыхание и довольно громко сказала:

— Господи! А еще полковник!

Кешка, запрокидывая голову, злорадно захохотал.

Следующее такси стало нашим. Всю дорогу мы молчали. Потому что каждый сейчас вспоминал одно и то же.

...Он появился в классе где-то в конце первой четверти. Вошел в гудящий класс бочком, шаркающей походкой, зажав под мышкой истертый пухлый портфель. Лысый, только кое-где торчали прозрачные пучки похожих на перья седых волос,— он подошел к столу и, петушино вскинув голову, торжественно произнес:

— Здравствуйте, дети! Меня зовут Семен Ефремович. Я буду вести у вас русскую литературу.

Мы ответили откровенным смехом. Во-первых, какие мы дети, если только вчера Кешка подрался с Вовкой Кирутой из-за Вальки Камоляевой. А во-вторых, это ж надо — такая торжественность! «Я буду вести русскую литературу!» Также предмет! Тут как бы с алгеброй совладать, потому что без нее ни в авиации, ни в морском деле... Ну, а видоқ у литератора?! Когда он открыл рот, обнаружились два выступавших вперед больших зуба.

«Здравствуйте, Змей Горыныч!» — сразу прилепил ему кличку Юрка под новый взрыв смеха услышавших это учеников. Прилепил, да ненадолго приклеилась...

Я не помню, с чего тогда Семен Ефремович начал. Помню только, что минут через пять в классе сама собой установилась совершенно небывалая тишина. Пото-

му что рассказывал он негромким, немного скрипучим голосом удивительные вещи. Ни в каких учебниках этого не было. Вдруг выяснилось, что в доме, где мы не раз бывали с Юркой и Кешкой, жил Гоголь. А Блок встретился с Маяковским у костра в октябрьские дни как раз на том самом месте, где теперь сквер. А девятого января сам Семен Ефремович... Но дело было не только в удивительных историях и встречах, переполнявших жизнь нашего нового учителя. Как-то он так прочел строчки Жуковского, что мы испугались, что сейчас учитель заплачет. Нас охватила тихая и щемящая, как запах осенних листьев, грусть.

И вот мы стали ждать его уроков, искать с ним встреч. И он ходил с нами в Эрмитаж, подолгу стоял у огромных полотен с обнаженными красавицами. И в шальных глазах мальчишек разгорался совершенно чистый огонь не знакомой нам раньше радости.

Но все-таки мы оставались мальчишками. Во всяком случае, на переменах. И когда однажды прозвенел звонок, призывая нас на последний, шестой, урок, мы вошли в класс тяжело дыша, с растерзанными в кутерьме воротами и блуждающими от неостывшего озорства глазами.

И следом за нами вошел он. Посмотрел на нас, сел за стол и закрыл лицо пергаментными руками. И мне захотелось крикнуть: «Начинайте скорей!» Потому что я вдруг почувствовал, как вырастает между нами стена отчуждения. Какая-то дурная сила, разгулявшаяся на последней перемене, бродила по нашим жилам недобрым хмелем и поднимала жестокое мальчишеское злорадование: «Да! Вот мы такие! Попробуй-ка сегодня заворожить нас!» И чем дольше он молчал, тем наглее и наглее становились эти черные бесы, которых душил он в нас и строчками прекрасных стихов, и красками эрмитажных шедевров. Если он не хотел потерять власть над нами, надо бы ему поскорее начинать.

Но он молчал. Молчал, потому что предстояло начинать новую тему. Да что там тему! Так это называлось в планах районо. А ему надо было открыть нам поэта. Самого великого поэта России, а может быть, и всех времен и народов. И он не мог начать этот праздник, когда в глазах наших плавала мутная пелена захмелевших молодых зверенышей. И тогда он скомандовал:

— Встать!..

Загрели черные крылья парт, кто-то дурашливо ойкнул, класс наполнился торжествующим гулом. Мы решили, что выиграли безмолвный поединок со старым учителем и сегодня ему с нами не совладать! Мы смотрели на него откровенно насмешливыми глазами, ожидая, что же он станет делать. Наверное, начнет стыдить нас, корить за оторванные пуговицы и взлохмаченные головы, напомнит, что мы уже почти взрослые. Ну, тогда-то мы...

Семен Ефремович поднял желтый палец и с присвистом прошептал:

— Только тихо! Выходите все в гардероб одеваться!

Отлично! Старик сдался. И теперь заигрывает с нами, чтобы не потерять себя в наших глазах насовсем. Отлично!

Мы выкатились по коридору шумной гурьбой, презрев его жалкую просьбу о тишине. И молодой завуч, выглянув из дверей соседнего класса, укоризненно покачал головой, но Семен Ефремович отвернулся.

Всю дорогу — сначала в трамвае, потом в автобусе — мы изо всех сил демонстрировали свою непокорность: шумели, хохотали по самым пустяшным поводам, на автобусной остановке бросали в девчонок снежки. И все время искоса поглядывали на него, спрятавшего лицо за поднятым меховым воротником старенького пальто. Он ни разу никого не одернул, не пристыдил. И вскоре это стало нас обескураживать.

На почти безлюдном автобусном кольце он устало махнул нам рукой, приглашая следовать за ним, и пошел, не оглядываясь, по узкой дороге меж голых заснеженных кустов. Странно... Мы все еще не знали, куда он ведет нас, но почему-то притихли. Может быть, просто выдохся, перебродил тот черный хмель, так закрутивший нас перед шестым уроком. К тому же мы растянулись длинной цепочкой — надо было перекрикиваться, а кричать почему-то уже не хотелось.

Мы с Кешкой шли почти последними. Юрка оказался в голове колонны. То там, то в середине раздавался чей-то вскрик и тут же угасал, не найдя поддержки.

Тяжелая ворона снялась из-за кустов, натужно взмахивая крыльями, пролетела над нами, хрипло каркнула.

Учитель остановился, устало прислонился к черному стволу дерева, подождал нас. Мы стали нестройным полукругом. Молчали, усталые и чем-то встревоженные.

Он опустил воротник, снял шапку с длинными шнурками наушников, оглядел нас и тихо сказал:

— Вот здесь был убит Пушкин...

И сразу стал читать:

Погиб поэт, невольник чести,
пал, оклеветанный молвой...

Мне показалось, что небо в сплошных серых облаках качнулось и стремительно пошло вниз, прижимая нас к земле, делая совсем маленькими...

Ворона снова пролетела над нами. Только молча. Впрочем, может, я просто ничего не слышал, кроме лермонтовских строк...

Всех уже не расспросишь... Но человек пять, кроме Юрки и Кешки, говорили мне еще до войны, что запомнили эти стихи сразу.

— ...А по-моему, он привозил нас не сюда.— Юрка посмотрел на Кешку, потом на меня.

Мы молчали. Все вокруг так изменилось! Почти к самому месту дуэли подступили многоэтажные дома. Вскрикнула и прогрохотала мимо нас электричка. Вроде не было так близко тогда и железнодорожных путей... Может быть. Впрочем, какое это имеет значение теперь? Важно, что тогда, почти накануне войны, он гениально открыл книгу гениального поэта. И Пушкин остался навсегда с нами — живущими на земле, и с ними, кто уже никогда — как бы Ирочка ни старалась — не приедут на традиционный сбор.

Тяжело пролетела ворона, молча закачалась на ветке, присыпав кусты внизу снежной пылью. Вот вороны, говорят, живут по двести лет. Неизвестно только, помнят ли они хоть что-нибудь.

Мы помнили все. И в этом было наше счастье и горе. И уж раз мы, почти не сговариваясь, вместо сорвавшегося сбора приехали на Черную речку, это что-то да значило. И невозможно было вот так, прямо отсюда, разбежаться по своим углам или даже нагрянуть к Ире, чтобы усесться за стол, приготовленный ее мамой на двадцать человек. Ирка не обидится. Она добрая и поймет нас. Это мы знали. И где поклониться Семену Ефремовичу, мы тоже знали. Он никуда не уехал из Ленинграда.

Мы с Юркой дружно кивнули, когда, стряхнув перчаткой снег с плиты обелиска, Кешка уверенно соврал:

— А ведь до Пискаревского кладбища отсюда совсем недалеко!

Экзамен по русской литературе застал меня врасплох. Накануне еще не предполагалось никакого экзамена. Зато был день рождения у старосты нашего курса!.. Именинник натянул нейлоновую рубашку — коллективный подарок сокурсников.

— Прошу к столу!

А стаканов нет. Спыхватились! Магазин закрыт, буфет тоже. Да и не дали бы сразу полтора десятка. Тут меня осенило. Бегом в аптеку — приношу в общежитие коробку медицинских банок.

Известно — из медицинской банки не выпьешь половину. Потому как донышко сферическое — на стол не поставишь...

Утром, чуть светало, меня растолкали:

— Вставай! Профессор согласился принять экзамен досрочно.

— Зачем? — испугался я.

— Как зачем? — Староста, зачесывая на лысину черные хвостики мокрых волос, насмешливо смотрел на меня. — Мы же вчера договорились? Последний экзамен — и все по домам!

— Профессор согласился! — ворчал я, одеваясь. — Он согласился, а я, может, не согласен. В конце концов существует расписание!

— Ну что ж, — миролюбиво согласился староста. — Оставайся. Через три дня будешь сдавать по расписанию. Один.

— Как один?! — Я сразу присмирел.

Легкий завтрак в буфете общежития, получасовой пролет в электричке из Переделкино в Москву несколько освежили мою голову, но не настолько, чтобы восстановить в памяти то, чего я никогда не знал...

«Кантемир» — потрясающе кратко значилось во втором вопросе вытянутого мной билета. Зачем-то я прочитал таинственное для меня слово справа налево, но и это ясности не внесло. Я почувствовал неприятную влажность под шевелюрой и горьковатую сухость во рту. Не спасла меня и относительная легкость первого вопроса. Был он довольно общим, и с помощью минимальных риторических навыков вполне можно было продержаться на поверхности до спасательной фразы экзаменатора: «Хватит. Переходите к следующему вопросу».

— Вы садитесь, садитесь! — любезно прервал мои раздумья профессор, и я побрел к столу.

Из самых потаенных глубин моей памяти по существу второго вопроса всплыло только одно: в Одесской области есть станция и село Кантемирово. Причем, названо оно так в честь означенного в моем билете Кантемира или в честь легендарной Кантемировской дивизии,— этого я тогда тоже не знал. Мне даже не пришлось ни о чем просить притихших сокурсников. Жалкая улыбка, совершенно безысходная тоска во взгляде позволили друзьям сразу поставить диагноз и уразуметь, что очень скоро может состояться, говоря словами Остапа Бендера, «вынос тела».

Едва профессор двинулся к распахнутому окну, за которым бесшумно парили тополиные пушинки, на мой стол с невероятным, как мне показалось, стуком упала спрессованная в гармошку записка. Я немедленно накрыл ее ладонью, небрежно смахнул на плотно сжатые под столом колени и несколько секунд посидел смирно.

Тем временем профессор, заметив кого-то во дворе, сначала церемонно поклонился, а затем приветливо помахал рукой...

Я быстренько растянул под столом «гармошку»...

«Образованный молдавский дворянин, ратовал за всеобщее образование»,— вот что удосужился сообщить мне о Кантемире какой-то безответственный товарищ. Лень ему, видите ли, было еще пару строчек дописать! Впрочем, не исключено — товарищ полагал, что мне достаточно напомнить, а там, мол, я разовью. Наивный человек.

Однако пора было хоть что-то начертать на изобличительно чистом листе бумаги. Медленно, словно оттачивая только что родившуюся мысль, я записал: «Кантемир — образованный молдавский дворянин. Ратовал за всеобщее образование». Покусав с полминуты кончик авторучки, после слова «образованный» я вставил «по тем временам», а в самом конце добавил «на Руси». Фраза приобрела весьма усложненный и внушительный вид. Неожиданно я почувствовал себя ее единственным автором и заметно повеселел. «Это уже кое-что! — мысленно воскликнул я и потер ладошкой ладошку.— Неплохо бы, конечно, вспомнить хоть одно произведение. Но как вспомнить?!» О, будьте трижды благословенны старые тополя герценовского дворика и бесшумная дымчато-ватная

метель под ними в июне! Тополинный пух заворожил профессора. Он не отходил от окна. И тогда я швырнул через плечо лаконичную, но выразительную депешу: «Что написал Кантемир? Сволочи!»

Шумно вдохнув настоящий на тополином цветении воздух, профессор медленно отвернулся от окна и пошел к столу, метнув в мою сторону сталистый блеск толстых очков.

«Та-ак,— грустно констатировал я,— момент упущен. Придется довольствоваться «образованным по тем временам дворянином», развести этот концентрат мысли по-жиже, а на вопрос о произведениях с мукой во взоре долго и старательно тереть лоб. Может, и натру?.. На троечку?»

И тут я услышал за спиной треск электрического разряда. Какой там треск! Это был ликующий июньский гром! И я точно знал — спасительная молния озарения теперь обязательно блеснет передо мной, едва я (хотя бы на секунду!) оглянусь назад. Я-то хорошо знал физическую основу прогремевшего за спиной разряда. Это мой друг, добрейший сибиряк Коля Бутов, вырвал из толстой тетради сдвоенные листы и сейчас, склонив набок крутолобую, с жестким ежиком голову, четко выводит большими буквами название кантемировского произведения. Едва я оглянусь,— Коля вскинет над собой плакат, как это делают настырные болельщики на стадионах, поднимая поощрительную надпись «Молодцы!» или требовательную — «Судью на мыло!..»

Но оглядываться было рано. Еще десять секунд выдержки! Четыре... Три... Две!.. Одна!.. Старт!!! Я стремительно оглянулся. Коля вскинул плакат и сразу же опустил его. Отлично! Я все успел... Спокойно, с чувством собственного, хотя и только что восстановленного, достоинства я дописал в своем легальном конспекте: «Ода куму моему».

Как установила потом тщательная студенческая экспертиза, Коля Бутов вовсе не собирался подвести меня под монастырь. В одну строку на тетрадном развороте четкими большими буквами было выведено: «ОДА К УМУ МОЕМУ».

Предлог «к» пришелся слишком близко к слову «уму». Второпях я и прочел «куму». Все это стало понятным значительно позже. А тогда, готовясь к ответу, я ощущал в душе нечто вроде ликования.

«Ода куму моему». Кантемир. Та-ак!» Рассуждения мои приобрели логичность и последовательность. «Что такое ода? — спрашивал я сам себя и не без удовольствия отвечал: — Это восхваляющее, часто восторженное стихотворение. Почему Кантемир посвятил оду не кому-нибудь, а своему куму? Ну, это ж элементарно! Вероятно, кум разделял взгляды Кантемира! Конечно! Оба они — и Кантемир, и его кум — «очень образованные, ратовали за образование на Руси». Блеск!»

Очнулся я от тишины и пристального профессорского взгляда.

— Вы готовы?

— Да, да!.. Готов! — Я подошел к столу. — Первый вопрос...

Как я и ожидал, мне не дали возможности выложить все соображения по первому вопросу. Где-то на втором залпе, когда картечно взрывались общие слова и междометия, профессор вздохнул и предупреждающе поднял руку.

— Переходите ко второму вопросу!

— Кантемир-р-р! — торжественно изрек я, раскатывая «р», после чего почти по-качаловски затянул паузу. — Кантемир, — повторил я уже без нажима, — был молдавским дворянином, весьма образованным. — Тут я снисходительно добавил: — По тем временам, разумеется...

Профессор как-то по-библейски развел руками и грустно возразил:

— Не весьма! А очень образованным по тем, как вы изволили выразиться, временам. Вы не согласны?

— Н-нет, почему же...

— Если не согласны, вспомните хотя бы «Историю Оттоманской империи».

Тут я чуть не свалился под стол. «Только Оттоманской империи мне не хватало! Ну, нет! Надо поскорее причалять к уже знакомой и почти родной оде кантемировскому куму».

— Я с вами вполне согласен, — ладонь моя клятвенно легла на грудь. — Кантемир был феноменально образованным человеком и по тем, и по этим временам! — Видно, я чуток перехватил, потому что успел разглядеть досаду за толстыми стеклами профессорских очков. — Но Кантемиру мало было собственной образованности! — боясь, как бы меня снова не перебили, закричал я. — Мало!

Вот почему, радуясь образованности своего горячо любимого кума...

— Кого?

— К-кума,— уже с меньшей уверенностью повторил я и в поисках поддержки глянул на Колю Бутова.

Николай, зачарованный уверенными раскатами моих первых фраз, показал мне кулак с лихо задраным большим пальцем. Я успокоился, решив, что на верном пути.

— В своих произведениях, в том числе в одах,— уже спокойнее продолжал я, вновь обретая металл в голосе,— Кантемир призывал к тому, чтобы мужик-крестьянин приносил в избу «не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара бы принес!»

— Но позвольте! — обиженно взмолился профессор.

— Вполне понятно,— повысив «содержание металла», не позволил я,— вполне понятно, что сейчас я процитировал Некрасова. Почти сто лет отделяют его от Кантемира! И тем удивительней, что слова великого русского поэта и просветителя так точно и полно выразили сущность этической концепции в творчестве великого молдаванина!

Снова болезненно поморщился профессор. Не подозревая, что его привела в ужас моя тирада, я все же решил впредь не перенасыщать свою речь цитатами. Однако секундная заминка дорого мне стоила. Профессор поднял ладонь и, пока я заглатывал воздух для нового залпа, успел спросить:

— Какие вы помните произведения Кантемира?

— Кроме «Истории Оттоманской империи», о которой уже упоминалось,— скороговоркой проскочил я опасный участок,— мне бы хотелось назвать произведение, наиболее точно выражающее передовые взгляды Кантемира. Я имею в виду «Оду куму моему».

— Кому? — профессор вздрогнул и откинулся на спинку стула.

— Куму. Куму Кантемира!

Я, правда, заметил, что Коля Бутов с товарищами дружно полезли под столы. Но тогда мне было не до анализа странного поведения своих сокурсников. Крутая волна вдохновения поднимала меня на свой клокочущий пенный гребень:

— Кум Кантемира, тоже очень образованный дворянин, целиком разделял прогрессивные взгляды писателя

и был его верным сподвижником в деле народного просвещения.

Профессор снял очки, и я разглядел добрые, чуть влажневшие глаза. Вытащив из кармана белоснежный платок, он ласково попросил меня:

— Пожалуйста, если вам не трудно, остановитесь подробней именно на куме Кантемира! Этот вопрос так слабо освещен...

Волна вдохновения захлестнула меня и, забив дыхание, понесла в океан фантазии. В его зеленых глубинах на белых конях скакали Кантемир со своим кумом. Где-то далеко, поднимая лесную дичь, заливались собаки. Луч солнца, пробиваясь сквозь кроны столетних дубов, вспыхивал и гас на перекинутом через плечо Кантемира забытом охотничьем роге...

Нападали на Кантемира в слепой ненависти молдавские гайдуки, и кум в последнюю минуту приходил на выручку Кантемиру. Освобождая его от разбойничьих пут, кум успевал растолковать заблудшим гайдукам благородство устремлений Кантемира, придав их борьбе если не классовый, то уж во всяком случае осмысленный характер. И гремел над просвещенными лесными братьями призыв к борьбе за свободу и образование, и боевая дойна поднималась сквозь могучие кроны вековых деревьев прямо к солнцу...

Коля Бутов засек время. Он утверждает, что моя песня о куме Кантемира продолжалась семнадцать минут. Она, по его словам, была пропета на едином дыхании.

Когда дыхания не хватило, профессор удовлетворенно кивнул и попросил мою зачетку. И я ничуть не удивился, увидев, как его тонкая, обрамленная голубовато-белым манжетом рука вывела четкую пятерку.

Дверь за мной затворилась, и тогда профессор, чувствуя на себе три десятка вопрошающих глаз, подошел к распахнутому в яркий полдень окну и негромко, словно поясняя что-то самому себе, сказал:

— Видите ли... Кантемира он теперь и так не забудет. Но это писательский вуз... И если человек за несколько минут нарисовал мне такой образ никогда не существовавшего кума, что в какую-то минуту я подумал, а может быть... в самом деле?.. М-да! Тут что-то есть. Однако продолжим! Следующий!..

Сейчас, в наши дни, выражаясь конкретней, уж такая смычка у писателей с книготоргом, что дальше некуда. Чай пьем прямо в магазинах. Стихи читаем, беседуем с читателем, а телевидение все это накручивает на пленку и вечером показывает «смычку» на голубых экранах. А тогда не было ничего такого. Просто приходил автор в магазин и смотрел издали на свою книжку. И я, помню, пришел. Честно говоря, я во все книжные магазины заходил. И даже у лотков на улице стоял подолгу. Стоял и смотрел на нее — маленькую, синенькую, на мою первую книжку.

И вот захожу я однажды в большой книжный магазин. Прохаживаюсь вдоль прилавков, а глазами, словно лазутчик какой, только зырк-зырк по стеллажам. А! Вот она... Ох, и высоко же забросили мой сборник! Ну кому придет в голову просить тонюсенькую книжку из-под самого потолка? Продавщицу гонять по стремянке и то жалко! Правда, на той же высоте и тоже тонюсенький стоял Остап Вишня. И при мне девушка-продавщица вынуждена была дважды слазить за ним. Во второй свой взлет по стремянке продавщица прихватила не одного Вишню, а сразу стопочку книжек. И правильно. Вишню брали и брали. А меня ни одна душа не спрашивала! И тогда я решил исправить положение.

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к продавщице,— у вас есть Игорь Неверов?

— Александр Неверов? — поправила она.

— Нет, не Александр, а именно Игорь,— с трудом сдерживая обиду, тихо возразил я.

— Нет, Александр! — упрямо не соглашалась она.

— Игорь! — почти выкрикнул я и, как пророк, вознес палец к верхней полке.

И продавщица, и стоявшие около прилавка покупатели взглянули по направлению моего пальца.

— Это Остап Вишня! — не сдавалась продавщица.

— Вишня! А рядом я... Ягорь Неверов!

— Ягорь?

— Простите. Игорь. Я... оговорился.

— Ну вот, видите! — милостиво простила меня продавщица.— Сами все путаете, а возмущаетесь.

Люди с интересом поглядывали то на меня, то на верх-

ную полку. Я немного взмок от смущения и тихо попросил:

— Хорошо... Дайте мне, пожалуйста, Игоря Неверова «Синюю границу».

— Пожалуйста! — не глядя на меня, она вытащила из-под прилавка и хлопнула по стеклу одним экземпляром «Синей границы».

— Мне надо еще.

— Сколько? — Продавщица явно сердилась на меня. Может быть, ей просто не хотелось снова лезть на стремянку.

— Ну-у,— раздумчиво произнес я.— Штук... двадцать.

Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, но ничего не сказала и, закусив губу, полезла на стремянку. Я опустил голову.

— Имейте в виду,— бросив на прилавок целую стопку книжек, предупредила она.— «Синяя граница» — это не про шпионов. Это стихи!

— Знаю,— вздохнул.— Я их сам написал.

Боже, что тут началось! Девушка-продавщица запунцовела еще ярче, чем переходящий вымпел над входом к заведующему. Она просто вспыхнула. Мне даже послышалось, как потрескивают ее сухие, цвета подсолнуха волосы.

— Очень приятно,— тихо-тихо сказала она и облизала кончиком нежно-розового язычка припухшие губы.

— Нет, в самом деле? — услышал я за спиной низкий взволнованный голос.

«Вот оно! — замирая, подумал я.— Вернее, не оно, а Она». Я еще не видел ее, обладательницу мягкого, грудного, с этакой голубиной ворковинкой голоса, но уже представил. За моим плечом, как только она произнесла: «Нет, в самом деле?» — незримо выросло облачко тонких дорогих духов. «Дыша духами и туманами...» — немедленно возникла понятная ассоциация, и я уже знал, что сейчас обернусь и...

Нет... Она не совсем походила на блоковскую незнакомку. И дело не в упругих шелках. Какие к черту шелка, если надворе минус десять! Естественно, она была в шубке. Перлоновой. Не знаю, сколько лет было блоковской незнакомке («девичий стан...»), — немного, наверное. Моя незнакомка, пожалуй, перевалила за тридцатипятилетие, может быть, даже... Но все равно она была хороша! Белое, четких линий лицо, ресницы черные и

длинные и под ними зеленоватые огоньки — то вспыхивающие, то угасающие, то снова вспыхивающие...

— Это вы лично написали? — снова спросила моя незнакомка, восстановив растаявшее было облачко «духов и туманов».

— Лично.— Я почувствовал, что начинаю краснеть, и растерянно взглянул на продавщицу. Та, встретившись с моим взглядом, снова заполыхала, потрескивая корешками соломенных волос. Я поспешно отвел глаза. Незнакомка не вспыхивала, но дышала взволнованно.

— Это очаровательно! — проворковала она.— Встреча с поэтом! Расскажу Марии Федоровне — она с ума сойдет. Вот что, девушка! — Перлоновая незнакомка повернулась к продавщице: — Я сейчас же плачу. Заверните мне... Шесть! Нет! Пока не заворачивайте. Пусть товарищ поэт надпишет! — Поворот ко мне: — Я вам подскажу, какую кому.

— Восемнадцать рублей, — сообщила продавщица.

— Господи! Речь идет о поэзии! Вы отберите посвежее, а я побежала в кассу.— Незнакомка обдала меня ласковым взглядом и грациозно двинулась в сторону кассы.

Я впервые свободно вздохнул.

— Да! — закричала она через весь магазин уже от кассы.— Я возьму семь! Марии Федоровне нос утереть.

Девушка молча кивнула и откинула на маленьких школьных счетах еще три круглячка.

Публика окружала меня плотным любопытным кольцом.

Тонколицый юноша в пальто, перешитом из армейской шинели, молча протянул продавщице чек, а мне книжку.

Я благодарно кивнул.

— Как вас зовут?

— Толя. Анатолий Тимчук.

Это был первый в моей жизни автограф. Я писал его взволнованно, добросовестно — длинно. «Анатолию Тимчуку, с добрыми пожеланиями...»

— Это прекрасно, когда молодежь тянется к поэзии, — пропела над моим ухом она.— Лучше стихи, чем... Вы согласны, товарищ поэт?

— Согласен.— Я протянул книжку Анатолию Тимчуку, пожал его тонкую прохладную ладошку.

— Разрешите, теперь моя очередь.— Перлоновое плечо заслонило от меня обладателя первого автографа.

Незнакомку звали... Впрочем, какая она будет Незнакомка, если я скажу, как ее звали?

Я подписал почти под ее диктовку семь экземпляров «Синей границы». Ей лично — с пожеланием «солнечного счастья и любви»; ее мужу — с уважением и намеком, что «счастье не только в преферансе»; ее дочери Ирине — «с пожеланием успеха в учебе и победой на вступительных экзаменах в консерваторию»; ее сыну Валерику — «с товарищеским приветом и уверенностью в переходе в девятый класс без переэкзаменовки». Тут Незнакомка попыталась еще вставить тезис о вреде курения до совершеннолетия, но я «забрыкался», пробурчав что-то о невозможности столь утилитарного заземления поэзии.

— А Маяковский? — немедленно парировала она. — «Нигде, кроме как в «Моссельпроме»? Ну ладно! Не хотите, не надо! В конце концов курение — не самое страшное в наше время. Лучше уж папиросы, чем... Вы согласны?

— Согласен. — Я поспешно раскрыл на титуле пятую «Синию границу». Она предназначалась живущей в Риге приятельнице Незнакомки. Надпись должна была содержать некий «тонюсенький», как просила Незнакомка, намек на близость и радость моего с ней знакомства.

— Кстати, вы женаты?

— Женат.

— Поторопились. Счастливы? Ну, ладно, ладно, не смотрите таким букой. Талант должен быть добрым, как сказал... Я понимаю, это не место для интимной беседы, но вы запишите мой телефон. У нас чудесная квартира. В центре. Можете заглянуть с друзьями. Пусть будет что-то вроде «Зеленой лампы». У меня, правда, торшер с гранатовым абажуром, но это, может быть, и хорошо. Самобытней, не правда ли?

Еще я надписал книгу для Аркадия Аркадьевича, живущего в Москве.

— У них в доме кое-кто бывает. — Незнакомка прикрыла глаза. Взгляд ее сквозь упавшие черным частокотом ресницы приобрел интригующую таинственность. — Представляете? Кое-кто входит, а у Аркадия Аркадьевича на крышке бара (у него чудесный домашний бар, чешский), на полированной крышке как бы нечаянно забытая ваша книга. А? Представляете? Трудно сказать, чем это может кончиться.

— Послушайте! Э-э... Может, не будем посылать Аркадию Аркадьевичу? Вдруг да... неважно кончится?

Незнакомка махнула рукой.

— Ради бога! Плохо вы знаете Аркадия Аркадьевича!

— Я его совсем не знаю!

— В том-то и дело! А...— тут она качнулась и, совсем смежив глаза, шепнула мне на ухо имя довольно известного поэта,— знаете?

Я кивнул.

— Так его Аркадий Аркадьевич вытащил.

— Откуда? — испугался я.

Она снова отмахнулась от меня рукой в черной кружевной перчатке.

— Вы как маленький, ей-богу! Пишите! Максимум теплоты, и вы еще услышите о себе.

Я начал мучительно придумывать автограф таинственному Аркадию Аркадьевичу. Что же ему пожелать?

— Кем он хоть работает? — спросил я, зайдя в творческий тупик.

— Н-не надо! — Незнакомка таинственно приподняла ажурный палец.— На этом не акцентируйте. Просто... пожелайте ему... успеха. Нет! Успеха у него хватает. Счастья?.. Нет! Жена это может превратно истолковать... Здоровья? Тоже не надо! Здоровье у него не ахти, но он, как всякий настоящий мужчина, бодрится... О! Пожелайте ему новых высот! Отличная мысль!

— Высот?.. Он альпинист?

— Гм... В некотором роде. Тут есть подтекст, улавливаете?

Я снова кивнул и закончил автограф Аркадию Аркадьевичу метафоричной строкой о высотах.

— Так! — Незнакомка, внимательно проследив за моей авторучкой, удовлетворенно кивнула и кинула шестую книжку в никелированный зев черной сумки.— Так... Теперь осталась Мария Федоровна.— Глаза Незнакомки обрели недобрый блеск.— Тут нам с вами о-очень подумать надо. О-очень!

— Гражданочка! Имейте совесть! — загудел за спиной дамы вислоусый дядька в реглане и полинявшей морской фуражке со старым крабом.— Другие, может, тоже...

Тут я оглянулся и к своему радостному ужасу обнаружил, что почти у всех окруживших меня плотным кольцом покупателей синели в руках мои книжки.

— При чем тут совесть? — чуть откинув голову назад,

спросила Незнакомка. — Пять минут назад человек никому не был нужен! Я первая открыла товарища поэта. Впрочем... Мне все равно надо подумать насчет Марии Федоровны. Я уступаю свою очередь. Пока... Вы тоже думайте, — дала она мне задание и, ледокольно расколов кольцо окружающих левым плечом, вышла из круга на оперативный простор магазина.

— Пышить! — Вислоусый дядька прижал к прилавку раскрытую на титуле книжку. — Пышить так!.. Экипажу парохода «Мангышлак». Три фута под киль! Подождет?

— Подождет! — Я с радостью написал предложенный автограф. Дядька, перечитывая его, немного посопел, молча кивнул, стал пробиваться к выходу.

Девушка с тихим застенчивым взглядом что-то прошептала, протянула мне книжку. Ее фамилию я переспрашивал дважды. Потом подписал «Синюю границу» студенту политехнического, пожилой женщине, державшей за руку притихшего пятилетнего мальчугана Сережу. После пространных надписей домочадцам и друзьям Незнакомки мне было стыдно ставить новым читателям, с почтительной молчаливостью подавшим книжки, короткие автографы. И я старался. Я расспрашивал их о жизни и, сообразуясь с ответами, писал добрые слова пожеланий. «Спасибо», — говорили они. «Спасибо вам!» — отвечал я.

Последним подошел ко мне паренек лет тринадцати и тоже протянул «Синюю границу».

— А интересно тебе будет? Тут в основном лирика.

— Интимная? — Веснушки на носу паренька дружно взлетели и застыли.

— Лирика есть лирика! — с непонятной строгостью ответил я и написал самый короткий в этот день автограф.

— Эврика! — Рядом выросла озаренная открытием Незнакомка. — Эврика! Вечной вам молодости и неувядания!

— Мне?

— Господи! Марии Федоровне!

— А!

— То-то же! — Она смотрела на меня, как победительница трудной викторины. — Улавливаете подтекст?

Я пожал плечами.

Незнакомка махнула рукой:

— Все равно пишите. Просто не знаете вы Марии Федоровны!

После ее ухода в магазине осталась почти больничная тишина, призрачное облако «духов и туманов» и торопливо сунутая мной в карман записка. Как позже выяснилось — с телефонным номером, после которого многозначительно торчал восклицательный знак.

Я стоял у прилавка, совершенно опустошенный от интенсивной раздачи добрых пожеланий, и боялся взглянуть на продавщицу. Мне казалось, она заметила, как, что-то проворковав, Незнакомка ткнула в мою руку записку. И вообще мне вдруг стало чего-то стыдно.

Осторожно покосившись, я увидел, что продавщица тоже смущена. Розовым, неровно подрезанным ноготком указательного пальца она тихо постукивала по приготовленной мне пачке «Синей границы». Рядом одиноко синел еще один экземпляр. И вдруг девушка тихо выдохнула:

— Напишите и мне, если вы не сердитесь, конечно...

— Не сержусь! — чуть не закричал я и торопливо выхватил спрятанную было авторучку. Уже склонившись над титулом, узнав предварительно имя и фамилию продавщицы, я все же не без подковырки спросил: — Нина! А вы и других предупреждаете, что моя книжка не про шпионов?

Нина покачала пунцовой головой из стороны в сторону.

— Просто название такое. Некоторые думают...

— Ну и правильно! Предупреждайте! — вдруг санкционировал я. — Чего там... обманывать.

— Книжка все равно разойдется, — поспешила успокоить меня Нина. — Вот увидите!

Я благодарно взглянул на нее и тут же торопливо вышел из магазина...

Да! Незнакомке я как-то позвонил. Нашла на меня вдруг тяга к гранатовому торшеру. Она очень долго переспрашивала: «Какой Игорь?» Я извинился и повесил трубку.

КАК НАЧИНАЛАСЬ АНТАРКТИКА

Моя антарктическая эпопея началась с телефонного звонка главы одесского отделения Союза писателей.

— Как дела, старик? — спросил глава.

— Да так себе...

— Слушай! Как ты смотришь, не сходить ли тебе разок в Антарктику. А?

— Так ее ж закрыли!

— То есть? — В голосе главы прослушивался испуг.

— Так, закрыли. Потолок там в аварийном состоянии, что ли... Давно там уже не закусочная, а какой-то склад. Кажется, «Пишбумторга».

Вздых облегчения прошелестел в трубке, а потом она довольно долго булькала от смеха. Я даже чуть отстранил трубку. Наконец прорезался голос:

— Узковато мыслишь, старик! — сказал глава.

Я имею в виду не закусочную, а самую что ни на есть настоящую Антарктику. Шестой континент! Край айсбергов и китов. Понял?

— Не очень.

— Короче. На китобойную флотилию нужен редактор газеты. Мне тут звонили... Я и подумал: может, ты захочешь проветриться? Наберешься впечатлений, побуваешь в загранпортах.

Теперь помолчал я. Потом спросил:

— Это на сколько ж они уходят?

— Да месяцев на семь-восемь. Ты подумай. С домашними посоветуйся...

Домашние мои так и прыснули, узнав о содержании разговора.

«В Антарктику? Это с твоим-то давлением? Да тебя ни одна медкомиссия не пропустит!»

«Да, давление...» Эта мысль отравляла мою запыхавшую жаждой странствий душу, когда я толкался у входа в Управление китобойной флотилии. В кармане моем лежало направление на медкомиссию. Нежаркое сентябрьское солнце золотыми пятнами проливалось сквозь кроны каштанов, и мне нравилось крутиться вот тут, среди слегка хмельных здоровяков, разодетых в яркие заморские рубашки китобоев, не боящихся ни черта, ни дьявола, ни тем более медкомиссии. Впрочем...

Меня окликнул участник нескольких антарктических походов директор вечерней школы моряков Иван Аристов. Узнав, что я собираюсь в очередной рейс, Иван взвыл от восторга, обхватил меня железными ручищами профессионального борца и легко оторвал от асфальта.

— Давно бы тебе! Ребя...

— Да подожди ты! — Я закрыл ему ладонью рот. — Пусти и пока ни с кем не знакомь.

— Что так? — Иван удивился, но на землю опустил.

— А так!.. Отойдем-ка... — И я поведал Ивану свои сомнения насчет медкомиссии.

— Да-а, братец! — Иван сочувственно вздохнул. — Ну, да ты не робей. Я тут знаю одного давленца! В пятый рейс идет и хоть бы хны!

— Неужели? А комиссия?

— Проходит как-то!.. Да вот и он, легок на помине. Дядя Вадя! — закричал Иван.

Из-под пятнистой каштановой сени к нам неторопливо приближался немолодой, лет под пятьдесят, наверное, моряк с красно-медным загаром по скуластому широкому лицу. Через минуту мы познакомились и всей троицей двинулись в сторону Приморского бульвара, где за скромной синей вывеской «Водздравотдел» и притаилась та самая медицинская комиссия, преодолеть рогатки которой мне было совершенно необходимо.

— Как у вас режим? — строго, словно взаправдашний доктор, спросил дядя Вадя.

— Что? — Я даже поперхнулся.

— Спите хорошо?

— О! Это да! Отлично сплю.

Дядя Вадя удовлетворенно кивнул.

— Кофе пьете?

— Пью. — Я вздохнул. — И не только кофе.

Снова кивнул дядя Вадя и тут же перешел к инструктажу:

— Кофе исключить! И пива не надо. Да и коньяк — баловство одно.

Я покорно молчал в полной уверенности, что сейчас дядя Вадя перечеркнет и вино, и водку. Но он тоже замолчал. И тут не выдержал Иван Аристов.

— А что, дядь Вадь, коньяк зловредней водки для давленцев?

— В два раза! — категорически отрезал дядя Вадя. — Ну посуди сам... Дорогой ведь, черт! А в ресторане еще и наценка. Пьешь и расстраиваешься. Ну, конечно, тут тебе давление и дает скачок. Если хочешь знать, еще академик Павлов доказал — все болячки от нервной системы происходят.

— А... водка ничего? — застенчиво спросил я.

Дядя Вадя строго покосился на меня.

— Ежели с умом! С умом надо.— И тут он круто свернул в черный дверной проем гастронома, последнего на нашем пути.

«Ну, уж это сейчас совсем ни к чему!» — досадливо подумалось мне, но заметно повеселевший Иван чуть подтолкнул меня, и мы вошли в сумрачный после солнечной улицы кафельный зал магазина.

Однако, против нашего ожидания, дядя Вадя равнодушно миновал играющий всеми цветами радуги прилавок винного отдела, прошел в самый дальний угол и там попросил полусонную продавщицу взвесить килограмм яблок. Причем указал дядя Вадя на самые никудышные, зеленые, как тоска. От одного взгляда на них жизнь заметно утрачивала свою ценность.

— Кислые? — спросил дядя Вадя.

— Кислые! — обрадованно призналась продавщица. Мол, откажутся — и дремли дальше, досматривай вторую серию. Но не тут-то было! Дядя Вадя только слюну глотнул.— Порядок! Пожалуй, полтора кило нам дайте...

Мы с Иваном переглянулись, пока ничего не понимая.

Расплатившись, дядя Вадя скомандовал нам: «Пошли!» и опять равнодушно миновал винный прилавок.

Вскоре мы сидели на скамейке бульвара под раскидистым зеленым шатром старых, может, еще помнящих Пушкина деревьев. Дядя Вадя протянул нам сигареты, закурил сам. Курили молча и сосредоточенно, словно, едва мы докурим, предстomt нам нелегкий, с риском для жизни подвиг. Впрочем, так почти и случилось...

Едва я отбросил сигарету, дядя Вадя протянул мне кулек с яблоками:

— Ну — давайте!

Я пожал плечами, виновато улыбнулся:

— Спасибо, но... как-то не очень уважаю яблоки. Я, знаете ли, больше грушу или там... арбуз.

— Соленый? — понимающе уточнил дядя Вадя.— Это конечно!.. Но — надо! Рубайте яблоки. И чтоб килограмма как не было!

— Зачем же так?

— Медкомиссию проходить собираетесь? — Дядя Вадя начинал сердиться. Он нетерпеливо потряс кульком, и от этого яблоки застучали, как бильярдные шары.— Вот и ешьте. Съедите — давление будет в ажуре. Гарантирую как проверенный факт.

Я оглянулся на Ивана Аристова. Тот развел руками.

— Ну, что ж...

Я решительно впился зубами в первый зеленый шар... Деревья передо мною странно качнулись, а затем пополнили, мерцая, в разные стороны, множась и разбухая, словно отразились в зеркалах комнаты смеха. Перед глазами запрыгали разноцветные блики... Я урчал и извивался, будто сидел не на скамейке, а на горячей скорородке, хотя мне было холодно.

Где-то на третьем яблоке наступила анестезия. Я уже не ощущал ни кислоты, ни горечи. Просто жевал. В эти минуты я, наверное, смог бы с успехом заменить ассистента Кио. Наверняка, язык мой можно было колоть булавками, до того во рту все задубело.

...Осталось еще два огромных ядовито-зеленых шара. Я вытащил из кулька очередной совершенно равнодушно. Но, видимо, что-то произошло с моим лицом. После Иван Аристов мне признался: «Тебя как-то скособочило, и глаза стали странные, вроде ты внутрь себя смотришь».

Тогда он рванулся к дяде Ваде:

— Слушай! Может, хватит ему, а?

Дядя Вадя покосился на меня и тоже, наконец, что-то заметив, спросил:

— Как вы?..

Я махнул рукой.

— А что я? Я еще могу. Я...— И тут я так икнул, что воробьи метнулись с платана, словно после выстрела, а две девушки, проходившие мимо нас, переглянулись, нервно рассмеялись и на всякий случай прибавили шаг.

Вот тогда-то Иван и вырвал у меня кулек. Скомкав бумагу вокруг последнего яблока, он швырнул его в кусты, и там оно шлепнулось тяжело, как ядро на стадионе.

— Слабость чувствуете? — спросил дядя Вадя.

— Чув...— Голова моя резко дернулась.

— Тогда давайте! — Жестом полководца дядя Вадя указал на «Водздравотдел». — А мы с Иваном вас подождем.

Востроносенькая девушка с косичками врзлет, отобрав мое направление, почему-то сразу втокнула меня в кабинет невропатолога.

Добродушный лысый толстячок старательно колотил никелированным молоточком по моим локтям и коленкам. Конечности мои подрагивали, вероятно, в положенных пределах, потому что врач спокойно покачивал лы-

синой, приговаривая:— Та-ак-с... Отлично! — Он еще раз ударил меня по коленке, и тут я задрожал. Меня вдруг начало знобить — зуб на зуб не попадал. Теперь вздрогнул он. Да как вздрогнул! Он отскочил от меня, склонил голову к самому плечу и так, с перекосом, стал настороженно разглядывать.

— Что это вы? — тихо спросил он.— Или волнуетесь?

— Волнуюсь!

— А как у вас... желудок? А? Не жалуетесь?

— Я... я яблоки ел!

— Хм... Странная реакция на яблоки. Вы подскажите терапевту. Может быть, следует взять у вас желудочный сок?

Тут что-то внутри меня сработало, и кислая напористая волна ринулась во мне снизу вверх, ударила в нос. Сильно ударила! Слезы у меня брызнули, а под правой ноздрей в радужно поблескивающей бульбе отразился, невероятно раздавшись вширь, оторопевший невропатолог.

— Ну-ну! — поднял он короткую руку.— Не надо так волноваться. Достаньте платок и... одевайтесь.

Потом я дрожал в глазном кабинете. Дрожал, приседая, у хирурга, поразил ларинголога странным зеленоватым налетом в гортани... Когда востроносенькая подвела меня к дверям с табличкой «терапевт», за которыми как раз и замеряют давление, они оказались закрытыми. Девочка грустно причмокнула:

— Поздно вы пришли! Терапевта пройдете завтра. Приходите... часам к девяти.

...Дядя Вадя сокрушенно качал бронзовой головой.

— Завтра этот гастроном выходной! Где вы найдете такие яблоки — ума не приложу! Попробуйте на Дерибасовской в одиннадцатом магазине. Только просите покислее!..

Наверное, взглянул я на Ивана Аристова с жалкой беспомощностью, потому что тот опустил глаза и грустно вздохнул.

Утром следующего дня я не смог заставить себя съесть ни одного яблока. К терапевту шел, как на заклятие.

Самое странное — давление оказалось в норме. А вот яблоки я не ем до сих пор...

Где-то в Средиземном море, на траверсе полыхнувшей ночью темно-багровым заревом Этны, меня, наконец-то разыграли. Так уж полагалось. «Новичок?.. Надо разыграть!» Но я «купился» не сразу. Сказался тут невесть какой, а все же опыт военно-морской службы. «На клотик чай пить» или там «принести ведро компрессии» — такие номера со мной не проходили. Не вышло и с «необитаемым неизвестным островом». Это в Средиземном море! Поторопились, братцы! Я откровенно рассмеялся, и тогда мне рассказали трагикомическую историю одного розыгрыша.

...Промысел заканчивался. Зачастили штормы. Потом, когда погода утихомирилась, обнаружилось полное «бескитье» в этом районе. Люди устали. Моряки слонялись, мрачные от безделья и от перспективы нового перехода в другой район. И вот тогда-то... Видимо, было на то благословение и капитан-директора. Потому что не как-нибудь, а по судовой трансляции объявили: «Внимание! Внимание! Вчера китобойное судно «Безупречный-32» обнаружило (следовали долгота и широта) неизвестный географической науке, не нанесенный на карты остров. По просьбе Академии наук СССР на остров необходимо высадить группу добровольцев из числа наших моряков, дабы водрузить над островом флаг и, проведя предварительную разведку, дожидаться специальной научной экспедиции. Добровольцев просят записываться у старшего помощника капитана! Товарищи китобой! Внесем свой вклад в развитие географической науки!»

Товарищи китобой заскребли затылки. Оно-то, конечно, внести вклад необходимо было бы, но... Все, глядишь, через неделю-другую домой двинут, а ты, значит, оставайся в Антарктике? Сиди, как пингвин какой, на острове и дожидайся научной экспедиции. А сколько ее ждать придется? Это после семи-то месяцев рейса, когда, казалось, совсем немного — и родной маяк увидишь! Есть над чем задуматься! Но — великодушен и самоотвержен моряк-китобой.

К вечеру в старпомовском списке значилось что-то около полусотни добровольцев. Все новички почти.

Закипела подготовка к высадке. Чего только не придумали! И медицинский осмотр, и выдачу шоколада, и получение особых комплектов одежды, и письма родным, и коллективные — в «Комсомольскую правду», и

распоряжения-заявления в бухгалтерию по поводу заработанных на промысле денег.

С каждой новой затеей ряды добровольцев редели. Особенно повыбывало доброхотов на операции, связанной с бухгалтерией. «Это как же понимать?.. Жена теперь в точности всю мою зарплату знать будет?..»

Однако с десятков энтузиастов осталось в строю и после бухгалтерской диверсии.

И тогда была взорвана главная бомба. Вновь прогремел по всем судовым динамикам хорошо поставленный голос: «Мы только что приняли по радио новую инструкцию Академии наук. Дабы членам экспедиции не занести на необитаемый остров опасных микробов, всем участникам высадки необходимо поставить клизму из морской воды!»

Еще семерых энтузиастов как ветром сдуло.

Трое — новички все — решили пострадать ради науки до конца...

Или вот тоже как-то прозвучало объявление: «Преподавателю физики товарищу Санькову получить на баке у боцмана спасательный инвентарь! Повторяю...»

Можно было и не повторять. Невысокий, щуплый на вид преподаватель вечерней плавучей школы Сергей Сергеевич Саньков выронил от неожиданности сигарету, тут же испуганно поднял ее и торопливо бросил в красную кадучку с водой — предмет любовных забот пожарного помощника.

— Это... почему же только мне? — помаргивая густыми, как у девушки, ресницами, спросил он директора школы Ивана Аристова.

— Другие, стало быть, уже получили, — притворно зевнув, чтобы скрыть улыбку, ответил коллеге Иван.

Саньков, пожав плечами, направился на бак...

Монументально возвышалась над баком, над синевой океанской обтянутая брезентовой робой литая фигура боцмана.

Саньков нерешительно подошел, вопросительно взглянул под кусты боцманских бровей.

— Товарищ Саньков? — Боцман старался говорить тихо, возможно, ему казалось — проникновенно, но все равно голос его прослушивался и на мостике, и в узких проходах по обеим сторонам спардека, где притаились моряки.

— Да, да! — поспешил согласиться новичок-преподаватель. — Я Саньков, Сергей Сергеевич.

— Та-ак... Куда приписаны по шлюпочной тревоге, товарищ Саньков? Помните?

— А как же! Лодка номер пять. Гребец.

— Не лодка, а бот, товарищ Саньков. Запомните. Лодочки будете брать на прокат в парке Шевченко. На скумбрийку с вами ходим, живы-здоровы будем,— поучительно рокотал боцман.— А тут, на океанском судне,— бот!

— Хорошо, бот.

— Так-то... Значит, запомнили: гребец, бот номер пять. Получите к сему спасательный инвентарь и распишитесь.— Боцман ткнул коричневым узловатым, как старый корень, пальцем в ведомость, прижатую к днищу бочки гайкой.

Около бочки стояло ведро с темной кашицей, издававшей весьма странный аромат. Рядом покоилась могучая бухта толстого каната. Спасательный инвентарь довершало весло. Боцман его поднял, и тогда я чуть не присвистнул от удивления. Где они отыскиали такое длинное — словно с петровской галеры,— до сих пор не знаю!

С не меньшим удивлением уставился на весло и Саньков.

— Зачем же мне... такое большое? — робко спросил он.

— Эх, товарищ преподаватель! — Боцман укоризненно покачал головой.— Об вас же пекусь. Длинное! А ведь как раз из физики нам известно, как большое плечо рычага помогает в работе. На море вы новичок, греблей, по всему видать, не занимались. Вам же легче будет, если что, с длинным-то веслом. Опять же от акул отбиваться...

— Акул?

— А вы как думали? Плотвишка в океане не водится. Саньков вздохнул:

— Куда ж я с ним денусь? Оно в каюту и по диагонали не уложится.

— Продумали! — поспешил успокоить Санькова боцман.— Диагональ вам ни к чему. Вы вот что, товарищ преподаватель... Над входом в свою каюту прибейте пару гвоздиков к переборке, Вася вам выдаст.

Стоявший рядом матрос Василий Синелуков кивнул. — Прибейте, значит,— продолжал боцман,— и чуток кверху их загните. Коридор длинный — весло-то и уложится. И в каюте никакого стеснения, и весло всегда под рукой. Чуть тревога — вы на себя жилетик спаса-

тельный накиннули, весло на плечо и к боту номер пять, согласно аварийному расписанию.

Саньков слушал боцмана, а сам, примирясь, должно быть, с веслом, косился на ведро с темной кашей, очень напоминавшей загустевшее сливовое повидло.

Боцман перехватил взгляд Санькова и пояснил:

— А это вам к веслу смазочный материал.

— Смазочный?

— Ну да! Для уменьшения трения. Опять же, чтоб ржавчина не съела.

— Так весло ж деревянное!

— А уключина? — сразу нашелся боцман. — Вы уж со мной не спорьте, товарищ преподаватель. Вторые вставные зубы на море проедаю. Сами потом, не дай бог случись чего, спасибо мне скажете. Опять же запах! В каюте от него, может, и не парикмахерская приснится, зато акулы его вовсе не терпят!

— Я думаю! — печально согласился Саньков.

— А тут вам и конец про запас.

— Конец?

— Ну да! Буксир, значит... — Боцман хлопнул рукавицей по бухте каната. — Допустим, встретило ваш бот судно, хочет взять на буксир, да жалко ихнему боцману, капиталистическому, свой канат на буксировке перетирать. А вы ему в мегафон: «Пардон, мистер или там мусье, а только мы при своем буксире». И тут же кажете ему цельную бухту. Не беспокойтесь, мол, в расход не введем. Совсем другой разговор пойдет. Опять же, если скажем, выпали вы из бота...

— Ладно! — отрешенно махнул рукой Саньков. — Только не донести мне, пожалуй...

— Продумано! — Боцман предостерегающе вскинул ладонь. — Товарищ Синелуков, — повернулся он к матросу. — Поможете товарищу преподавателю доставить спасательный инвентарь!

Синелуков поспешно нагнулся и, крикнув, взвалил себе на плечо бухту каната.

— А вы мне, пожалуйста, подпись учините! — Боцман скинул с ведомости гайку.

Так они и шествовали с бака на корму, где находились каюты преподавателей: впереди — Вася Синелуков, сгибаясь под тяжестью каната, за ним — Саньков с галерным веслом на плече и ведром «смазочного материала»

в руке. Замыкал странную процессию оживший монумент боцмана.

То ли кто-то не удержался от смеха, то ли разглядел Саньков улыбки в глазах матросов, а только закралось в его неморяцкую душу сомнение. У трапа, ведущего в глубину спардека, был установлен телефон. Около него-то и запнулся Саньков. Прислонив к переборке весло, набрал номер каюты старпома.

— Алексей Савельевич, вот тут боцман...

Старший помощник капитана был в то утро не в духе и, оборвав объяснения Санькова, потребовал боцмана.

— Тебе что, боцман, делать нечего? — услышал Саньков в телефоне голос старпома. Услышал и поспешил в каюту налегке, бросив на полпути персональный инвентарь и притихшего у телефона боцмана.

А я никак не «покупался»! Почти месяц. Однако...

В самую теплынь умудрился простудиться. Еще накануне крепился, хотя и одолевал с утра раздражающий грудь кашель, а ночью снились сны, явно папахивающие абстрактным искусством — для меня верный признак повышенной температуры. Наш милый доктор Николай Иванович Калинин выдал мне биомидин и заставил глотать по две таблетки. Ох уж этот Николай Иванович!..

Я очень стыдился своего простудного заболевания, пока мог, скрывал его от окружающих. Боялся, как бы не сказали: «Вот морячка бог послал!» Но вскоре выяснилось, что это типичное морское явление. У многих китобоев — катар верхних дыхательных путей. И началась эта невеселая кампания с самого капитан-директора. Оказывается — так каждый рейс. Мы довольно быстро втягиваемся в теплый климатический пояс, все рвутся к холодной водице, обожают сквозняки, которых на корабле предостаточно. В общем — доктор спокоен. Меньше, говорит, будете «грехать» после тропиков.

Убедившись в морской типичности своего катара и потому, наверное, быстро почувствовав себя лучше, я сразу прибодрился, стал усиленно ухаживать за своим соседом по каюте, радиотехником Дмитрием Дмитриевичем Кузнецовым. С легкой руки «вольных сынов эфира» радистов вся флотилия звала его Дим Димычем, и я, разумеется, не преминул быстро усвоить этот сокращенный вариант. Катар Дим Димыча протекал более болезненно, и доктор зашел к нам в каюту, чтобы вкатить моему со-

седушке укол. «На всякий случай»,— как пояснил доктор. А я «на всякий случай» признался Николаю Ивановичу, что в детстве собирался да так и не вырезал гланды. Доктор неожиданно обрадовался, хлопнул меня по плечу: «Молодец! Пошли...»

Я послушно спустился вслед за Николаем Ивановичем по трапу, но все же на повороте в коридор санчасти решил уточнить:

— Куда пошли-то?

— Пошли — вырежем,— невозмутимо, словно предлагая кружку пива, пояснил Николай Иванович.

Обиженно потирая чуть побаливающее горло, я вернулся в каюту.

— Ничего, Михалыч,— ответил Дим Димыч, выслушав мой удрученный рассказ о хирургической агрессии доктора.— Ничего... Николай Иванович оставил мне тут одну настоечку... Вот начнем с тобой понемножечку принимать, и будет морской порядок...— С этими добрыми словами Дим Димыч уснул.

Доболеть ему не дали. Еще до подъема прибежал дежурный радист и поднял Дим Димыча тревожным сообщением о том, что «скис передатчик».

Дим Димыча не было до самого обеда. А мне — то ли выпуск второго номера газеты так вдохновил, то ли организм выздоравливающего выиграл — очень уж захотелось перед обедом промочить горло. Тут-то я и вспомнил, как Дим Димыч, засыпая, бормотал про какую-то настоечку. Сунулся в рундучок — действительно, стоит с полбутылки темновато-коричневой жидкости. Вытащил облитую липким стеарином пробку, понюхал... Она! Настойка... Хожу, потираю руки. Вот, мол, сейчас Дим Димыч придет — мы перед обедом и... Однако посудой в кают-компании уже гремят, а соседа моего нет и нет: Есть хочется — впору ремень грызи!.. Ладно, думаю, налью себе немного — Дим Димыч не обидится. Так и сделал. Выпил — дух перехватило: крепкая! Но ароматная! На «Охотничью» смахивает... Отдышался и наверх — обедать. С удовольствием, надо сказать, покушал. Как по заказу, ухой в этот день нас потчевали.

Возвратился в каюту, сижу, покуриваю, прикидываю в уме очередной номер «Советского китобоя». Входит Дим Димыч, бледный, измученный.

— А вот и я,— говорит он, устало улыбаясь.— Там конденсатор пробило. Пришлось повозиться...

— Дим Димыч,— виновато перебиваю я соседа,— надеюсь, не обидишься: я тебя не дождался и перед обедом пропустил полстаканчика твоей настоечки.

— Какой настоечки? — Дим Димыч побледнел еще больше.

— А той... в рундучке.

Дим Димыч так и сел на палубу. А у меня сердце екнуло. Не иначе, думаю, проглотил я какой-нибудь технический препарат и теперь мне обязательно карачун будет. Но нет... «Настоечка» оказалась ничем иным, как 96-градусным спиртовым раствором женьшеня. Доктор дал Дим Димычу полбутылки на весь рейс, из расчета шесть капель на стакан воды. Та порция, что я, чуть поморщившись, пропустил перед обедом, предназначалась на три месяца систематического приема.

— Что ж теперь будет со мной, Дим Димыч? — не на шутку струхнув, задал я своему соседушке погубивший меня вопрос.

— А я знаю?.. Надо, пожалуй, доктора спросить.— Дим Димыч вышел из каюты и минуты через три вернулся в сопровождении доктора.

— Знаете, Николай...

— Все знаю, дорогой! — спокойно, но, мне показалось, несколько зловеще перебивает меня доктор.— Главное для вас сейчас — спокойствие...— Николай Иванович усаживается против меня, смотрит мне в глаза с трагической сосредоточенностью.— Когда выпили?

— Да минут двадцать назад.

— Хм! — Николай Иванович поднимает перед моим носом указательный палец...— Так... Смотрите мне на палец... Хорошо! Следите за ним...— Доктор медленно уводит палец влево, затем вправо. Опять многозначительно хмыкает и вдруг спрашивает: — Кто написал «Пиковую даму»?

— Чайковский...

— А повесть?

— Пуш... Что вы из меня идиота делаете?

— Спокойно, дорогой, спокойно... Видите, у вас уже повышенная возбудимость...

Наконец, чуть подавив вздох, он поднимается.

— Так... Будем надеяться, что все обойдется. Но в кают-компанию вы не поднимайтесь. Ужин вам принесут в каюту.

— Это почему?

— Так надо, дорогой!.. Видите, вы излишне возбуждаетесь... Вы же мужчина! Должны знать о некоторых свойствах женшенья... Где гарантия, что после такой лошадиной дозы...

— Вы с ума сошли! Да у меня и в мыслях нет!..

— Успокойтесь! — строго перебил меня Николай Иванович. — «В мыслях нет!..» Сейчас, может быть, и нет. Но в том-то и беда, что женшень действует внезапно. Скомпрометируете себя в глазах всего командного состава...

Мне стало мерещиться черт знает что...

— Правда, Михалыч! На черта тебе такие приключения? — не очень уверенно поддержал доктора Дим Димыч. — Закусишь в каюте и — морской порядок!

Я сдался. В конце концов, думаю, Николаю Ивановичу лучше знать. Главный врач флотилии... Кандидат наук!.. Черт меня дернул с этой настойкой!

Потянулись минуты бессмысленного одиночества. Попытался уснуть — не тут-то было. Неделью молчавший телефон вдруг ожил. Звонили почти все мои знакомые. И у каждого оказывалось неотложное дело, все просили «на минуточку зайти». Согласно докторской инструкции я отвечал разбитым голосом, что неважно себя чувствую и закрыт в каюте по указанию главврача. Друзья почему-то очень образованно рекомендовали мне лежать и поскорее поправляться. Позвонил и замполит. Сдавленным, как я позже узнал, от смеха голосом он предложил мне перекинуться до ужина в шахматшки.

— Жаль, что захворали. Ну да, наверное, обойдется!..

Ровно в восемнадцать Николай Иванович и Дим Димыч торжественно внесли в мою каюту тарелку с макаронами и стакан чая.

— А что, сегодня... без котлетки? — удивился я.

— Да котлетка-то была, — вздохнул доктор, — но вам следует воздержаться. Мясо, оно, понимаете ли, усугубляет...

Я вздохнул и лениво ковырнул вилкой макароны.

Не знаю, на сколько бы затянулась эта штука, но ее организаторы Николай Иванович Калининченко и Дим Димыч явно перегнули палку. Дело в том, что они пытались не пустить меня и на киносеанс. Тут уж я действительно пришел в «состояние возбуждения» и, отшвырнув моих мучителей, выскочил из каюты под веселый обстрел лукавых взглядов, увы, слишком многих, посвя-

щенных в суть розыгрыша... И надо ж мне было так по-пасться на удочку! Утешал я себя тем, что «погорел», не в пример многим новичкам, по узкой медицинской, даже скорей фармацевтической, а вовсе не по морской части.

СИНЬОР ПОМИДОР И ДАЛЬНЯЯ РАЗВЕДКА

Еще на одесском рейде на кормовую палубу китобазы, мотоциклетно потарахтев, «припалубился» вертолет. Покачав упругими лопастями, он уснул красной стрекозой на отведенной ему площадке, а против меня, за столом кают-компания, возник стриженный под ёжик паренек с круглым и красным от щедрого загара лицом и настороженным взглядом.

«Синьор Помидор!» — немедленно окрестил я про себя нового сотрапезника.

Далее, наверняка, появился черт. Ибо кто ж иной мог дернуть меня за язык, когда я ни с того ни с сего подбросил моему соседу справа — главбуху флотилии — мыслишку вроде того, что вертолет в Антарктике — декоративное излишество. Дальность его полета ограничена, поэтому эффективность разведки сомнительна и вообще — дополнительные накладные расходы. Еще короче: курица — не птица, вертолет — не самолет!

Главбух отчего-то поперхнулся и бросил испуганный взгляд на моего визави. А Синьор Помидор запунцовел еще ярче, резко поднялся из-за стола и, отшвырнув скомканную салфетку, направился к выходу.

У порога кают-компания его остановил укоризненный голос старпома:

— Между прочим, товарищ Шаманин, — заметил старший помощник, — офицер, покидающий кают-компанию, должен спросить разрешения у старшего.

Шаманин круто повернулся к старпому и, бросив на меня короткий взгляд совершенно побелевших глаз, глухо произнес:

— Извините! Разрешите п-покинуть...

Только тут я заметил на темно-синей тужурке, которую принял было за морскую, золотистую птицу Аэрофлота и прикусил язык. Раньше бы мне сообразить!..

Казалось, пути к вертолету мне навсегда заказаны. Шаманин при встречах со мной едва здоровался, и это было печально. Дело в том, что я, как бывший авиатор,

рассчитывал полетать с китобойным вертолетчиком хотя бы в качестве наблюдателя — и вот на тебе!

Но случилось так, что в Атлантике приболел техник, неизменный спутник Шаманина в тренировочных полетах, и я, что называется, сделал шаг вперед...

Похоже, что командир вертолета опешил от моего нахальства. Что-то смущенно лепеча насчет своего авиационного прошлого, я заметил, как лицо Шаманина то бледнело, то вспыхивало до невозможной пурпурности, и не поверил своим ушам, когда он вдруг сказал:

— Добро!.. На связь с базой будете выходить через каждые десять минут!

— Есть, через десять минут! — Я с радостью взвалил на себя крест подчиненного Синьора Помидора.

— В случае приводнения вертолет покидаете только по моей команде.

— Есть...

Никакого приводнения не было. Полет прошел вполне нормально и даже более того — в воздухе было достигнуто полное взаимопонимание. Женя Шаманин разрешил мне минуты полторы подержать штурвал и убедился, что я не новичок в пилотском деле.

— А ничего!.. Чувствуешь машину. Потренировать — так, может, и толк будет.

Захлебываясь от восторга, я расхваливал аэродинамические качества вертолета. Но как только вернулись на базу, невидимый черт снова дернул меня за язык. Мол, жаль — нельзя на вертолете заняться высшим пилотажем.

— Но, — тут же я дал задний ход, — ведь и на торпедоносце петлю Нестерова не крутанешь!

— Не крутил?

— Нет, — признался я. — Торпедоносец — не истребитель.

— Ладно... Вот придем в Антарктику, полетим с тобой в дальнюю разведку...

— Полетим! — обрадованно перебил я и не придавал особого значения озорным бесенятам, затаившимся в зрачках командира вертолета.

И подошла Антарктика. Окружила нас серым свинцовым безбрежьем, редкими скалами айсбергов, придавила низким, в клубящихся тучах небом. А китов припрятала. И тогда командир вертолета Евгений Шаманин получил приказ капитан-директора флотилии на дальнюю разведку.

...Наверное, мы с Шаманиным, оба в оранжевых спасательных жилетах, на сером фоне расстилающегося за кормой океана выглядели достаточно эффектно, потому что печатник нашей типографии Вася Кондрачук без конца щелкал фотоаппаратом, увековечивая если не для потомства, то уж для нашей многотиражки предстартовый момент. Хотел я одернуть Василя, вспомнив стойкую нелюбовь летчиков к фотографированию перед полетом, а потом рукой махнул. «Подумаешь! Тоже мне боевой вылет!..» Кстати, лучшим снимком у Васи оказался потом именно тот, где я отрешенно махнул рукой. Сама собой напрашивалась подпись: «Прощайте, товарищи...» Разумеется, никакого страха я не испытывал и пропустил, можно сказать, мимо ушей зловещее обещание Шаманина: «Сегодня ты прочувствуешь вертолетные возможности!»

Все привычно затряслось, затарахтело, и мы взлетели. Повисли над палубой, и корма незаметно выскользнула из-под нас.

Сначала под вертолетом белыми жгутами переплетались буруны от винтов уходящей вперед китобазы, потом закачались серые барханы океана. Сквозь грохот мотора в наушниках что-то вякал базовский радист, слышать его не удалось, но на всякий случай я ответил, прижав к горлу ларенги: «Летим! Все в порядке. Привет отважным...»

Шаманин сделал вокруг китобазы широкий круг и взял курс девяносто градусов — так и планировалась разведка...

И слева, и справа, и спереди, и сзади — бескрайняя, как бы застывшая серо-зеленоватая пустыня. А над ней блеклое скучное небо. Никаких тебе чаек в нем: не то что китов — никакой видимой живности под ним. На душе вдруг стало по-осеннему тоскливо.

— А ну-ка, оглянись! — крикнул Шаманин. — Базу видно?

Я оглянулся. Никакой базы! Совершенно пустынный мир, и одни мы в нем на своей монотонно тарыхтящей керосинке.

— Вот и хорошо! — Шаманин оглянулся и озорно подмигнул. — Значит, и они нас не видят. Теперь гляди, что может вертолет... Сейчас мы с тобой мертвую петлю замостырим!

— Чего?

— Петлю Нестерова, говорю!..

— Хе-хе! — ответил я в полной убежденности, что энтузиаст вертолетной авиации, конечно, шутит. И тут я увидел, как резко поползла вверх стрелка указателя оборотов. Потом меня рвануло назад — увеличилась скорость, — и вдруг, вместо зыбкого горизонта впереди, я увидел перед собой бледную небесную твердь с одиноким дымчатым облачком. И еще я почувствовал, что диск винтов уже не над нами, а где-то сзади... Мы шли почти вертикально вверх и как-то зависали, что ли, потому что вся пыль, бывшая в кабине, поднялась к застекленному фонарю, забила глаза и ноздри.

— Женька, брось!..

Но вертолет продолжал запрокидываться.

— Женька!.. У меня трое детей!..

На вертикали, может быть, в критической точке мотор «зачихал», угрожающе забулькал и это, наверное, удержало Шаманина от завершения мертвой петли. Он отжал штурвал, и горизонт медленно всплыл снизу, качнулся и неуверенно занял свое обычное положение. В кабине медленно оседала пыль...

Шаманин чихнул и спросил:

— Про детей травонул или правда?

— А ну тебя к черту!

— Ну вот!.. Сам же хотел... Понимаешь, карбюратор надо подрегулировать — тогда получится!

«Башку тебе надо подрегулировать!» — подумалось мне, но я промолчал.

— Много детей — это хорошо! — вдруг вздохнул Шаманин. — Сыновья?

— Дочка у меня, но все равно...

— Конечно! — перебил Шаманин. — Дочка — это тоже хорошо. — И опять вздохнул. — Ладно. Давай искать китов.

Минут тридцать тарахтели мы над свинцовой гладью — ничего! Меняли курс, поднимались выше и опускались, обошли стороной снежный заряд, выпавший из небольшой сизовой тучки, — ни всплесков, ни фонтанов. И когда мы окончательно разуверились в успехе нашего поиска, внизу, справа по борту, двумя огромными, отливающими желтизной торпедами скользнули под прозрачной волной киты. Два!.. Через секунду они вынырнули, расколов стекло воды лоснящимися спинами, и пушистыми султанчиками синхронно вспыхнули два фонтана.

— О! — воскликнули мы с Шаманиным тоже синхронно, и я тут же прижал к горлу ларенги:

— Алло, «Касатка», алло, «Касатка»! Я — «Альбатрос». Видим под нами двух. Повторяю: видим двух!

— Каких? — услышал я вопрос китобазы и даже узнал голос Дим Димыча.

— Алло, китобаза! Это не зубатые, не зубатые! Прием!..

Доклад мой прозвучал, конечно, не очень остроумно. Ибо зубатых, то есть кашалотов, никто в этом районе и не ожидал. Здесь они попросту не водились.

— Алло, «Альбатрос»! — Голос Дим Димыча обрел раздраженную интонацию. — Понятно, что не зубатые. Уточните, какие. Наши или не наши? Прием!..

«Наши или не наши!» — подумал я, тоже раздражаясь. Дело в том, что есть изрядно повыбитые породы китов. Охота на таких запрещена международной конвенцией. Именно их-то и следовало именовать «не наши». А разглядеть китишек как следует мне никак не удавалось. Стоило нам снизиться, киты, пугаясь непонятного грохота огромной птицы, сразу уходили в глубину, и тогда вообще ничего нельзя было увидеть, кроме широких, медленно расходящихся кругов — следов от взмаха могучего китового хвоста. Поднимались выше мы — и они выходили на малую глубину и даже на поверхность, дразня нас белыми хризантемчиками фонтанов. Но с высоты я с одинаковой убежденностью мог окрестить их и финвалами, и блювалами, и любыми известными мне наименованиями китовых пород.

— Алло! «Альбатрос-52», — загремело в моих наушниках, и теперь я узнал жесткий голос капитан-директора. — Опишите внешний вид китов!

Легко сказать: «Опишите внешний вид!» Что я с ними за столом в кают-компании сижу, что ли? Я переключил рацию, прижал ларенги и начал:

— Алло, «Касатка»... Ну, они... коричневые, кажется... Большие...

И тут я явственно расслышал слово «идиот». До сих пор не знаю, сам я так самокритично оценил свой доклад или это не сдержался капитан-директор? Скорее всего он, потому что через мгновение в наушниках прозвучал вполне корректный, но категорический приказ:

— «Альбатрос»! Засекайте свою точку и немедленно возвращайтесь на базу. Как поняли? Прием!..

Поняли мы хорошо... Мы развернулись и полетели в сторону китобазы. Так мы с Шаманиным во всяком случае полагали. Однако вот уже минут десять лету, а впереди никакой китобазы. Гоняясь за китами, мы несколько завертелись. Вообще-то в такой ситуации ничего трагического нет. В случае потери ориентации достаточно попросить радиослужбу китобазы дать сигнал — и пилот, взяв радиопеленг, выведи машину на нужный курс. Так мы попытались поступить и в данном случае.

— Дим Димыч! — прокричал я, включив передатчик. — Нажми короткую! Что-то мы вас не видим.

— Нажимаю. Внимание, «Альбатрос»! Пошла короткая... — Конечно, она (короткий пищавший сигнал) пошла, а только ни я, ни Шаманин ничего не слышали. Да и стрелка радиокompаса вела себя до неприличия странно. Она то рывком отклонялась до предела вправо, то застывала, как мертвая.

— Алло, «Касатка», алло, «Касатка»! Нажмите короткую! — снова закричал я.

— Да нажимаем уже третий раз! — взревел в наушниках Дим Димыч. — Что вы оглохли на «Альбатросе»? Где вы там?

Если б мы знали, где!.. Я почему-то обозлился и не без ехидства сыронизировал:

— Над Атлантикой!

Атлантика, какая ты огромная!
Какая ты пустынная и длинная...

— Перестаньте, Неверов! — закричала китобаза голосом капитан-директора. — Слушайте внимательно! Даем еще раз пеленг. Сколько у вас осталось горючего?

В ответ я только грустно присвистнул. Стрелка показателя запаса горючего подрагивала у красной черты...

Китобаза нажимала и нажимала «короткую», посылая нам радиопеленг, но мы его не слышали... Радиокompас отказал.

А тут еще ко всему прочему угодили в снежный заряд. Совсем стало тоскливо. И зло меня взяло. Хотелось ругаться в этой белой крутоверти, из-за которой не было видно ни неба, ни воды. Временами казалось, что летим мы вверх тормашками, и Шаманин наконец-то доказал мне, что петля Нестерова на вертолете вполне возможна...

Временами мы слышали голос Дим Димыча, и звучал он уже не раздраженно, а испуганно, даже моляще:

— Алло, «Альбатрос»! «Альбатро-осик»!

И столько было в том «Альбатро-осик» нежности и тревоги, что слезы у меня выступили на глазах, но я постарался ответить спокойно, как и подобает мужчине: слышим хорошо, а вот видим плохо, потому как угодили в снежный заряд...

А Шаманин вдруг запел:

Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня
Темно-голубые!

Голос у него хриплый, да еще дрожит от вибрации, словно мы в телеге по булыжной мостовой едем. Но не до смеха мне. Испугался. «Вот,— думаю,— почему его на мертвую петлю тянуло! Чокнулся мой пилот, факт!.. Недаром у него глаза всегда шалые были. Как только этот толстяк невропатолог из «Водздрава» его проглядел?..»

И о чем грустите вы
В день веселый мая
Средь некошеной травы...

— Ты чего это, Женья? — спрашиваю и не узнаю своего голоса, такая в нем жалобность.

— А что?

— Чего распелся-то?

— Плакать, что ли? Помирать, брат, тоже надо красиво. А то вдруг и спасемся, так стыдно будет, что скулили.

— Чего ж помирать-то? Ведь летим?..

— Летим... Вот не знаю только, куда... И откуда еще бензин берется.

И мне показалось, что никуда мы уже не летим, а просто падаем.

— А песню эту она хорошо пела!

— Кто?

— Ница... Слышь, а я, как считаешь, ничего парень? Красивый?

«Помидор ты чертов!» — хотелось мне крикнуть, да вдруг подумалось, а может, может... это последние слова, которые я произнесу, а он услышит? И я пробурчал:

— Ничего!.. Парень ты... хоть куда.

— Правда? — Шаманин чуть не подпрыгнул на сиде-

ные. Вертолет качнуло, но он его сразу выровнял. Только все равно мне казалось — летим мы задом наперед.

— Это хорошо, что ты так считаешь, — задумчиво продолжал Шаманин. — Вот жаль, ростом, знаю, не вышел. А это для парня большой минус. А все почему? Война!.. В детстве жрать нечего было... А без каблуков она ничуть и не выше меня.

— Кто? — Опять я перепугался.

— Да Нина!.. Только ведь любой красивой на каблуках походить охота, правда?

— Наверно.

— Точно!.. А потом ведь я ей толком так ничего и не сказал. А Лешка и на гитаре играет, и песенки разные может. Тенор у него. А сам чернявый такой и высокий, черт.

— Какой Лешка? Ты что, бредишь?

— Зачем бредить?.. Лешка — друг мой. В Арктике сейчас. Весной встретимся, если... Знаешь что? Я ведь ей письма все пишу, пишу... И складываю. Ты, если что, с танкером ей не отсылай. Ладно? И радиogramм никаких не надо. У нее третий курс в медицине. Трудно!.. А весной вернетесь — сессия позади. Вот тогда и передай письма. Ну и расскажешь... Послушаешь, как она поет.

— Да чего ты себя хоронишь! А ну тебя... Ты давай вертолет веди! Ты... ты еще за меня отвечать будешь!..

— Ладно. Не пугайся так... Обойдется, может. В крайнем случае выплывешь.

— И ты! Вместе поплаваем, если...

— Срежь некошеную траву, головой качая... — опять задремал Шаманин, потом коротко вздохнул. — Я, понимаешь... плавать не умею.

— ???

— Факт!.. Только не говори никому, если выкарабкаемся.

— А жилет! Спасательный жилет на тебе!

— Жиле-е-ет... Толку с него! Я в прошлом году упал под Игаркой в таком жилете. Надулся он — и меня головой вниз. Башка под водой, а ноги наверху семафорируют. У меня нестандартная центровка. Из-за роста. Хорошо, катер портовой оказался рядом... Слышь?.. И деньги, что мне начислили, заставь Нину взять. Студентка! Ей пригодятся. Только она гордая до ужаса. А ты заставь! Скажи — последняя воля...

— Да иди ты, знаешь...

И тут ударило ревом нашего мотора, словно вылетели из ушей ватные пробки, по плексигласу кабины слепяще брызнуло солнцем, и я увидел, как ходят под нами волны—мы вывалились из белесой пелены снежного заряда.

— Ой...— Больше я ничего не смог произнести и стер рукавом пот со лба.

Китобаза не обнаруживалась, зато впереди нас покачивался на волнах китобоец. На его белой рубке четко чернела цифра «32».

Сразу стало веселее. Еще на подлете к «Тридцать второму» мы слышали голос капитана:

— Алло, «Альбатрос»! Что вы тут крутитесь, как очумевшие? Базу потеряли? Так она от меня слева сорок... В семи милях. Я сейчас развернусь на нее носом, вы пройдите точно надо мной — и будет вам китобаза. Прием!..

За кормой «Тридцать второго» забурилась вода. Китобоец медленно разворачивался вправо...

Я поблагодарил капитана; Шаманин точно, как по нитке, промчался над мачтами китобойца, и минут через пять мы увидели серый контур потерянной нами китобазы.

Когда надувные баланеты вертолета мягко коснулись палубы «Славы», стрелка бензинометра стойко покоилась на нуле.

Я ступил на палубу совершенно ватными ногами, едва доплелся до кормового кнехта, сел и закурил, даже не сообразив, что это на вертолетной площадке запрещено.

Удивительно тихим и прекрасным казался вокруг меня мир. Безбрежье океана уже не удручало своей серой монотонностью. Чуть подсвеченная солнцем вода обнаруживала немыслимое многоцветье. Равномерно и могуче вздыхала машина в глубине китобазы, ласково шелестела волна за бортом...

Из задумчивости, может быть, полусна, меня вывели нетерпеливые руки молодого биолога, научного сотрудника флотилии. Он теребил меня за полу спасательного жилета.

— Ну чего тебе?

— Снимай. Теперь я полечу с Шаманиным. На ваших китов «Двадцать девятый» вышел. Киты не наши. Брать нельзя, а сфотографировать надо. Редкая порода!

— Никуда он не полетит! — вдруг закричал я на оторопевшего биолога.— Сам лети!.. За своими дурацкими китами!..

— Ты чего, Михалыч? — Со стремянки, приставленной к вертолетной кабине, на меня оглянулся Дим Димыч. А я ведь и не заметил, как он пришел. Потом Дим Димыч мне рассказал, что он даже подходил ко мне, спрашивал, как слетали. А я вроде бы посмотрел сквозь него и только.

Так и не снявший шлемофона Шаманин тряхнул меня за плечо.

— Успокойся! Держался, держался молодцом и... надо лететь. Это ж моя работа, чудик!.. Вот сейчас Дим Димыч отремонтирует радиокompас, зальем горючего — и контакт!

Техник вертолета уже подтаскивал заправочный шланг.

Ничего я им не ответил. Быстро сдернул с себя спасательный жилет и швырнул его биологу. Отвернулся и стал смотреть на бегущие за бортом волны, и они почему-то мутнели у меня на глазах.

Когда Шаманин с биологом улетели, я не ушел с вертолетной площадки, как меня ни тянул за собой Дим Димыч. Я дождался их возвращения. Вылезая из кабины, Шаманин устало улыбнулся мне и подмигнул. И я понял, что никогда мне теперь не покажется он «синьором Помидором» и совершенно напрасно терзает себя он мыслью о преимуществах его чернявого и высокого друга и соперника.

С этого дня Шаманин летал только со мной. Не часто, но случалось и нам обнаруживать «наших» китов и даже заслужить благодарность капитан-директора флотилии.

А через несколько месяцев я очень обрадовался, услышав, как, перекрывая медь сводного оркестра, стоявший рядом со мной Шаманин крикнул:

— Нина!

И я сразу увидел ее, голубоглазую девушку с гвоздиками в тонких, нервно сжатых руках. И хотя была она в туфельках на каблуках, ничуть не показалась мне Нина высокой. Может быть, оттого, что смотрели мы с Женьей Шаманиным на нее с исхлестанного штормами высокого борта «Славы»...

УГОВОРИТЬ ШТОРМ

Я стою посреди ходуном ходящей палубы с двумя фотоаппаратами на шее, которые болтаются при каждом крене, как два маятника. В таком виде коротким взма-

хом руки меня и приветствует с мостика Василий Федорович Туз.

Через минуту я поднимаюсь по трапу к нему.

Капитан «Отважного» смотрит на меня настороженно. Видать, и он не избежал почти врожденной предвзятости бывалых моряков в отношении к людям с фотоаппаратами и корреспондентскими блокнотами.

— У вас как рука?.. Легкая? — подтверждая мою догадку, спрашивает Туз.

— Легкая, Василий Федорович! — тороплюсь я заверить капитана и уже придумываю разительный пример этой самой легкости.

Однако Туз удовлетворенно кивает, словно ему достаточно моего заверения.

— Это хорошо. А то как-то высадился к нам один корреспондент — замок от пушки утопили.

И рулевой, и молодой помощник капитана дружно поперхнулись смехом.

— Ну, я надеюсь...

— Китов мало! — перебивает меня Туз, строго глянув на помощника. — И шторм вот-вот грянет.

— Шторм? — Я с недоверием смотрю на тихую, кажется, маслянистую воду, в которой зыбкими желтками плавают огни китобазы.

— Вы не на воду глядите, вы сюда слушайте, — говорит мне Туз и медленно сгибает в локте руку. Даже сквозь полушубок слышно, как рука поскрипывает. С ужасом вскидываю глаза на капитана.

— Вам бы на лиман, или в Евпаторию...

— Ну да! Там-то я сразу и загнусь. Давайте-ка в каюту. Устраивайтесь на отдых.

Просыпаюсь я от резких звонков — сигнала охоты. Койка гарпунера уже пуста. Все ясно!..

На ходу застегивая альпаговку, вылетаю на мостик. Ну и народу же здесь! Сам Туз, все три его помощника, свободные от вахты моряки машинной команды. Узнаю среди них одного из матросов, выдернувших меня вчера из переносной корзины. Человек двенадцать на мостике. Никакой суеты. Тихо: Так, что слышно, как тенькают дизеля. Я догадываюсь: молча и настороженно все ждут очередного выхода кита. Только почему мы так уверенно летим вперед, а все глядят по сторонам? Но вот я замечаю, как круто выгнулся за кормой бурунный след. Ясно. Мы «летим» не просто вперед, а выходим туда, где, пока

я одевался, марсовый матрос отметил последний фонтан. Два коротких звонка — Василий Федорович переводит ручку машинного телеграфа на «самый малый». Становится совсем тихо, только шумит по бортам сразу сдавшая в силе и высоте волна да становится слышно, как басовито гудит моторчик репитера гирокомпаса.

— Справа «блины»! — истошно кричит марсовый из укрепленной высоко на мачте бочки. «Блины» — след подводных взмахов китового хвоста — уже заметили многие. И у капитана, и у стоящего справа не знакомого мне добровольца из груди вырывается и застрекает на полуслове какая-то фраза, потому что марсовый все же опередил их. Получается что-то вроде коллективного выдоха: «Вво-о!..»

Теперь и я вижу, как впереди, словно мгновенно густея, покрывается быстро растущими в диаметре кругами свинцовая вода.

— Выходит! — снова кричит марсовый.

Совсем близко перед носом китобойца с громким всхлипом-выдыхом, от которого взрывным облачком взлетает вода, появляется на поверхности лоснящаяся спина. Но выстрел не грянул. Кит вышел значительно левее, чем ожидал гарпунер, и когда ствол пушки с торчащим из него гарпуном переметнулся влево, на воде снова росли круги — след уходящего на глубину морского чудовища.

— Хорошо! — словно ничуть не досадуя на опоздавшего с выстрелом гарпунера, констатирует Туз. А я доволю себя на том, что у меня зуб на зуб не попадает. Не от холода, просто и меня захватил азарт охоты.

Я смотрю на гарпунера. Даже по его спине чувствуешь напряжение. Держась за поводок пушки, он то пригибается к прицельной линейке, то нетерпеливо пританцовывает, зябко поеживаясь. Почему-то проникаюсь уверенностью, что вот-вот стану свидетелем гарпунерской удачи. Хорошо бы украсить газету снимком «Меткий выстрел!» Подготавливаю аппарат. Нет, с мостика хорошего снимка не получится — мешает торчащая впереди мачта! Не замечая неодобрительного взгляда капитана, сбегая на переходной мостик и, преодолев секундную слабость, карабкаюсь по тугим вантам к марсовой бочке... О! Отсюда гарпунер вместе с пушкой точно вписываются в кадр. И сразу, словно вознаграждая меня за репортерскую лихость, из марсовой бочки не-

терпеливый крик: «Выходит!.. Близко будет выходить! Слева будет!..»

На секунду оторвавшись от видоискателя, я и сам вижу, как прямо перед форштевнем стремительно разрастаются, наползая друг на друга, «блины».

— Выходят! — снова кричит марсовый, и тут же гремит выстрел...

Вообще-то я знал, что при выстреле из гарпунной пушки судно вздрагивает. Именно поэтому на вантах и устроился вполне надежно: левую руку, в которой держал аппарат, пропустил через одну балясину, ногами обвил другие. Но чтоб так трахнуло!.. Какой там, к бесу, снимок! Нажать-то на спуск затвора я нажал, но что толку, если небо и море несколько раз судорожно переменились на моих глазах местами?

Но самое печальное, что я пытался зафиксировать неудачу. Гарпун, протянув за собой белую молнию капронового линя, не вонзился в кита, а, продольно скользнув по упругой спине, стремительно, как ракета, взвился в воздух, и там звонко хлопнула граната. Резко ударил в нос запах пороха. Справа отчетливо прошелестели осколки...

— Слезайте! — В звенящей тишине голос капитана прозвучал хрипло и зло.

Уговаривать меня не пришлось. Через минуту я уже стоял на мостике, опустив глаза, торопливо застегивая «Зоркий». «Нет, вовсе у меня не легкая рука!..»

Словно угадав мою удрученность, Туз чуть подтолкнул меня в бок.

— Не огорчайтесь. Не уйдет он от нас.

Пока перезаряжали пушку, горизонт стремительно затянуло серой клубящейся мутью, жалобно заскулило в проводах антенны и — я даже спросить ничего не успел — ударил шторм. Не соврал вчера скрипучий барометр капитана.

— Все! — огорченно вздохнул Туз. — Отохотились на сегодня. — Спускаясь по трапу, Туз оглянулся и тихо сказал мне: — Помогите ребятам уговорить шторм!..

Я непонимающе взглянул на капитана, но он уже повернулся ко мне широкой, обтянутой полушубком спиной.

Китобоец, казалось, вымер. Когда шел по кренящемуся коридору, меня бросало от одной переборки к другой. В какую каюту ни загляну — никого! И тут из-за дверей кают-компания долетел взрыв смеха. Осторож-

но приоткрыл дверь, и меня швырнуло вперед — сам не заметил, как очутился на чьих-то коленях...

Матрос, на которого меня бросило, чуть прижал своего соседа, и я втиснулся между двумя моряками на узком диванчике.

Люди смотрели на меня с недоброй усмешкой. Наверное, все-таки человек с корреспондентским блокнотом представлялся им источником всех сегодняшних бед: и промаха по киту, и так внезапно сорвавшегося шторма. Впрочем, возможно, я и переоценил внимание к своей особе. Во всяком случае, через какую-то минуту я обнаружил, что большинство глаз выжидательно, пожалуй, просяще даже приковано к рыжебородому боцману «Отважного», неторопливо разминающему папиросу...

1. ЧЕПЕ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК С ПОДМОРОЖЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

(Рассказ боцмана)

— Резинкина помните? — спросил боцман и, окинув присутствующих разочарованным взглядом, махнул рукой. — Хотя кому тут помнить? Салажня сплошная!..

Тут, конечно, самое время морячкам обидеться — у всех (кроме меня) за кормой по три-четыре рейса. Но все стерпели. Раз боцман фамилию вспомнил — жди рассказа. У боцмана двенадцать рейсов — чего только не повидал человек.

— Да-а... — оценив нашу сдержанность по достоинству, продолжал боцман. — Вот, говорят, этот укачивается, а тот нет. Хоть бы что ему в любой шторм. Ерунда все это! Каждый укачивается на свой манер.

И опять мы промолчали. Только скрип пошел по кают-компании — заерзали все на своих местах.

— И не скрипите! — махнул рукой боцман. — Потому что так оно и есть. Вон возьмем Реутова за пример..

Рано располневший моторист вздрогнул, уставился на боцмана сонными настороженными глазами.

— ...Его в сон в штормягу кидает. Спит, можно сказать, на ходу.

— Да он и в штиль спит неплохо, — робко возразил электромеханик Коротич.

— Верно! — согласился боцман. — Спать он завсегда здоров. Потому что ленив дуже. А в шторм спит особо.

— А чего делать-то? — обиженно спрашивает Реутов. — Не спать, так и вовсе...

— Или тебя взять, Жора. — Боцман повернулся к электромеханику, и теперь насторожился Коротич. — У тебя, если приглядеться, от шторма в глазах раскосец наступает.

— Да ну тебя, знаешь...

— Верно говорю!

Кондей Тимчук потянулся было к электромеханику, хотел заглянуть тому в глаза. Но тут сильно садануло в правый борт, и, тихо ойкнув, кондей очутился под столом. Кряхтя, стал выбираться.

— Потому не любопытствуй — на слово верь человеку, — злорадно изрек боцман и снова повернулся к электромеханику. — У тебя, Жора, когда шторм долгий, один глаз вроде как внутрь смотрит. И грустный делается. Вроде ничего-то он там путного, внутри тебя, не обнаруживает.

Коротич шумно вздохнул и, может, собрался очень даже серьезно возразить боцману, но тут в коридоре тяжело бухнули шаги капитана, скрипнула дверь старпомовской каюты и, предостерегающе подняв палец, боцман тихо, но категорично произнес:

— Да что там... Если хотите — шторм и на Туза действует, хоть он капитан и, не вам чета, мореходный стаж — чуть не полвека.

— Это как же? — В голосе моториста Реутова прослушивалось недоверие.

— А так!.. Насморк на него нападает сразу — и никакой тут доктор не поможет. Спасу нет, такой насморк.

И, словно подтверждая неоспоримость боцманских наблюдений, из коридора долетел к нам протяжный трубный звук. Явно заложенная ноздря капитана пропела грустно, тоскливой безнадежностью ударило по сердцу этим звуком.

— О! — Боцман, ничуть не торжествуя, вздохнул и развел руками.

— Ты давай о Резинкине, раз обещал, — несмело напомнил второй помощник капитана Эдик Логвин, не то отводя внимание от особы капитана «Отважного», не то опасаясь, что сейчас боцман обнаружит и его, Эдика Логвина, симптомы штормовой болезни.

— Так вот, Резинкин, — согласился боцман. — Ничего был матрос. Шустрый... Думали поначалу его на гар-

пунера подучивать. Пока не случилось с ним настоящее чепе...

Все устроились поудобней. Как-то полегчало сразу в кают-компании, ибо разговор наконец-то уходил в область истории, оставляя в покое присутствующих.

— ...Пришел он к нам из пароходства — не новичок вроде... Надо сказать, что переход в Антарктику до самого экватора проходил спокойно. В Средиземном, уже около Гибралтара, качнуло малость.

Кондей Валера, правда, спохватился — исчез из камбуза круг колбасы. Висел на крючке, говорит, и вдруг исчез. Стал Валера по палубе на карачках ползать — может, говорит, при резком крене сбросило колбасу и забило куда-нибудь в угол. Вот тут-то и объявился Витя Резинкин.

«Не ищи напрасно, я,— говорит,— закусил малость».

«На здоровье,— отвечает кондей.— А где ж колбаса-то?»

«Говорю, закусил!»

«Всей, что ли?»

«А что, жалко?»

«Да нет,— опять же заверяет кондей.— На здоровье!» А сам смотрит на Резинкина с некоторым испугом. Потому что в круге том без малого три килограмма было. И, глядя на Резинкина, трудно было даже предположительно поверить, что он смог ее, колбасу эту, в одиночку умять. Худой, вместо живота, наоборот, вмятина: руку подальше протяни — за позвоночник ухватиться можно.

«Ладно,— говорит кондей.— Съел — и на здоровье. А только, может, тебе у старпома касторки попросить? Для профилактики?»

«Ты не волнуйся за меня,— успокаивает кондея Резинкин.— Ты лучше с ужином расстарайся».

За ужином Резинкин, как ни в чем ни бывало, рубанул тарелку с верхом макарон по-флотски.

Кондей смотрел на Резинкина, как на йога какого. Словно тот не макароны, а змею заглотал. Хмыкнул, но промолчал. Может, ему понравилось даже, что такой в экипаже едок объявился. Правда, мы его вроде тоже не обижали, подметали все, что ни приготовит, да еще добавку просили.

Ну ладно... Идем дальше. Инцидент с колбасой забылся. Да и что там помнить? Съел человек три килограмма — жив остался, ну и будь здоров!..

Тут экватор приближается. А у нас трое новичков на борту и Резинкин в том числе.

Готовим праздник Нептуна. Купель на палубе устанавливаем. Меня кэп Нептуном назначает. Ну и кондей, понятно, соображает на камбузе обед поприаздничней. Закусочку разную, шашлыки затеял, даже торт, хоть и отговаривали — не девочки, мол, — а он свое — испеку! Чтоб, значит, все как у людей.

Ну ладно... Все бы, может, и получилось, да только сорвался шторм. Завтра быть экватору, а сегодня с вечера как задуло — вроде сегодняшнего. Ведь всегда на экваторе в эту пору тишь да гладь, а тут содом и гоморра!.. Перво-наперво наш бассейн разнесло, чуть лебедку промысловую одним листом не загубило. Ну да шут с ним, с бассейном! Чего там новичков купать, когда на них и так нитки сухой нет. Пока с бассейном управились, пошел другой груз гулять по палубе. Хорошо всех окропило, что новичков, что старичков...

Столы к обеду хотели на корме соорудить — куда там! Унесло бы вместе с нами... Ну, набились в кают-компанию. Кэп поздравил... Пригубили вина тропического, а на обед и смотреть тошно. Кондей чуть не плачет. Старался, старался человек — и на тебе! Такое невнимание к его труду. Обидно, конечно.

Один Резинкин за всех за столом вкалывает. И закуску уговорил, и первое, и второе, и опять же за закуску по второму заходу. Кондей радуется, а нам смотреть мучительно. Все же первый, если не считать в Средиземном, хороший шторм. Не приспособился еще организм. Да и вымотались мы на палубе, пока листы купельные усмиряли...

Ну что делать? Поковыряли вилками да и расползлись по каютам. А штормяга все заворачивает. Вахта с мостика в рулевую рубку перешла: никакой возможности стоять на открытом нет — так хлещет волной. Тут как раз и пересменка подоспела. Резинкину на руль пора становиться. А нет его. Вся вахта третьего помощника вышла — рулевого Резинкина нет. Сначала никакого перепуга не было. Посмеялись даже: «Не может он от кондеевского торта отвалиться». Сейчас, мол, доест и придет... Однако нет и нет Резинкина. Уже по судовой трансляции объявили: «Матросу Резинкину подняться в рулевую рубку», — нет, не поднимается. Туда, сюда заглянули, даже в машину, хотя что ему там делать?

Нет... Капитан совсем заскучал. Нервничает. Главное — все одно и то же талдычат: «Да вот только видели!.. Да вот же!..» Все видели, а человека нет. «Человек за бортом» — получается. Однако язык не поворачивается.

Наконец капитан тихо говорит: «Право на борт!.. Всем подняться на мостик, искать!..»

А надо сказать, что шли мы одни. База и вся флотилия далеко впереди нас — миль пятьсот до них. Мы запоздали с выходом из-за ремонта и теперь нагоняли.

Ну, развернулись. Идем назад переменными курсами — ищем. Океан ходуном ходит. Ничего не различишь — такое вокруг творится. Да и разве продержится человек на штормовой волне столько? Хотя... Что ни бывает! Ищем! Зубы стиснули и ищем. Торчим мокрыми воронами на мостике, глазеем по сторонам. Кто-то с разрешения капитана в марсовую бочку залез. А через час выходить капитану на связь с базой. А что докладывать? Так, мол, и так — потеряли человека ни за что ни про что. Страшно подумать даже!..

На кэпа взглянуть невозможно. Вроде постарел он за один час на десять лет. Да и у каждого на душе сплошной осенний понедельник — смотреть на мир неохота. А смотреть надо — человека ищем... Да как его тут найдешь? Ходят слева и справа зеленые холмы с белыми холмами, висит над океаном сплошной занавес из неоседающих брызг. Даже солнце, хоть и экватор, больше на луну в мороз похоже — мечется над мачтами желтым пятном с ободком этаким...

Тут время совсем прижало капитана. Пора выходить на связь с флотилией. Докладывать капитан-директору про чепе. И спускается наш капитан в радиорубку, словно в могилу какую...

Да тут и обнаружился Резинкин.

...Боцман знал, когда закурить. И сквозь дым беломорины с усмешкой всматривался в наше изумление, пока Эдик Логвин почему-то хриплым голосом не попросил:

— Ладно уж... Не тяни так-то!

Боцман понимающе кивнул.

— До утра будете думать — не дознаетесь. В холодильник залез волосан! В рефрижераторную.

— Зачем?

— За колбасой... Нападал на него при шторме убийственный аппетит. И особо на эту полукопченую колбасу тянуло. А попросить, дурень, постеснялся. И так,

правда, весь обед почти один умял. Ну и шуранул в холодильник. Залез, а тут с борта на борт качнуло — дверца только трах!.. И захлопнулась. А как ее изнутри открыть, сообразить не может. Опять же перепугался. Стучать было начал, да что толку. Стены толстенные, океан ревет...

Сунулся кондей к вечеру в рефрижераторную (к ужину кое-чего взять), смотрит — Резинкин на себя снизу пять мешков пустых натянул, одна голова торчит, хлопает глазами, как пингвин какой. С кондеем чуть родимчик не случился. Сбежались — я лично, ей-богу, хотел дать Резинкину по шее, да где там! И так на человеке лица нет. Даже обругать язык на повернулся. Смотрим на капитана.

«Разотрите, — говорит кэп, — его спиртом, положите на котлы... Да пусть он, — говорит, — хоть с неделю на глаза мне не попадается».

Так и сделали. Ничего, отошел Резинкин.

А на руль, на вахту я вместо него выходил.

Следующий рейс Резинкин уже на другом китобойце шел. Не мог кэп на него нормально реагировать. Как увидит — левый глаз вроде подмаргивать начинает. Доктор объяснил — тик это называется. На нервной почве! Ну, а с тиком плавать нельзя. Можно айсберг проморгать или судно встречное...

Дверь пистолетно хлопнула, и на пороге вырос марсовый матрос Потехин, доедавший бутерброд с сыром.

— О! — кивнул на Потехина боцман. — И этот по методу Резинкина укачивается. Ты, кондей, на всякий случай, сигнализацию в рефрижераторную проведи, что ли...

Засмеялись моряки. Потехин торопливо дожеввал бутерброд.

— Давай что-нибудь еще, боцман!

— Что я вам... долгоиграющая пластинка?

— А про Каткова, как он...

Боцман махнул рукой.

— Два раза, нет, наверное, три или четыре рассказывал. Небось наизусть помните.

— Тогда, как «Двадцать восьмой» с «Тридцаткой» за одним китом охотились! — не сдавался Эдик Логвин.

— Тоже было, — вздохнул боцман.

И все взглянули на меня. Почти безнадежно, правда.

Я судорожно пытался ухватиться хоть за какую-нибудь мало-мальски смешную историю, вспомнить хоть

анекдот! Но, от лихого шторма, что ли, в голове все перемешалось, и ударами волны о борт на поверхность памяти выталкивало обрывки отнюдь не веселых эпизодов.

Потехин — тот, что вошел, дожевывая бутерброд, — неожиданно нарушил затянувшееся молчание:

— Штормяга, а «Девятка» передает — тюленя видели.

— Какого еще тюленя? — с хмурым недоверием спросил Эдик Логвин.

— Моржа! — сорвавшись с места, радостно закричал я.

Закричал потому, что почувствовал, как она, наконец, медленно всплывает во мне — долгожданная веселая история, слышанная мной от работающего в кино товарища...

2. МОРЖ

(Рассказ редактора)

В январе, когда даже в Одессе ртутный столбик оказался не на высоте, кинорежиссер Востриков хлопнул ладонью по спине своего ассистента:

— Эврика! Наш герой будет купаться.

Ассистент Сеня Жилкин выхватил блокнот и нажал на кнопку многоцветного карандаша:

— Купаться. Понятно!.. Ванна? Душ?

Режиссер схватился за голову и застонал:

— Ох, Сеня, Сеня!.. Доведете вы меня до второго инфаркта. Никакого полета мысли! Прет забытовление... Какая может быть ванна? Какой душ?.. Наш герой купается в море. Понятно? «А волны кипят, и пенится вал», — с трагическим подрагиванием в голосе запел режиссер.

Сеня Жилкин спрятал блокнот и всхлипнул.

— Ага! — обрадовался режиссер. — И вас проняло?

— Актер Чичкин умрет, — тихо ответил Жилкин, доставая платок.

— Возможно, — согласился режиссер. — Но зато какой кадр родится? Что... Вы серьезно думаете, что... Чичкин... того?

— Умрет. — Жилкин кивнул и грустно высморкался. — У Чичкина печень, радикулит и двойняшки недавно родились.

— М-да-а...— Режиссер прикусил губу.— Хлипкий пошел народец!.. Ну хорошо. Найдите мне дублера — «моржа».

— Моржа?

— Ну да. Найдите зимнего купальщика с фигурой Чичкина. Мы его снимем со спины.

На следующее утро Сеня Жилкин бродил по пустынному пляжу.

«Моржи»-то были. Даже двух «моржих» к своему удивлению увидел Сеня. Одна из них неторопливо выходила из густой с кусочками битого льда воды в куцем купальничке «бикини», и Сеня с ужасом отметил, как капли воды на ее треугольных трусиках тут же превращались в слепящие кристаллики льда. Жилкина передернуло. На секунду вспыхнула рыцарская мысль — предложить девушке свое пальто на ватине. Но Жилкин не был уверен, что «моржиха» правильно истолкует его порыв. К тому же надо было искать «моржа» с тонкой и сутулой фигурой актера Чичкина.

Уже покидая пляж, Жилкин обратил внимание на торчащего с удочкой на обледевшем причале сухощавого деда. Спина рыболова показалась Жилкину подходящей. Оставалось выяснить: согласится ли дед быть «моржом»?

Сторговались довольно быстро. На десяти рублях плюс поллитра.

— Горилки с перцем,— выставил дед обязательное условие.— Закусь — моя, из дома прихвачу.

На следующий день, пока операторы нацеливали на ледовую кромку припая мертвенно-фиолетовые лучи юпитеров, от чего зимний пляжный пейзаж принимал совершенно леденящий душу оттенок, дед-дублер, облокотившись о перевернутый баркас, потягивал перцовую горилку.

— Может быть, лучше после? — несмело спросил Сеня, кивнув на полуопорожненную бутылку.

— И на после хватит,— отмахнулся дед пуницовым помидором домашнего соления.

У самого баркаса скрипнула тормозами «Волга». Режиссер Востриков стремительно вышел из машины, остановился перед дедом и сразу сморщился.

— Сеня! — трагически воскликнул режиссер.— У товарища же, борода! Он не смонтируется с Чичкиным. Зачем нам борода? Бороду сбриты!

— Такого уговору не было! — решительно запротестовал дед и торопливо отхлебнул перцовки. — Бриться я не согласный...

— Вы же сказали — он нам нужен только со спины, — напомнил режиссеру Жилкин.

Режиссер вздохнул, досадливо махнул на Сеню рукой и подошел вплотную к «моржу»-дублеру.

— Значит так... Вы решительно входите в море...

— Да уже как договорились, — кивнул дед, аккуратно закупоривая бутылку свернутой из бумаги пробкой. — Окунемся, раз надо пострадать...

— Приготовиться! — на весь пляж закричал режиссер.

Жилкин схватил ассистентскую хлопушку.

— Раздевайтесь, папаша. Быстренько!..

Дублер кряхтел, но раздевался шустро. Когда он, еще раз крякнув, сдернул штопаную тельняшку, над пляжем повис душераздирающий вопль режиссера. На дедовской спине не было живого сантиметра, не украшенного татуировкой. Синяя русалка, кокетливо изгибая хвост, поднимала бокал, наполненный чернилами для авторучки. Обнажали клыкастые пасти всевозможные драконы, летели к синему солнцу синие фрегаты, и над этим сингапурским великолепием прочитывался еще с ятями начертанный лозунг: «Не любите, девки, моря!»

Первым дар речи обрел режиссер:

— Гримера-а!.. Гримера немедленно!

Стылые пальцы гримера забивали кремовым «тоном» синюю русалку и щекотали деда. Он ежился и похихикивал:

— Приготовиться!.. — вновь прогремела над пляжем команда режиссера.

Жилкин подтолкнул покачнувшегося дублера в зашпаклеванную спину.

К ледяной кромке дед шел словно по битому стеклу, скорчив пальцы, встряхивая ступнями.

— Мотор!..

Дед вошел в воду по щиколотки и остановился, зябко потирая острые колени.

— Вперед! — завопил режиссер.

Дед взмахнул руками и шагнул еще раз.

— Та-ак. Хорошо-о, хорошо-о! — подбадривал режиссер. — Теперь ныряйте!

Дед поднял руки и вдруг, обернувшись бородатым лицом, игриво взвизгнул:

— Холодная, собака! — и нырнул...

— Сто-оп! — застонал режиссер и, обхватив голову руками, пошатываясь пошел к «Волге».

Дед вынырнул, шумно фыркнул и рванул к берегу.

В шесть рук дублера растерли, быстро одели. Одним глотком он прикончил остатки горилки и сунул в рот папироску не тем концом.

Режиссер махнул рукой.

— Отвезите его домой, Жилкин.

Но в машину дед сесть не пожелал.

По двумстам ступенькам отрадинского спуска ассистент Жилкин тащил несостоявшегося дублера на своих плечах. Из ворот тихого дворика приморской улицы Жилкин вылетел пулей. И все равно долго слышал летевшие ему вслед хлесткие проклятия дедовой бабки.

Зато на студии режиссер встретил Жилкина улыбкой заговорщика.

— Все найдено, Сеня! Главное, чтобы не затухала творческая мысль. Наш герой... обнаруживает в пустыне нефть. Готовьтесь к экспедиции в Каракум!..

И тут ребят прорвало. Вспомнил и боцман еще не рассказанную им историю, а потом Эдик Логвин. И уже не разобрать было — от взрывов смеха или под ударами волны так часто вздрагивает бортовая переборка кают-компаний.

...Я проснулся от резкого чувства тревоги.

Круглый блик от иллюминатора бледнел на потолке каюты устойчивым, чуть подрагивающим пятном. Четко и мерно, без надрывного завывания, постукивали дизеля: диль-диль-дили, диль-диль-дили... И тогда я понял: кончился шторм.

Через несколько минут я был на мостике. Пожалуй, только сам Василий Федорович Туз да боцман, чей аварийный запас «травли» я вчера пополнил несколькими историями, взглянули на меня приветливо. Для остальных, — а на мостике тщательно всматривались в горизонт человек десять — я оставался корреспондентом, при котором замок, правда, не утопили, но смазали по киту, а потом «влезли в шторм».

Я поеживался и от пронизывающего ветра, и от недобрых, так мне казалось, взглядов. И тут на мое счастье матрос Потехин, не переставая грызть яблоко, как-то очень просто, с ноткой недоверия к самому себе сказал:

— Слева фонтан!..

Одиннадцать голов дернулось влево. Точно! Белый пушистый султан кашалотового фонтана взлетел над серыми складками волн, рассыпался в воздухе дрожащим дымком-облачком.

— Лево на борт! — весело скомандовал Туз и, трянув жестяной коробкой монпасье, протянул конфеты Потехину. — Таков капитанский приз за обнаруженный фонтан.

Потом Туз протянул коробку мне.

— А мне-то за что?

Туз пожал плечами, подмигнул.

— Аванс!.. И потом... уговорить шторм — это тоже важно! Ой как важно!

Звенели прерывистые звонки — сигнал охоты. Хлопая рукавицами, шел к пушке одетый в тяжелые доспехи, похожий на космонавта гарпунер.

Слетела с людей недавняя нахохленность. В глазах разгорался холодный огонек азарта.

Туз положил тяжелую руку на рукоять машинного телеграфа, и дизеля запели еще веселее.

Все ближе и ближе вспыхивали белые столбики фонтанов.

Неудачи кончились. Начиналась промысловая работа. Я должен был обязательно разглядеть в ней удачу. Чтобы потом рассказать другим экипажам, как ее поймать в серых и порой, казалось, совершенно обезжизненных просторах неласкового океана.

Гремит выстрел...

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

— В гробу я видел эту Антарктику, понял?..

Я киваю. Чего ж не понять? Десять рейсов человек сделал. Из них шесть капитаном китобойца. Десять лет подряд. В октябре уходит, в июне приходит... Тут три рейса сделал и то сам не понимаю, как выдержал! Десять рейсов! М-да...

— Ты огурчиков, огурчиков положи! Они, брат, только сейчас и вкусные, как на берег ступил. А пр-ропади она пропадом, твоя Антарктика!.. Век бы ее не видеть! Я накладываю на свою тарелку огурчики и киваю.

— Главное ведь что? Никакой тебе фактически мореходной практики! Вышли: Босфор — Дарданеллы — Средиземное.., Гибралтар прошли, а там вниз по двадцатому меридиану — фьюнты! Чеши до самой Антарктиды, не заблудишься! Это, я тебя спрашиваю, капитанское плавание? Да еще этак год-два поплавай — и тебе в пароходстве баржи не доверят!.. И правы будут. Тоже мне капитан! Ходит все время в окружении двух десятков китобойцев! В стаде. Словно кашалот какой!.. Ты... Печень, печень ложи себе! Китовая! Витамин «А» — витамин молодости! Хотя ты, правда, и не старый, а все равно положи. Для профилактики. Тебе эти три рейса по восемь месяцев еще тоже боком могут выйти. Понял?

Я накладываю на тарелку печень и опять же киваю.

— Восемь месяцев! — Он взмахивает руками — в левой вилка, в правой нож. — Три рейса, считай, уже двадцать четыре месяца. Три рейса — два года жизни долой! А у меня что их, несколько жизней, что ли? У меня одна жизнь! Ты... пирожка возьми! Лена их ох как печет! Веришь — в рейсе снятся, бывает! У меня одна жизнь, понял?

Я беру кусок сочного янтарного на цвет пирога и киваю.

— Ну бывает, бывает в пароходстве — долгий рейс. Не без этого. Бывает и там, как уйдут на полгода... Только в таком, значит, рейсе за полгода весь белый свет посмотрят. В сорока портах побывают. Тут тебе и свежие впечатления, и встречи с интересными людьми. Взять кинокамеру, такой фильм накрутить можно — «Клуб кинопутешественников» с руками и ногами оторвет. Опять же нет-нет, да и земля под твоей ногой. Хоть чужая, а твердая. Не все на палубе кренделя выписываешь. Можешь и по земле, как человек, пройтись. Не прыгая поминутно, как орангутанг какой...

А штормы бесконечные? Веришь ли, когда вдруг штиль — так я уж и спать в каюте не могу. Ей-ей!.. Все кажется — не так что-то! Чего-то, понимаешь ли, не хватает. И тревога на душе от этого. Мозги уже бултыхаться привыкли, и когда вдруг заштитит, вроде и соображаешь хуже. Хоть боцмана проси, чтоб взболтнул тебя, как микстуру какую... А китов этих попробуй разыщи! Ты... Тоником, тоником запей! Очень даже освежает. Это ж сок хинного дерева! Нет в Антарктике китов! Понял?

Я глотнул тоника и согласно кивнул.

— А когда китов нет, что с народом делается? Мрачнеет народ. И на капитана зверем смотрит. Словно он, капитан, какую молитву знает, чтобы китов приманить. И то — понять людей можно. Не на айсберги любоваться к черту на кулички пришли! К тому же опять продолжительность рейса. Что такое китобоец — сам знаешь. Пятьдесят метров в длину, пять с небольшим в ширину... И на такой территории на восемь месяцев тридцать два гаврика. Носом к носу. Ну, в первый месяц рассказаны все анекдоты, во второй поведаны самые сокровенные мысли и душевные истории, а на третий месяц вроде и говорить не о чем. И кое-кто, ежели бескитье затянулось, начинает рычать. Кончилась у него всякая задушевность! Не хватило на рейс. И деться от него людям некуда. За борт не шагнешь. Сам понимаешь — семь тысяч метров глубина!.. А ты — капитан, ты рычать не можешь, а давай работай с зарывавшим товарищем. Потому как замполита на китобойце нет. Вот и танцуешь вокруг матроса, про космонавтов ему, подлецу, рассказываешь и приводишь разные исторические примеры. А он, шельмец, сам все знает. Грамотный он вполне и в глубине души даже сознательный, а просто у него нервы не выдержали от этого серого безмолвия вокруг и вынужденного безделья.

Да и найдешь китов — опять чепуха получается! Нашли кита, тут вся власть к гарпунеру переходит. А ты вроде при нем состоишь. Что он скамандует, то и выполняй. Вроде рулевого, значит, торчишь на мостике. Есть киты — хороший гарпунер. Нет китов — плохой капитан. Промысловое чутье, говорят, потерял!.. Ты... давай-ка попробуй...

— Папа-а-а! — ворвался в распахнутое окно мальчишеский крик, и это спасло меня от агрессивного хлебо-сольства хозяина. Вслед за ним я поднялся и подошел к подоконнику.

Во дворе, окруженный пунцовыми от возбуждения и зависти мальчишками, размахивал явно заморского происхождения автоматом, изрыгающим почти неправдашний огонь, симпатичный мальчишка лет семи.

— Или возьмем семейную жизнь, — продолжал он, помахав сыну рукой. — Сын вот без меня родился... Бандитом растет.

— Ну, уж скажешь, не подумав! — впервые обиженно прервала монолог мужа хозяйка дома.

— Ну... Бандитом — не бандитом, а отцовский глаз нужен. Почему ты должна одна его растить? Ты посмотри на нее! — крутанул он меня от окна. — Красавица! Каково ей столько лет одной? Каждый хлыщ норовит... Понял?

— Ладно тебе, Петя... — Хозяйка лениво махнула рукой.

— Нет, ты посмотри на нее, посмотри! Думаешь, ей легко?

Я давно посмотрел. И очень дивился в душе безразличию, с которым действительно красивая и молодая хозяйка воспринимала решение мужа остаться в годовой отпуск, а потом и вовсе перейти в пароходство. «А ты, голубушка, что-то не очень рада! — не без горечи за китобойного капитана подумалось мне. — Видать, привыкла обходиться без муженька. Наверное, соломенное вдовство тебя даже устраивает... Видно, действительно «такова се ля ви», как вздыхают иногда некоторые интеллектуалы».

Мы, к моему ужасу, вернулись к столу.

— Почему она должна загубить свои лучшие годы в одиночестве? Надо ведь и о ней подумать! Понял?

Я вздохнул и снова кивнул. И тут зазвонил телефон. Хозяин раздраженно схватил трубку.

— Слушаю!.. Да, да!..

Лицо его постепенно обретало во время разговора строгую торжественность. Правая рука потянулась к верхней пуговице рубашки и зачем-то застегнула ее... По названному хозяином имени и отчеству я понял, что на том конце провода — капитан-директор китобойной флотилии.

— Нет, нет! Вы правы — Сарычеву рано! Это ж Антарктика! Ну да. Пусть еще рейсик-второй в старпомах походит... Так... Так... Ну что же делать, раз надо? Я понимаю... Есть! Есть!.. Все понял. На двадцать восьмом причале.

Хозяйка поднялась, сказала мне с грустной улыбкой: «Извините!» и скрылась в другой комнате.

Опуская трубку на рычаг, он виновато посмотрел ей вслед. Потом встал и покачал головой...

— Вот ведь какое дело!.. Неожиданно заболел капитан китобойца «Отважный». Старпома ставить капита-

ном рано. Горяч больно по молодости!... Капитан-директор просит меня... принять китобоец... А что делать? Антарктика!.. Любого не пошлешь. Это тебе не пароходство — ходи себе рекомендованными курсами, а чуть какая опасность — лоцмана на борт и вся игра! Тут мореход нужен! Подойти в шторм к базе, имея вместо кранца добытого кита, когда она чуть не полным ходом идет, тут, брат, расчет да расчет!

Или возьми охоту! Гарпунер в азарте, кричит: «Право руля!» Он-то справа только кита видит, а я вижу, как наползает на нас айсберг! Вот тут и реши в считанные секунды навигационную задачу: как тебе и кита не упустить, и с айсбергом не поцеловаться! А ты говоришь, пароходство!

— Я говорю?!

Он отмахнулся от моего вопроса..

— Да они ни в жизнь такой морской практики не получат! Из порта в порт, из порта в порт! Хау ду ю ду, мистер пайлот? * Только и навыков, что в английском языке. Качнуться как следует не успевают! А тут уж как вышел, так и вышел! Океан вокруг тебя на полгода, а то и больше. Альбатросы висят в небе... А поймать секстаном звезду или солнце, когда над тобой почти без разрывов небо в низких клубящихся тучах, тоже не каждому дано!..

А как заштормит на неделю, а потом — все глаза проглядишь, а китов словно и не бывало? Вот где человек проверяется! Знаешь, в Антарктике, я тебе скажу, происходит естественный отбор людей с душевностью. Надо сохранить тепло в себе на семь-восемь месяцев. Да еще не бояться поделиться им с товарищем, если видишь, что не хватило ему этого тепла и грусть в глазах поселилась... Вот почему в китобойных экипажах не встретишь мрачных или, скажем, занудливых людей. Орлы океана!.. Рыцари морские с тобой рядом!.. А разлуки, что ж...— Тут он немного поубавил тон, правда, потише заговорил.— Я тебе скажу, в этом тоже что-то есть! Ушел, помню, в рейс молодоженом, вернулся — отцом! А на жену налюбоваться за десять лет не успел, не то чтоб поругаться! Как влюбился, так...

Вернулась она. Я заметил, что глаза ее покраснели, и устыдился своих недавних предположений. Она вздох-

* Как поживаете, мистер лоцман? (Англ.)

нула и с грустной улыбкой наполнила забытые нами рюмки.

— А сын?..— Он воскликнул обрадованно, словно наткнулся на неотразимое доказательство своей правоты.— Парень-то мой мужчиной растет. Не то что некоторые под папиным крылышком. Восьмой год пацану, а полочку на кухне видел? Его работа. Матери пол подмести не разрешает. А ты говоришь... Вот матери, конечно, тяжело... Что ж,— хозяин старался смотреть в сторону.— Такая уж доля у жены моряка. Так получается, Ленча, что... собирай мне чемодан.

— Да я еще вчера собрала.

— Ну... Зачем же вчера? Ведь я вчера и не думал...

— Ой Петя!..— Она прикрыла белой тонкой ладонью его бронзовую от ветров руку.— Ведь каждый год... Каждый год одно и то же!

— Хм... Неужели... каждый год?

— Угу.— И она торопливо отвернулась, пряча скользнувшую по щеке слезинку.

Через несколько дней я его провожал. Он стоял на высоком капитанском мостике стройный и, мне казалось, помолодевший. Четко звучали короткие команды. У соседних причалов принимали на борт возбужденных пассажиров белогрудые великаны лайнеры. Когда к выходу из порта, забелив своей кормой тихую воду, пошел китобоец, лайнеры загудели бархатными, хорошо поставленными голосами, желая «Отважному» счастливого плавания. И он им ответил тремя резкими вскриками сирены. А я вдруг почувствовал почти неодолимую зависть к уходящим...

Счастливого пути вам, идущие далеко!..

ОБ АВТОРЕ

Игорь Михайлович Неверов родился в 1926 году в г. Ленинграде. Учился сначала в средней школе, а затем в спецшколе ВВС. Вместе с курсантами спецшколы пережил самые трудные дни блокады. В феврале 1942 года вывезен через Ладогу на Большую землю.

С апреля 1942-го по март 1944 года работал токарем на заводе.

С марта 1944-го по январь 1953 года служил в авиационных частях Военно-Морского Флота. Курсант, затем морской летчик, последние три года перед увольнением в запас — политработник.

С 1953-го по 1968 год как журналист ходил в три антарктических рейса с китобоями флотилии «Слава». Заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Член КПСС. Член Союза писателей СССР.

Основные произведения Игоря Неверова: сборники стихов «Синяя граница» (1956), «Баллада о красоте» (1968), «Дождь при звездах» (1972); книги рассказов и повестей «Огни в порту» (1958), «Дальний рейс» (1963), «Год спокойного солнца» (1965), «Веселая Антарктика» (1970).

В 1972 году на Одесской киностудии по сценарию И. Неверова был снят художественный фильм «Синее небо».

СОДЕРЖАНИЕ

ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА	3
Повесть	
СИНЕЕ НЕБО. Повесть	127
РАССКАЗЫ	
«Ох, как жить тебе надо, курсант!»	214
Черная речка	226
Кум Кантемира	232
Первые автографы	238
Как начиналась Антарктика	244
Розыгрыш	250
Синьор Помидор и дальняя раз- ведка	258
Уговорить шторм	267
Две точки зрения одного человека	281

НЕВЕРОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ АНТАРКТИКА

Повести и рассказы

Издательство «Дніпро»,
Киев, Владимирская, 42.

Редактор *Н. М. Кравченко*

Художник *В. М. Гринько*

Художественный редактор *С. П. Савицкий*

Технический редактор *Б. С. Кудьбида*

Корректор *Ю. А. Мороз*

Изготовлено на Головном предприятии республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, г. Киев, ул. Довженко, 3.

БФ 35610. Сдано в производство 14.V 1975 г. Подписано к печати 2.XII 1975 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 3. Усл. печ. л. 15,12. Физ. л. 9,0. Уч.-изд. л. 16,096. Заказ 5—1307. Тираж 50 000. Цена 61 коп.

Повесть «Год спокойного солнца» посвящена отважным советским китобоям.

В повести «Синее небо» рассказывается о смелом научном эксперименте советских медиков.

В книгу вошли также рассказы о наших современниках.

Н $\frac{70303-074}{M205(04)}$ 51-78

© Издательство «Дніпро», 1976.

Год спокойного солнца. Повесть	3
Синее небо. Повесть	127
РАССКАЗЫ	
«Ох, как жить тебе надо, курсант!»	214
Черная речка	226
Кум Кантемира.	232
Первые автографы	238
Как начиналась Антарктика	244
Розыгрыш	250
Синьор Помидор и дальняя разведка	258
Уговорить шторм	267
Две точки зрения одного человека	281